



СОГЛАСИЕ

К 100-летию со дня рождения Георгия Иванова

Георгий Иванов

ПО ЕВРОПЕ НА АВТОМОБИЛЕ



ПОЭЗИЯ

*Татьяны Бек, Ларисы Миллер,
Владимира Корнилова*



РАССКАЗЫ

*Сергея Костырко, Татьяны Морозовой,
Юрия Стефанова*



А. П. Кузичева

«ВАШ А. ЧЕХОВ»

(Мелиховская хроника. 1895-1898)



6' 1993



СОГЛАСИЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ОСНОВАН В НОЯБРЕ 1990 ГОДА

№ 6 (23). ИЮНЬ 1993 ГОДА

МОСКВА. А·О «СОГЛАСИЕ»

В НОМЕРЕ:

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА

Георгий Иванов

ПО ЕВРОПЕ НА АВТОМОБИЛЕ. *Подготовка текста, примечания,
публикация Евгения Витковского, Георгия Мосешвили*

3

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Николай Карпов

МАМИНО СЧАСТЬЕ. *Повесть*

32

Владимир Корнилов

РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА. *Стихи*

59

Юрий Стефанов

ЩЕПОТКА СОБСТВЕННОЙ ПЛОТИ. *Рассказ*

64

Сергей Костырко

ИЗ ШЛЯГЕРОВ ПРОШЛОГО ЛЕТА. *Рассказ*

72

Татьяна Морозова

ЦУГЦВАНГ ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ. *Рассказ*

86

Татьяна Бек
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. *Стихи*

102

Валентина Тульчина
НАД ВОДОЙ. *Повесть*

107

Лариса Миллер
ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

135

Роберт Штильмарк
ГОРСТЬ СВЕТА. *Роман-хроника. Окончание*

137

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

Антуан де Сент-Экзюпери
ЦИТАДЕЛЬ. *Продолжение.*
Перевела с французского Марианна Кожевникова

161

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Бронислава Тарощина — Сергей Чупринин
ЭСКАЛАТОР. *Диалог*

186

А. П. Кузичева
«ВАШ А. ЧЕХОВ»
(Мелиховская хроника. 1895-1898). Окончание

192

ВНЕ КОНТЕКСТА

В. Кардин
«СУД ЖГУТ. ЗЕР. ГУТ»

209

ПРОЧИТЕ ДЕТЯМ

Кеннет Грэм
ИВОВЫЙ ВЕТЕР. *Роман. Продолжение.*
Перевела с английского Юлия Муравьева

212

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА

Георгий Иванов ПО ЕВРОПЕ НА АВТОМОБИЛЕ

В последние годы, когда в Россию «вернулись стихами» поэты Изгнания, карта русской поэзии XX века не просто дополнилась новыми вершинами. Изменились многие наши представления о том «кто есть кто» в русской литературе.

Георгий Иванов пришел к нам позже многих. Но он пришел и сразу стало понятно, почему именно он, а не кто-то другой считался «Первым поэтом русской эмиграции».

В издательстве «Согласие» закончена работа по подготовке к выпуску в свет трехтомного собрания сочинений Георгия Иванова.

Высокий художественный, текстологический и научный уровень издания, а также тот факт, что многие тексты и разыскания будут напечатаны впервые, безусловно сделают эту акцию событием в культурной жизни России.

Редакция журнала «Согласие» доводит до сведения своих подписчиков, что они могут рассчитывать на приобретение всех трех томов собрания сочинений Георгия Иванова одновременно.

Предварительные справки можно навести по телефонам редакции: 235-14-10, 235-15-56.

Предлагаемый Вашему вниманию очерк Георгия Иванова «По Европе на автомобиле» в России печатается впервые. Не исключено, что вдумчивый читатель найдет его достаточно злободневным.

I

Случай пересечь пол-Европы на автомобиле представляется не часто в эмигрантском быту. Мне в этом смысле повезло. Из Риги в Париж я приехал на 20-сильной американской машине. Путешествие длилось девять дней. Долгие остановки в пути покрывались быстрой — на хороших дорогах до 120 «километров» в час — ездой. Повезло мне еще и потому, что эта поездка состоялась именно теперь: главная часть пути лежит, как известно, через Германию.

* * *

Кресты братских кладбищ. Лес, исковерканный орудийным огнем. Остатки окопов, ключья колючей проволоки, стены сожженных фольварков. Призраки войны все еще сторожат большую литовскую дорогу. Усилия людей и природы за 15 лет все еще не уничтожили их. Да и там, где следы войны внешне стерты, продолжает веять ее ледяная тень.

Митава. Ныне тихая латвийская провинция, в прошлом столица герцогства Курляндского. Неподалеку, вниз по течению реки Аа стояла когда-то небольшая мыза Кальнецем. Ее арендовал мелкопоместный дворянин фон Бюрен. У арендатора этого был сын, звали его Эрнст Иоганн.

Эрнст Иоганн фон Бюрен¹ (впоследствии его фамилия стала писаться иначе: Бирон) приезжал иногда в Митаву верхом или на отцовской двуколке. Дорога из мызы в город лежала по берегу реки мимо древнего Комтурского замка, резиденции рода Кетлеров, герцогов Курляндии. В Митаве у Эрнста Иоганна водились друзья среди разночинцев и купцов. Надменная курляндская знать ни его, ни его отца в свой круг не пускала: не говоря уже о бедности Бюренов, самая их принадлежность к дворянству вызвала сомнения. С завистью молодой фон Бюрен смотрел на своих знатных и богатых сверстников, перед которыми распахивались ворота герцогского замка, для него навсегда закрытые.

Впрочем, не навсегда. Когда Бирон в 1737 году был провозглашен, повелением Анны Иоанновны, великим герцогом Курляндским, — он один-единственный раз в эти ворота вошел. Ему хотелось лично убедиться, что в подвалах расставлено достаточно дубовых, окованных железом, бочонков и что порох в них не отсырел. Потом Бирон со свитой взобрался на пригорок на противоположном берегу реки. Герольды затрубили в трубы. Войска взяли на караул. Новый великий герцог не спеша вынул из кармана платок и высоко им взмахнул. Взрыв был так силен, что окна полопались в половине литовских домов. Для неслыханной по великолепию резиденции, которую задумал строить Бирон, было очищено место.

Строитель ее был уже намечен заранее: граф Боржилижес Растрелли², «Варфоломей Варфоломеевич», как любил он сам себя называть, еще молодой, но уже прославленный строитель Зимнего дворца.

Митавский и Руэнтальский замки, возведенные по прихоти Бирона, — одни из ранних созданий Растрелли. Они начаты незадолго до смерти императрицы Анны и ссылки Бирона в Пелым и стояли неоконченными 21 год, — вплоть до восшествия на престол Екатерины. Пока звезда временщика гаснет в мрачном ущербе — все выше всходит слава гениального строителя. Зимний, Аничков, Петергофский, Царскосельский дворцы, Александринский театр, Смольный, дом Строгановых, Пажеский корпус, Владимирский собор — все это — в одном только Петербурге и его окрестностях — создано Растрелли; когда шестидесятичетырехлетним стариком он возвращается в Митаву к своим неоконченным творениям. Бирон — дряхлый, больной, изголодавшийся по роскоши и власти, лихорадочно торопит архитектора. Ему мало почти готового Руэнтальского дворца, он хочет, как можно скорее, торжественно вступить в главный, Митавский. Даром, что ли, он взрывал резиденцию прежних герцогов, даром тратил без счета золото русской казны? Но Митавский дворец простоял без крыши и без стен с лишком двадцать лет, и хотя триста рабочих работают на постройке день и ночь — Бирону придется еще долго ждать — ждать почти до самой смерти. Только шесть месяцев проживет он во дворце, в котором как бы воплотилось все его ненасытное честолюбие, вся его непомерная гордыня. И Растрелли не суждено увидеть свое творение законченным: незадолго до окончания работ умрет его жена, и великий артист, бросив все, уедет в Италию.

Митавский замок не уцелел во время войны (там одно время жил Вильгельм и из кабинета Бирона по прямому проводу разговаривал с Берлином) — был сожжен войсками Бермонта-Авалова³, хлопнувшими дверью, отступая. Дверь хлопнула громко: имя Бермонта до сих пор произносится в Латвии с ненавистью. Дело, конечно, не в одном Митав-

ском замке: взрыв пироксилиновых шашек, превративший в ноябре 1919 года великолепный дворец в пылающие развалины, только эффектный росчерк в конце длинного «списка благодетелей» этого современного конквистадора, полугрузина-полунемца.

Теперь Митавский дворец реставрируется латвийским правительством. От потомков Бирона, князей Саган, и из Венского музея Альбертини раздобыты подлинные чертежи Растрелли. У зияющих пустыми окнами классически прекрасных стен возятся рабочие, навалены кирпичи, бревна, известка. Восстанавливается и разоренный Руэнтальский замок.

Заглядываю за решетку углового окна подвального этажа. Низкая сводчатая комната пуста. Но еще месяц тому назад здесь стоял литой почерневший гроб с прахом великого герцога Курляндского. Наконец-то он предан земле. Вечного упокоения Бирону пришлось тоже долго ждать. С 1825 года во дворце поселяется курляндский губернатор, и гроб Бирона по «хозяйственным соображениям» переносят из усыпальницы в... кладовую. Там труп временщика пролежал среди разного хлама почти сто лет, — даже не закрытый крышкой. От большевистского владычества сохранилась фотография: набальзамированная, высушенная кукла Бирона стоит во весь рост у стены: на голове немецкая каска, в провале рта — трубка, по бокам два хохочущих красноармейца. Когда Бермонт жег Митаву, тело Бирона валялось на обледеневшей земле перед пылавшим дворцом. Потом его подобрали и снова водворили в кладовую. И только теперь, в 1933 году, серебряный вычурный гроб рококо зарыт в землю на обывательском кладбище, и над ним поставлен простой деревянный крест.

* * *

Литва. Ночевка нам предстоит в Шавлях.

Въехав в Шавли, мы обратились к полицейскому, только чтобы узнать дорогу: «Скажите, где здесь гостиница...» «Берлин?» — перебил он, как человек, хорошо знающий, какая единственная гостиница может удовлетворить изысканные вкусы туристов, приехавших осмотреть достопримечательности Шавель на собственном автомобиле.

«Отель-ресторан Берлин». Вывеска с этими словами была освещена тремя зелеными лампочками сверху и одной розовой снизу. Прежде чем попасть в коридор, где расположены номера, надо сперва подняться на несколько ступенек, потом спуститься на несколько, перешагнуть через какую-то неопределенную выпуклость на полу и еще куда-то подняться. Коридор выкрашен небесно-голубой краской, номера — пунцовой. В номерах огромные окна, необыкновенной высоты потолки, давно не виданный умывальник с мраморной доской и педалью, олеографии «Бабушка с внучкой» и «Замок в Шотландии» и запах, тот особенный запах, которым от века пахли гостиницы в русских уездных городах, запах, которого нельзя ни проветрить, ни заглушить, который, должно быть, как бы ни летело время и ни менялась карта мира, незыблем, вечен, неистребим.

— Чичас, — сказал веснушчатый коридорный, когда мы потребовали воды в умывальник, и пропал.

— Чичас, — повторил он, просунув лохматую голову в дверь, когда, потеряв терпение, мы снова позвонили, и, действительно, не обманул — еще через четверть часа принес воды. — Холодно, нельзя ли натопить? — Можно. Чичас. — Он вернулся с дровами и стал их накладывать в печку. — Угар будет, — сказал он задумчиво, уже достав спички, чтобы поджечь растопку. — Такая проклятая печка — закрывай трубу, не закрывай, все равно будет угар. Лучше я перины вам принесу. — А других номеров, где хорошие печки, нет? — Есть и с хорошими: пятый но-

мер, седьмой номер. — Ну? — Заняты чичас эти номера, там господа футболисты стоят. — А остальные? — Остальные все, как эта — только затопи — чичас угар.

— А что вы желаете? — с акцентом истинной гражданки Шавель ответила миловидная девица, сидевшая в ресторане за пустой стойкой между двумя пальмами в кадках.

— А что у вас есть? — А что вы желаете? — Да что же у вас есть? — Закуска. — А еще что? — Закуска: огурцы, шпроты, кильки. — А горячее есть что-нибудь? — Горячее? — Она удивилась — Горячее будет в восемь часов: сосиски. — Почему же только в восемь? — Потому что сосиски из Ковно, в половине восьмого поезд придет. — Ну, а будет к сосискам что-нибудь еще, гарнир какой-нибудь? — А что вы желаете? — А что у вас есть? — Огурцы есть. — Она помолчала. — Чай есть. Халла скоро будет.

Ожидая сосисок из Ковно, я пошел пройтись. Была суббота. Сплошная густая толпа медленно двигалась по правой стороне главной улицы Шавель. Я вспомнил, как за несколько дней до объявления войны я так же гулял в субботний день в таком же еврейско-литовском городке Лиде. Ничего не переменялось с тех пор. И тот же прозрачный серо-синий с розоватым отливом воздух обнимает все это.

«Особенный еврейско-русский воздух»⁴.

Ничего не переменялось. Даже предчувствие новых несчастий, испытаний и гроз, смутно веющее в этих мирных сумерках, осталось тем же.

Спать, несмотря на перины, было отчаянно холодно: перины были узкие, сверху грело, с боков надувало. Вскоре начали давать о себе знать занимавшие номера с исправными печками «господа футболисты». Они праздновали только что забытые кому-то голы. Часа в два ночи явилась полиция их усмирять. Едва утихли футболисты, огромные, завешенные только жидкими гардинами окна начали стремительно светлеть. Скоро солнце заливало всю комнату. Дрожа от холода, я спустился в ресторан и заказал себе кофе. «Чичас», — ответил лохматый коридорный, дремавший за стойкой на месте вчерашней девицы.

* * *

Неман отделяет Литву от Германии. Литовский пограничник бегло просматривает наши паспорта, берет под козырек, и мы медленно двинемся по широкому мосту на немецкую сторону, в Тильзит.

Бесчисленные красные флаги развеваются на ветру. Они всех размеров — от маленького до колоссального. Они всюду: на домах, на фонарных столбах, на трамваях, на автомобилях, над головами марширующих, как на параде, школьников, отправляющихся на воскресную экскурсию. Сотни, тысячи флагов. На их кумачево-красном фоне чернеют крючки свастики.

Множество флагов. Множество людей в рыже-желтой форме с красной повязкой на рукаве. Звуки военной музыки, слышащейся одновременно с разных сторон города. Сухая барабанная дробь. Таможенный чиновник, поднимающий правую руку: «Гейль!» «Новая Германия».

Чтобы размять ноги, делаю несколько шагов по прилегающей к таможене улице. Бросается в глаза нечто, до сих пор мною не виданное.

Витрина писчебумажного магазина. Среди портретов вождей, на фоне красного флага разложены сияющие новенькой золингенской сталью кинжалы. Кинжалы очень внушительные — раза в 2 длиннее и шире среднего финского ножа. Крестообразная, как у кортика, ру-

коять. На широком обоюдоостром лезвии выгравировано: «Ehre und Blut» — «Честь и кровь». Тут же пояснительная надпись: «Дорожные ножи для гитлеровского юношества».

II

В Кенигсберге автомобильное путешествие «по независящим обстоятельствам» прерывается. Прерывается для меня одного. У спутников моих латвийские паспорта, у меня — нансеновский⁵. И чтобы получить транзитную визу через польский коридор с документами, где сказано «d'origine russe, n'ayant acquis aucune autre nationalité»*, необходимо запрашивать Варшаву. Ответ получается недель через 6, и вовсе не обязательно, что он будет благоприятным. Короче говоря, мне предстоит проехать «коридор» в поезде (где виз не требуется, просто наглухо закрываются вагоны), выйти в пограничном Шнейдемюле и там ждать автомобиль. Автомобиль «по самому точному расчету», — должен прибыть в 12—1 час дня.

Маленькая заминка получается в вопросе, как же нам все-таки в Шнейдемюле встретиться. В кенигсбергском «Reisebureau»** не знают названия ни одного шнейдемюльского отеля. Зато дают самые успокоительные сведения, насчет географии этого никому из нас не известного города. Городок небольшой, перед вокзалом — площадь, на ней и расположены все местные гост-хаузы***. Я беру комнату в любом из этих отелей и, утомленный ночной поездкой, сплю подольше. В 12—1 час дня — по точному расчету — наш «Штутц» появляется на вокзальной площади и дает гудки под самыми моими окнами. Я открываю окно и машу рукой: — Господа, я тут! — Ясно и просто.

* * *

Пять часов утомительной тряски. Станции с польскими названиями, высокие решетки между путями (запертый на ключ нансенист может ведь вылезть в окно), пустые платформы, освещенные ярким, мертвящим светом. Наконец, огромные черные буквы на белом фоне: Шнейдемюле.

Выходя из вагона, уже представляю себе, как живую, тихую вокзальную площадь с уютными провинциальными гост-хаузами, которую так услужливо описал мне красноречивый агент кенигсбергского «Reisebureau». «Eingang»****. Значит, сюда.

Подъем. Спуск. Ослепительно освещенная подземная галерея. Новый подъем, новый спуск. Наконец, я выбираюсь из огромного вокзала. Ночь. Какие-то деревья. Ни одного огня, ни одного дома. Озираюсь, чтобы спросить, где же тут гостиницы. Спросить некого. Разведка в пустоту и ночь не приводит ни к чему. За деревьями другие деревья, потом узкая улочка совершенно темная. Одноэтажные домишки, погруженные в глубокий сон, несколько отелей не напоминают. Рука натывается в темноте на скользкие, холодные перила, под ногами вырастают гулкые железные ступени, вода шумно бежит вниз. Осторожно, ощупью, перехожу мост, висящий над черной пустотой. Но и за мостом все те же деревья, закрытые ставни, тьма.

* «Русского происхождения, не имеет никакой другой национальности» (фр.).
(Здесь и далее примеч. Г. Иванова).

** Экскурсионное бюро (нем.).

*** Гостиницы (нем.).

**** Вход (нем.).

Смущенный, возвращаюсь на вокзал. Он по-прежнему ослепительно освещен и совершенно пуст. А, вот что! На противоположном конце другая надпись «Eingang». Значит, я не туда пошел. Вот она где, моя заветная площадь. Иду. Подъем. Подземная галерея. Опять подъем. С надеждой раскрываю дверь. Деревья, пустота, ночь, ни одного фонаря. Здесь даже и домишек никаких нет.

Какой-то немец за марку довел меня до гостиницы. Шли мы минут пятнадцать. Это, как я увидел утром, был ближайший отель от станции.

* * *

Точный расчет моих спутников, основанный на автомобильном гиде, оказался таким же точным, как справка «Reisebureau». Целые сутки провел я в Шнейдемюле, их поджидая.

Здесь коричневые формы мелькают чаще. «Гейль!» — слышится на каждом шагу. В центре Германии, особенно в Берлине, переворот чувствуется слабей, чем вот в таких провинциальных городках. Здесь каждая мелочь кричит о восторжествовавшем национал-социализме. И нигде ни на минуту нельзя о нем забыть.

В цветочном магазине горшки азалий уставлены в виде свастики. В игрушечном — амуниция для крошечных гитлеровцев с красной повязкой на рукавах. В витринах книжных лавок Гитлер, Геринг, Геббельс и рядом с ними старый знакомый по «Ниве» Ганс Гейнс Эверс⁶, автор «страшных новелл». Теперь Ганс Гейнс Эверс написал патриотический роман из жизни Хорста Весселя Роман, очевидно, высоко ценимый, нет такого киоска в Германии, где бы не маячила его обложка: шесть оплывающих красных свечей на угольно-черном фоне.

Флаги, портреты вождей, красные повязки. Великолепный голос Геринга, оглушительно чеканящий в радио какие-то национал-социалистические формулы, непрерывно поднимаемые для фашистского приветствия руки — все это придает улицам приподнятый, необычный вид. Кажется, что попал на какое-то военное торжество. С мыслью, что это ничуть не праздник, а самые обыкновенные нынешние будни, свыкнуться на первых порах трудно.

Зашел позавтракать в первый попавшийся «паценгофер» и оказался совсем уже будто в казарме ударников. Не преувеличиваю: есть приходилось левой рукой, правая почти непрерывно была занята. Ресторанчик был оживленный, посетители то и дело приходили и уходили. Каждый кричал «гейль!», и все окружающие, как по команде, отвечали «гейль!» и подымали руку.

Я выбрал среднее — руку подымал, но молча. Ничего. Никто мне не сделал замечания, никто вообще не обратил как будто внимания на меня. Впрочем, как выяснилось потом, в последнем я ошибался.

Лучшего места, чтобы понаблюдать нынешних хозяев Германии в повседневной жизни, нечего было и искать. Десятки ударников сидели кругом, толкались у стойки, чокались пивом, шутили и перебранивались. Первое, что бросается в глаза, — их крайняя молодость. Все зеленые юнцы, почти подростки. Более взрослые в их среде сразу выделяются, как выделяется в толпе мальчишек бородатый скаут или гимназист. Все щеголеваты, ловки, чисто одеты. С посторонними вежливы с оттенком покровительства, между собой — вымуштрованы по-военному, с каким-то еле уловимым налетом распушенности. Если подыскивать сравнение из богатого реквизита российского прошлого, вспоминаются тыловые прапорщики конца войны, те, что после становились, смотря по обстоятельствам, кто комиссаром, кто налетчиком. Ни на красноармейцев, бравших Зимний дворец, ни на юнкеров, его защищавших, гитлеровские ударники решительно непохожи — другая человеческая «тональность».

В общем, если наблюдать со стороны, «славные молодые люди»: умеренно шутят, чокаются пивом и не позволяют себе лишнего. Впечатление такое, что мера произвола, на который они способны, как раз та, которая разрешена и одобрена начальством. Ни меньше, ни больше. Тоже иная тональность, по сравнению с русскими примерами. Трудно судить, которая «лучше».

* * *

... До того, как он подошел ко мне и заговорил — это было под вечер в садике против почтамта, — я уже мельком видел этого человека на улице и обратил на него внимание. Что-то странное было в его фигуре. Какой-то отпечаток заброшенности, одичания, неустройства. Так выглядит путешественник, проведший ночь в вагоне. Хорошо одет, но полы добротного костюма помяты, новенькая фетровая шляпа запылилась, комфортабельные коричневые башмаки нечищены. Побриться тоже, по-видимому, не пришлось. Впрочем, в его крупной фигуре, в солидном, слегка одутловатом лице, кроме внешней помятости, сквозила еще внутренняя усталость, какое-то тяжелое, безразличное уныние.

Когда он подсел, я читал русскую газету.

— Russe ?* — спросил он тихо, косясь то на меня, то в сторону. И еще тише прибавил: — Jude ?**

Услышав, что да, «russe», но нет, не «jude», — он отшатнулся и вспыхнул. — Ах, простите, простите!..

Я поспешил объяснить, что я «из таких мест и из такой среды», где «этого» не существует: извиняться, что он принял меня за еврея, совершенно лишнее. Я не кончил своих объяснений. Лицо этого грузного, солидного, хорошо одетого человека дернулось, глаза стали круглыми и большими. Медленно из-под его правого века выползла грузная, как он сам, слеза и покатилась по галстуку.

— Боже, — сказал он, — Боже! Из таких мест, из такой среды... Да, да — Франция, Латвия. Да! Ни травли, ни расовой ненависти... Боже! Я уже и позабыл, что есть такие места. — Слезы катились по его толстым щекам, и он неумело размазывал их по лицу большой, холеной рукой.

— Никогда не плакал, — сказал он, доставая платок, и улыбнулся какой-то жалкой улыбкой. — Извините, пожалуйста. Никогда, никогда не плакал. А теперь плачу от всего, как истеричка. Взгляну на небо, и ком подступает к горлу. Вижу, дети играют, и не могу смотреть. Вот вы сейчас сказали про страны, где ... где ... где ... Простите, это сейчас пройдет. Сейчас пройдет.

Успокоившись, он рассказал мне свою воистину «банальную историю». Врач, выходец из Польши. Но родиной своей всегда считал Германию. И как не считать? Здесь он вырос, кончил гимназию, получил докторский диплом, — здесь заработал это, — он показал обрубок пальца, отхваченного осколком на французском фронте. Как же не считать? И вот, вдруг...

В его взволнованном, перескакивающем с одного на другое рассказе была одна странность. Как припев, повторялось в нем постоянно «чудные люди», «прекрасный товарищ», «сердечность, которой я никогда не забуду», и относилось это то к администрации госпиталя, откуда его уволили, то к разнакомившимся с ним коллегам, то к пациентам, переставшим лечиться у него. Я взглянул на него с недоумением. Что это — притворство? Осторожность? Ирония? Нет, он был совершенно искренен. Из его сбивчивых слов выходило, что да, его увольняли, бой-

* Русский? (нем.).

** Еврей? (нем.).

котировали, отворачивались при встречах, но те, кто поступал так — сплошь «чудные люди», — сама попавшие в капкан, сами связанные по рукам и ногам. Как солдат, — привел он наивный пример, — которого посылают стрелять в врага, он хочет его смерти? Ненавидит его? И все-таки должен стрелять. Так и они, так и они...

Как о рае, он мечтал о Берлине. Друзья обещали помочь, может, и удастся туда выбраться... «Какая же разница?» — спросил я. — О, огромная, колоссальная. Небо и земля. В Берлине можно жить, можно дышать. Пациент, который тут обходит мой дом, точно в нем чума, в Берлине, если я хороший врач и недорого беру, придет ко мне — ведь никто не узнает. И коллега-немец тоже не отвернется: огромный город, масса людей, нельзя проследить каждого... О, в Берлине еще можно дышать. А здесь сыщики, правительственные или добровольные, на каждом углу. Вот там, в коричневой шляпе — видите — сыщик. Кажется, он смотрит на нас. До свидания, до свидания. Если он заметит нас — будут неприятности и вам, и мне...

* * *

Немецкая почта сохранила свои идеальные свойства: телеграмма, отправленная по фантастическому адресу «в отель у вокзала», была доставлена мне почти без опоздания. — Как же вы меня нашли? — спросил я у телеграфного мальчика. Он удивился. — Очень просто — заезжал во все отели по очереди и спрашивал. — «Skvernaia pogoda, polotka, budem utrom», — прочел я с облегчением — сидение на мели в Шнейдемюле начинало меня немного беспокоить.

Вечер я провел приятно. Сходил в кинематограф, посидел в кафэ, погулял взад и вперед по главной улице, разумеется, улице Адольфа Гитлера. Поневоле я вспомнил Шавли. Так же чинно, такой же густой толпой по тротуарам двигались гуляющие. Только там были местечковые франты и барышни, а здесь молодежавшие гитлеровские дружинники со своими «арийскими» подругами. Те же самые осенние звезды смотрели на эту мирную картину, и с террасы кафэ плыли звуки венского вальса, которые, конечно, играют и в Шавлях, старомодного вальса, сочиненного еще в те времена, когда расовую ненависть считали, по отсталости, варварским пережитком.

III

В Берлине, около русской церкви, газетчики, надрываясь, выкрикивают еженедельную газету русских гитлеровцев на немецком языке. Называется она «Russlands Erwachens» — «Пробуждение России». Но продавцы мягко, по-берлински, проглатывают буквы в конце слов. Получается под рифму и довольно многозначительно: «Руссланд эрвахе ин дэйтше шпрахе», — Россия, проснись... на немецком языке.

«Пробуждением России на немецком языке» заняты в штабе «Ронда»⁷.

Я застал закат «Ронда». Медовый месяц русских наци с немецкими отошел в прошлое. Под окнами первого этажа на Мейер-Оттоштрассе не развеваются больше голубые знамена с белой свастикой: полицейско-президиум распорядился их убрать. Не видно и мощного Крейсера, выкрашенного в те же андреевские цвета, с двуглавым орлом на радиаторе, в котором еще недавно разъезжал «боговдохновенный», как он сам себя называл, вождь «Ронда» Светозаров-Пельхау. Нет и самого Светозарова — он вернулся к своей старой профессии продавца кофе и какао вразнос. В председательском кресле «верховного совета» сидит «герой Митавы» Бермонт-Авалов. Сидит, хотя и с гордой осанкой буду-

щего диктатора, но как-то непрочно, неуверенно. Хмурый взор Хинчука⁸, который в один прекрасный день предъявит требование «закрыть активную белогвардейскую организацию», невидимо пронизывает стены штаба, и чувствуется, что день этот недалек.

* * *

Растерянность чувствуется в воздухе просторного кабинета, где вьется дымок сигары Бермонта, пахнет английской солью, которую он то и дело нюхает, и где молодцеватые ординарцы в форменных рубашках со следами свежеспоротой свастики на рукаве — тоже приказ свыше — поминутно входят и, вытянувшись в струнку, докладывают:

— Ваше сиятельство, телеграмма из Мюнхена!

— Ваше сиятельство, радио из Сао-Паоло⁹!

— Ваше сиятельство, телефонограмма из министерства иностранных дел!

Бермонт-Авалов холеными пальцами небрежно распечатывает голубой листок и лениво пробегает его волоокими глазами. — Хорошо! Я распоряжусь после! Не беспокойте меня — я занят!

Занят он разговором со мной. Притом, разговором настолько затянувшимся, что я давно стараюсь откланяться и уйти. Это сделать, однако, нелегко — диктатор до чрезвычайности словоохотлив.

Разумеется, очень лестно, что беседа со мной, случайным человеком, случайно сюда забредшим, отодвигает на задний план дела государственной важности, о которых срочно запрашивает Сао-Паоло и беспокоится Вильгельмштрассе. Очень лестно, что вождь, хотя и не совсем прочно сидящий в своем кресле, делится со мной своими задушевными мыслями, точно я не первый встречный, а свой человек, тоже сжегший мимоходом какую-нибудь Митаву и державший в доброе старое время, пополам с секретарем Распутина — Симановичем, игорный притон в Петербурге. Лестно. Но избыток пессимистического воображения отравляет немного мое удовольствие.

* * *

Как ни великолепен орлиный профиль Бермонта, как ни шелкают каблуками лихие ординарцы, как ни внушителен портрет Розенберга с автографом, красующийся на столе, — флюиды уныния явно веют надо всем этим. Сквозь цифры миллионов субсидий, которых, по словам Бермонта, не жалуют немцы на «русское национальное движение», просвечивает неуместный вопрос: заплачено ли за квартиру, где мы сидим? Мой приятель «марксист», высланный в свое время из России писатель, определенно утверждал, что не заплачено даже швейцару, — касса «Ронда» пуста. Сквозь пышные слова, что «новая Германия на крыльях великой исторической идеи несет освобождение России», грустно маячат споротые с рукавов свастики. Может быть, фантазия и увлекает меня слишком далеко, но, по контрасту с одинокой пустотой «штаба», слишком частые «радио из Сао-Паоло» имеют какой-то подозрительный вид. Несвежий какой-то. Такой, будто уже не первый раз, щелкая каблуками, подавал, на страх постороннему человеку, этот голубой листок ординарец и не однажды уже диктатор небрежно, однако, стараясь не помять, его вскрывал. — «Хорошо! Я распоряжусь! Не беспокоить меня — я занят!»

* * *

Бермонт-Авалов человек стильный. У него живописная внешность. Гордость взгляда и достоинство осанки замечательны. Сдержанно-благородные жесты выше похвал. На белом коне, перед пылающим бироновским дворцом, он, должно быть, выглядел презэффектно. Но, ве-

роятно, был недурен и в заседании президиума игорного клуба: «Коллега Симанович, обращаю ваше внимание: в клуб втираются зарегистрированные шулера. Прошу вас принять меры — у нас не вертеп, а аристократическое заведение».

В разговоре Бермонт-Авалов тоже не менее стилин, хотя и в другом роде.

— ... Союзники, которых мы спасли на Марне¹⁰, предали нас, как дыплат, — цедит он бархатым баритоном со «стальными» нотками и грозно хмурит брови. — Да, предали! Факт. А идея новой Германии несет России освобождение, несет, и никаких испанцев. Что? Да! Хотите сигару: берите — чудесная сигара, гавана. Что? Да! Освобождение от большевистского ига. Замечательный букет — две марки штука. Презент от Розенберга. Что? Да! Кури, пишет, ты любишь хороший табак. Да, при любезнейшем письме, целых сто штук. Что? Ну, положи руку на сердце, ответьте, придет ли хоть одну такую сигару ваш Фош¹¹, или Пуанкарэ¹², или какой-нибудь мистер Ллойд-Джордж¹³? Хоть одну штучку — за Восточную Пруссию, за Карпаты, за все, что мы свершили? На, мол, покури, русский герой — ты любишь хороший табак! Что? Да! А Розенберг прислал. Сто штук. Кури на здоровье и надейся на будущее. Это мелочь, но мелочь показательная для того, кто изучил закон природы.

— Что? Да! — законы природы, — приосанивается Бермонт. — Я их изучил. Что? Взял и изучил. Да! Законы природы и выводы из них. Желаете пример? Что? Хорошо — пример. Вот моя рука. Рука. На ней пять пальцев. Пять. Я иду бороться с врагом. Как же мне, позвольте спросить, бороться, чтобы его одолеть? Одним пальцем? Двумя, тремя? Может быть, четырьмя? Я не знаю. И я спрашиваю природу, — что она говорит?

Диктатор выжидательно смотрит на протянутую перед собой собственную руку. — Что говорит природа? — повторяет он. — Всеми пятью! Бросайся на врага и души его пятерней. Вали его наземь, топчи, и ты победишь. А если протянуть один палец — враг вывернет его, и тью-тью, побежден ты. Что? Да! Какой из этого вывод? В борьбе с большевиками все русские люди должны объединиться под знаменами национал-социализма! Никакой грызни! Никаких фракций! Все за мной, и мы победим. Что? Да, за мной! Что? Да! Кола и кока!

— Тоже закон природы, — протягивает он коробочку с пилюлями. — Попробуйте — уничтожает усталость, молодит, проясняет ум. Кола очищает кровь, кока возбуждает энергию. Германское изобретение делает чудеса. Не раскусывайте, глотайте так. Что? Да! — чудеса. Тоже мелочь и тоже показательная. Дорогие союзнички вопят: Германия вооружается, Германия строит аэропланы, Германия выделяет газы. И врут, само собой, как утопленники. Не газы выделяет Германия, а колу и коку, — возбудитель энергии, очиститель крови. В этом ее мировая миссия. И мы — без грызни и распрей — должны ей помочь.

— Что? Да! Без распрей и грызни. Все, как один. Пять пальцев. Пять. Одна рука. Одна. Закон природы. Гучков Александр Иванович¹⁴. Что? Да! Гучков. Он самый — член Временного правительства, бомбист, революционер. И попался он, сердечный, под Митавой мне, князю Бермонту-Авалову. Да, мне! Тридцать тысяч молодцов при новеньких пулеметиках, дым коромыслом, я главнокомандующий, и передо мной, он самый — Гучков. Что бы сделал на моем месте с Александром Ивановичем дурак? Что? Да! Ясно, повесил бы. Но я изучил законы природы. Я ему сказал: Александр Иванович, я не дурак, мне нужны умные люди. Плюнем на прошлое и будем работать вместе. И мы работали, дружно работали, созидали, боролись, дрались — дым коромыслом. Славное было время. Теперь латыши вопят, будто я сжег Митаву. Понятно — врут, как утопленники. Митаву сгорела сама.

* * *

Изучив законы природы и отведав коки, я выбираюсь, наконец, из «штаба», унося в кармане билет на вечернее собрание «Ронда», за которым, собственно, я сюда и пришел. Уношу еще новый номер «Russland Erwachens» — на русском языке, — оказывается, выходит она и по-русски, и даже по советской орфографии. В передней молодежаватый ординарец отбирает у меня пропуск с огромной печатью и росчерком Бермонта: без пропуска из штаба никого не выпускают. «Счастливо оставаться!» — лихо вытянувшись, кричит ординарец, распахивая передо мной двери. Машинально сую ему полмарки и наливаюсь краской — что я наделал! Нет, оказывается, все в порядке. — Покорнейше благодарим! — гаркает он еще громче.

На улице развертываю газету. Любопытно посмотреть, как пишут собраты по перу, «поднятые на крыльях великой исторической идеи». Пишут ничего, бодро: «Европейские нации уже пробуждаются от чар иудейского наркоза, парализовавшего их народные силы. Горе вам, Абрамовичи, Финкельштейны и Блюмы, когда проснется весь мир!»

Но столбцом ниже, национал-социалистический поэт уже сильно снижает бодрый темп этого славного прозаика, изучившего законы природы и употребляющего колу. Поэт явно законов не изучал и коки еще не ел. Настроен он почти так же печально, как я после посещения «Ронда».

Мы в хмурых сумерках осенней непогоды
Устали обивать пороги чуждых стран.
Холодные, безжалостные годы
Твердят, что все прошедшее обман.
Что все святое, что мы в сердце носим,
Пусть свято, но другим той правды не понять.
Просвета нет. Настала злая осень,
И нам осенней мглы не разогнать.

Обращение главного совета РНСД ко «Все́м, Все́м, Все́м!» — звучит тоже довольно жалобно: «Мы обращаемся непосредственно к совети народов всего мира, к христианству, к человеколюбивым обществам, ко всем отдельным лицам, с призывом помочь спасти нашу несчастную родину». Тут же, должно быть для удобства «человеколюбивых обществ и отдельных лиц», указано: «путь спасения лишь один — свержение власти III Интернационала».

На последней странице напечатано скромное объявление: «Кофе, чай и какао члены РНСД покупают у фирмы Ниеск и К⁰». Это бывший «бог вдохновенный вождь» Светозаров рекламирует свой товар. Так проходит слава земная.

IV

В «Пробуждении России», выходящем по воскресеньям, указан зал, где в ближайший четверг состоится открытое собрание «Ронда». Но за четыре дня адрес пришлось дважды менять: владельцы сдающихся под вечера помещений знают, что касса «Ронда» пуста, и требуют деньги вперед.

Касса пуста. Но вход на собрание бесплатен. Иначе невозможно, никто не придет. Материальное положение рядового берлинского эмигранта нельзя определить иными словами, как беспросветная, безнадежная нищета.

Я пришел на собрание минут за двадцать до назначенного часа, но просторный, человек на пятьсот, зал был уже почти полон. Заседа-

ния «Ронда» вообще, — по разным причинам, некоторых из которых ниже я коснусь, — посещают довольно усердно. Сегодня же был «большой день»: доклад Вонсяцкого, только что прибывшего из Америки «вождя» тамошних русских фашистов.

У Вонсяцкого, как говорят, есть крупные денежные средства, и он их широко тратит на фашистскую пропаганду и на... саморекламу. Портреты «вождя» в разных позах и с разными выражениями лица занимают важное место в листовках и брошюрах, которые он издает.

С литературой этой произвел недавно курьезный случай. Ею оказались завалены... мелочные лавочки. В громовые лозунги и огненные призывы новоявленного нью-йоркского «дуче» еврейские бакалейщики заворачивали свои бублики и селедки. Случилось это так. Вонсяцкий решил распространить пропаганду своих идей и своих портретов на... советскую Россию. Для выполнения этой затеи был избран «верный человек» и «опытный организатор» — ныне разоблаченный провокатор Кольберг. Кольберг же ограничился тем, что в Россию отправлял лишь «ограниченное количество» экземпляров, ровно столько, сколько требовалось для осведомления ГПУ. Остальное шло в Польшу на обертку селедок.

* * *

Просторный зал полон народа, и новые посетители все прибывают. Эстрада, покауда еще пустая, выглядит очень помпезно. Два саженых знамени — бело-голубое и красно-бело-черное — декоративно скрещены на заднем плане. Между ними распростерты черные крылья стилизованного двуглавого орла. На большой короне, венчающей герб Российской империи, топорщатся крючки свастики. Еще выше — поясной портрет Гитлера, украшенный лентами и флажками. Стол президиума покрыт ярко-голубым сукном, и на нем букет красных роз.

Парадный вид эстрады мало соответствует виду собравшейся на доклад публики. На своем веку я видел достаточно эмигрантских сборищ, и не все они являли картину сытости и благополучия. Но нигде, никогда я не встречал столько землистых лиц, потухших глаз, впалых щек, такой общей замученности и безнадежности, как здесь, на заседании «Ронда».

В зале, где собралось человек пятьсот, если не больше, страшная, какая-то противоестественная тишина. Кое-где разговор вполголоса или глухой кашель. Вновь приходящий молча пробирается к свободному стулу и садится с усталым, безразличным видом. При встрече с знакомыми — кивок, мимолетное рукопожатие. Ни смеха, ни улыбки, ни громко сказанной фразы. Так, пассажиры, после бессонной ночи, ждут на станции поезда или в приемной врача толпятся пациенты.

Одна из причин, почему идут записываться в «Ронд»: «Ронд» обещает своим членам работу.

Кругом — полное бесправие. По капризу любого полицейского чиновника отнимается право жительства. Самый вздорный донос почти автоматически влечет за собой арест и концентрационный лагерь. И снова «Ронд». Он протягивает запуганным людям соломинку: «члены «Ронда» входят в братскую национал-социалистическую семью», — они не беззащитны. С приходом к власти Гитлера всякая общественная жизнь в русской колонии прекратилась. Какие бы то ни было собрания, лекции, кружки перестали существовать. «Ронд» — единственное место, куда можно прийти без страха оказаться неблагоприятным и где все-таки говорят на русском языке, говорят о России.

Наконец, чем тяжелей действительность, тем сильнее стремление забыться. Трескучая демагогия рондовских фаторов* — «мы побе-

* Ораторов (лат.).

дим», «мы спасем Россию», «час высшего торжества близок» — действует на издерганные нервы деклассированных людей, как наркотик. «Слава России!» — оглушительно кричат рондовские молодцы, когда оратор произносит какую-нибудь броскую фразу, и к этим казенным крикам присоединяются голоса людей, по существу «Ронду» и его «идеям» глубоко чуждых, но которым страшно хочется верить, хоть на минуту, хоть в эту сомнительную русскую «славу».

* * *

На трибуну не входит — стремительно вбегает с высоко поднятой правой рукой широкоплечий, плотный, бритый господин в какой-то фантастической полувоенной-полуспортивной форме. За ним торжественно следуют и рассаживаются остальные «водители» — местные. Мой знакомец — Бермонт-Авалов занимает председательское место и берется было за звонок, чтобы объявить заседание открытым и дать Вонсяцкому слово. Но сделать этого он не успевает. Тот уже сам взял слово, без помощи председателя. Побагровев, с разом надувшимися на висках жилами, потрясая сжатыми кулаками, он, едва ступив на эстраду, уже кричит, орет, выплевывает с невероятной быстротой и грохотом свой «доклад».

— Мы должны привлечь на свою сторону стопятидесятимиллионное русское крестьянство — и мы его привлечем! — испуленно кричит он.

— Слава России! — эхом отвечает зал.

— Мы прижжем каленым железом язву коммунизма!

— Слава России! — еще громче кричит зал, явно наэлектризовавшаяся звонкими тирадами Вонсяцкого.

— Мы клянемся собственной кровью!

— Слава России! Слава России! — покрывает зал слова оратора так шумно, что нельзя разобрать, в чем, собственно, он клянется кровью.

Как ни темпераментно говорит докладчик и как ни цветиста его пересыпанная клятвами речь, можно, вслушавшись, уловить заключенную в ней «основную мысль»:

Идея марксо-коммунизма — дьявольски лжива, но огромна по своему универсальному масштабу. Опираясь на нее, совершенные ничтожества, мелкие подлецы и прохвосты выросли до крупных исторических фигур, до вершителей судеб земного шара... В самом деле — выросли ведь. И сидят. А мы ни при чем, хотя и снимаемся в разных позах. И кричим так, что трещит в ушах. Между тем, и идея у нас имеется не менее универсальная, и сами мы, ей-Богу, не хуже. А сидят все-таки они, а не мы. Но, «клянемся кровью», приложим все усилия, чтобы «вырасти» до таких же «исторических фигур», а если подвернется случай, то и переплюнем их.

* * *

Во время перерыва в публике заметно оживление. Крик и демагогия сделали свое дело — взвинтили нервы, дали иллюзию жизни, отвлекли, взволновали. Но вот заседание возобновляется. На трибуне вместо темпераментного Вонсяцкого один за другим сменяются свои люди, докладывающие повседневные рондовские дела. И настроение сразу круто падает.

«Господа, платите членские взносы», «Господа, подписывайтесь на газету», «Господа, жертвуйте на неимущих товарищей», «Господа, жертвуйте на библиотеку», «Господа, жертвуйте...»

Молодцы в форме после каждого такого призыва, позванивая кружками, обходят ряды. Но «господа» хмуро отворачиваются от новеньких кружек со свастикой и двуглавым орлом. — Слава России! — кричат ординарцы Бермонта, чтобы поднять настроение и заставить раскрыться тощие кошельки. Но «народ безмолвствует», и кошельки не раскрываются.

Я выхожу на улицу. На углу, в зеленом свете фонаря, стоит человек с пачкой каких-то листовок и монотонно повторяет:

— Новая брошюра — «Хлестаковщина наших дней», полезно прочесть каждому члену «Ронда». Новая брошюра — цена двадцать пфеннигов.

Я покупаю брошюру и в вагоне подземной дороги разворачиваю ее. На ней эпитафия из Пушкина: «Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим»¹⁵. И вся она полна самой резкой брани по адресу «Ронда» и его «вождей». Пошлость, кликушество, самореклама, убожество, жалость — иных эпитетов автор для них не находит и герб рондовцев — двуглавый орел со свастикой — откровенно называет «видоизмененно-изнасилованным российским императорским гербом». Делает это он с чувством полной безнаказанности: на обложке стоит не только имя и чин автора: подполковник Имшенецкий, но указан и его берлинский адрес. Невысоко, по-видимому, стоят в глазах нынешних властителей Германии акции «Ронда».

V

ОТ ПЕЛЬХАУ ДО СКОРОПАДСКОГО

История «Ронда» (письмо из Берлина)

Прежде чем говорить о сегодняшнем печальном состоянии «Ронда», поучительно коснуться его истории. Кем «Ронд» основан и кто его «вожди». История «Ронда» вовсе не теряется, как «история мидян», в «сплошном тумане». Известно, в первые дни национал-социалистической революции, когда Берлин потонул в угаре политических страстей и борьбы и некоторым эмигрантам показалось, что чуть ли не завтра Гитлер двинется крестным походом на советскую Россию, — в Берлине образовалась группа людей, положившая начало организации «Ронда».

Это были никому не известные — Николай Дмитриев, г. Щербина (богатый домовладелец, во время Колчака бывший в Сибири, давший на «Ронд» первые деньги) и балтиец Фридрих Лихингер.

Поначалу все шло хорошо. Название — «Ронд» — придумал Дмитриев. Он же нарисовал эмблему организации, тут были — двуглавый орел, изображение Георгия Победоносца, знак свастики, крест и меч, «немножко много всего», но ничего. Этот же «вождь» сочинил и гимн для «Ронда» на мотив «Интернационала». Казалось — полное организационное процветание.

Но гг. Щербина и Дмитриев неожиданно попались в лапы национал-социалистического группюрера (т. е. взводного) Генриха Пельхау.

Чтобы иметь на себе немецкое благословение для русского дела, основатели «Ронда» обратились к берлинскому «гаулейтеру» национал-социалистической партии с просьбой прислать им «для связи» какого-нибудь немца, желательно «говорящего по-русски». И гаулейтер прислал, может быть даже просто, чтоб отвязаться, взводного Генриха Пельхау, прилично владеющего русским языком.

Неудачно пытавшийся стать в Берлине актером, молодой человек со всеми признаками неуравновешенности, Генрих Пельхау, оказался все же человеком весьма проворным. Уже на втором собрании членов «Ронда» Пельхау произвел переворот, т. е. попросту перед ошарашенными членами-учредителями этот для связи присланный взводный объявил себя — «единственным вождем русского национального освободительного движения».

Произошла немая сцена из «Ревизора». Но на попытки сопротивления Дмитриева и Щербины, давшего на него деньги, Пельхау просто прикрикнул дав понять, что «действует по указанию свыше». Ну, раз «свыше», — то началась уже полная паника. А Пельхау начал расчищать себе «путь к власти».

Больше других шумел «вождь № 1», Н. Дмитриев, посмеявшийся даже публично заявить, что «Ронд» основан им, он вождь этой организации, сокращенное название которой вовсе не значит даже «Российское Освободительное Национальное Движение», а значит — «Россию освободит Николай Дмитриев!» Это было, конечно, сделано очень тонко и задумано очень хитро «вождем № 1», и раньше этого никто не заметил. Но Пельхау сдаваться не пожелал даже на этот аргумент.

Первым, с кем он расправился, был Дмитриев. Дружинники «Ронда», довольно-таки голодные и безработные люди, мгновенно (как в «Вампуке»)¹⁶ подчинились действовавшему по указанию «свыше» Пельхау, среди бела дня на Паризерштрассе напали на основателя «Ронда» Дмитриева, схватили его и с криком — «По приказанию вождя, в штаб! На допрос!» — уволокли. Допрос для Дмитриева кончился довольно плачевно: на дому «вождя № 1» дружинники нашли 6 различных паспортов, и «вождь» был отправлен в тюрьму при полицейпрезидиуме.

Свернув таким образом шею Дмитриеву, цыкнув на Щербину, Лихингера и других знаменитостей, взводный Пельхау, будучи попросту психически больным человеком, издал манифест, в котором прямо так и писал черным по белому, что вождем, который спасет Россию, будет он, Генрих Пельхау, принимающий отныне имя — Андрей Светозаров! И Андрей Светозаров писал: — «Волей Провидения, я стал вождем русского народа по ту и по эту сторону рубежа... «Я отвечаю только перед Богом, Россией и своей совестью»... «Я твердо верю»... «Я клянусь»... «Как вождь призванный, я заявляю»... «Я утверждаю неприкосновенность религиозных верований»... и т. п. Основной же политической программы Андрея Светозарова явился как это ни странно, «всероссийский поцелуй».

В отпечатанной отдельной брошюрой программной речи Генриха Пельхау на стр. 2 так и говорится: — «Могучая, сильная гроза любви нависла над Родиной, и не пулеметы, винтовки и интервенции старых генералов решат судьбу России, а братский Всероссийский Поцелуй и крепкое рукопожатие». Вся эта речь «всероссийского вождя», составленная из дикого набора фраз, производит невыносимо смехотворное впечатление. Недостаточно все-таки владеющий русским языком, вождь из кожи лезет вон, стараясь писать и говорить в наирусейшем стиле «ой ты гой еси».

Но на беду «вождя № 2», Генриха Пельхау, «вождя № 1», Николай Дмитриев, отсидел в тюрьме всего-навсего 28 дней и был выпущен на свободу. Оба «вождя» — члены немецкой национал-социалистической партии. И меж «вождями» снова вспыхнула жесточайшая борьба. «Ронд» раскололся.

В своем листке под заглавием «Ронд», который он издает с портретом Гитлера и... Достоевского и с крупной надписью «Гей, Россия!» опальный вождь Дмитриев облил такими помоями захватившего

«Ронд» Пельхау, что, казалось, тут и не отмоешься: и «шулер», и «гнусный провокатор», каких только не было ласкательных слов.

Но Пельхау ответил г. Дмитриеву довольно-таки остро. В № 9 своего листка «Пробуждение России» он дал такую характеристику основателю и первому вождю «Ронда»: «Кто вы, собственно, — ехидно спрашивает вождь № 2 вождя № 1, — Дмитриев, Краузе, Ветров, Думратов, Крынкин или Ведов? Не хотите ли вы иметь очную ставку с свидетелем Отар-Беком, который может установить вашу близость к карманным ворам? Нельзя ли вас расспросить об одном случае, когда вы пытались шантажировать одну даму, требуя от нее 100 марок и утверждая, что «что-то ужасное» случится с ее мужем, бывшим в отъезде, если эти 100 марок не будут вам уплачены? Нельзя ли вас спросить, г. Дмитриев, Думратов, Краузе, о чьих это стихах «поэта-страдальца» вы упоминаете в вашей газете? Не стихи ли это провокатора Коноплина-Горного, который должен был покинуть пределы Германии и кого вы называете вашим другом? И в этом же вашем листке, полном лжи, вы смеете помещать портрет вождя Германской Нации с надписью: «Нашему мировому вождю и брату Адольфу Гитлеру»? («Пробуждение России», № 9).

Пельхау — торжествовал. Поддержанный берлинским «гаулейтером», которому, собственно, не было никакого дела, что там делает его взводный с русскими, этот безграмотный клинический взводный сообщал в своих речах, что его «ждет вся Россия и вся Красная армия»; что стоит ему только перейти границу, как под звон колоколов он въедет в Кремль. И дабы добыть средства для «Ронда», Пельхау устраивал грандиозные представления в берлинском Луна-парке, где играли русские балалаечники «Ухарь-купец», где пел русский хор «Волга-Волга», а Генрих Пельхау, он же Андрей Светозаров, появлялся на сцене на фоне потрясающих декораций, и над ним всходило красное электрическое солнце.

Это было бы смешно, когда бы для некоторых эмигрантов не было грустно. Всем известна судьба представителя РОВС¹⁷ в Германии, полковника Лампе, отсидевшего в тюрьме 3 месяца в чрезвычайно тяжелых условиях, которому немецкие газеты не постеснялись приписать самые тяжкие обвинения в шпионаже. И как ни кричал на рондовских собраниях Пельхау: «Я буду бить по морде каждого, кто осмелится сказать, что Лампе сидит из-за доносов «Ронда»!» — берлинская молва приписывает именно «Ронду» этот арест. Меньшая неприятность, но тоже приписанная «Ронду», произошла даже с таким восторженным поклонником немецкой национал-социалистической революции, как проф. И. А. Ильин¹⁸.

К культурнейшему И. А. Ильину явился один из приближенных Андрея Светозарова, г. Меллер-Закомельский, специалист по «Протоколам сионских мудрецов»¹⁹, с предложением вступить в «Ронд». Неизвестно, что там говорили Ильин с Меллер-Закомельским, только в публичном собрании «Ронда» Меллер-Закомельский доложил, что профессор Ильин осмелился сказать, что «в организацию растленной сволочи он не вступает!». Эта фраза вызвала дикий вопль. Тут вспомнили остроты Ильина о «родине и рондине», о «Луна-парке и лупанарке». И — факты остаются фактами — в один прекрасный вечер, после обыска, грузовик увез профессора Ильина на допрос в полицей-президиум. Правда, сгоряча уехав отдохнуть в Италию, профессор Ильин благополучно возвратился в Берлин, а к этому времени «Ронд» уже, по расцветии, отцвел в утре пасмурных дней.

После падения вождя № 1 Дмитриева настала очередь падения и для вождя № 2 Пельхау. Как ни странно, но комически-патологическая фигура Пельхау, его «Ухарь-купец» и «Волга-Волга» из Луна-пар-

ка привлекли к себе внимание «некоторых держав». «Некоторые державы» даже запротестовали — Хинчук заявил официальный протест на Вильгельмштрассе против деятельности «Ронда». Велик же страх кремлевских обитателей, если даже электрическое солнце, всходящее над Генрихом 1-м повергает их в ужас и заставляет слать дипломатические протесты.

Хинчук, грозивший увести советские суда из Гамбурга, протесты многих солидных немцев-националистов против постыдного политического фарса, затеянного Пельхау, и, наконец, деятельность отделения «Ронда» в Любеке поколебали карьеру Андрея Светозарова.

В Любеке «Ронд», связанный дружески с остатками «Черной бригады» капитана Эргардта, решил начать осуществление своей «программы». Один любекский богатый еврей получил письмо с предложением немедленно положить в условное место 30 000 марок, а если не положит — убьют. Еврей передал письмо адвокату, адвокат — прокурору, и результатом этой «программы» был роспуск в Любеке как отделения «Ронда», так и остатков «Черной бригады».

Все это отозвалось на карьере Светозарова, и в момент этих колебаний его подкараулил новый претендент на «всероссийскую власть», небезызвестный Бермонт-Авалов, состоявший членом «Ронда», но державшийся покуда в стороне.

Берлинский «гаулейтер» внезапно приказал Пельхау покинуть свой пост и сдать «всю власть» в «Ронде» совету трех во главе с Бермонтом-Аваловым.

Казалось, сейчас, в новом блеске, в том же Луна-парке взойдет звезда Бермонта-Авалова и над ним вспыхнет электрическое солнце. Но нет, с «Рондом» произошло что-то необычайное — «Ронду» приказали молчать, не маршировать, отобрали знамена, отобрали значки со свастикой, и, подавленные этим оборотом дела, безработные и голодные рондовцы начали массами уходить из организации.

Берлинцы недоумевали: почему разгромлен «Ронд»? Почему свергнут Андрей Светозаров? И неужто не начнет в Луна-парке появляться Бермонт-Авалов? Думали-гадали, но туман стал понемногу рассеиваться.

Оказывается, вовсе не Бермонт съел Генриха Пельхау, к тому же в совете «Ронда» Светозаров заседает все-таки вместе с Бермонтом; съел же и Бермонта, и Пельхау куда более крупный претендент. И не только этих «вождей» съел новый претендент, съел даже куда более трудное блюдо — главу «УНО» (Украинское национальное объединение), бывшего «генерального писаря», полковника Полтавца-Острианицу, который участвовал в знаменитом расистском мюнхенском путче в 1923 году, был ранен и с самим Гитлером был «на ты».

Вместе с ликвидацией шумной деятельности «Ронда», все «УНО», во главе с Полтавцом, в одну прекрасную ночь оказалось арестованным, и больше 40 человек этой организации село в тюрьму. Члены «УНО» без допросов сидели около 5 недель, глава же организации Полтавец и того больше.

Многие недоумевали. Но, наконец, соглашение было достигнуто.

И «Ронд», и «УНО», и Пельхау, и Бермонта, и Полтавца в один день остригли под одну машинку. Теперь пошла уже музыка не та. Слишком уж часто стали подъезжать правительственные и частные автомобили к одной из фешенебельных груневальдских вилл. Слишком много уж суеты поднялось в этой вилле. Конечно, сюда Генриха Пельхау просто не пустят, Бермонт и Полтавец, если и пройдут, то только на поклон. Сюда подкатывает Альфред Розенберг и сам всемогущий Герман Геринг. Чья ж это вилла? Это — груневальдская вилла гетмана всея Украины — Павло Скоропадского²⁰.

VI

Потсдам — «пруссский Версаль». Монументальность, грузность, чопорный холод. При этом — полное отсутствие размаха, великодержавности: громоздко, но мелко, напыщенно, но ничуть не величаво.

Потсдамский архитектурный «ансамбль» чем-то напоминает «роскошный» письменный прибор, чинно расставленный на зеленом сукне подстриженных газонов. Дворец, как гигантская чернильница, собор — внушительное мраморное пресс-папье. Статуи средней руки крииво улыбаются в непропорционально высоких нишах, и золоченые амуры, играя аляповатыми розами, воплощают солдатскую мечту о XVIII веке.

Плох прусский Версаль. Даже чудесное осеннее солнце, которое заливало его, когда я в нем был, не могло скрасить вполне его раззолоченной унылости.

Впрочем, приехал я в Потсдам не для того, чтобы любоваться архитектурой. В это утро там был назначен большой парад наци и, после парада, митинг с участием Геббельса.

Русский ударник, с которым я позавчера разговорился и «подружился» — о нем будет речь впереди, — обещал встретить меня на вокзале и достать пропуска на трибуну. Он исполнил только половину обещанного. Встретил и, добродушно улыбаясь, сообщил: «Не достал я пропуска, такая досада, придется нам как-нибудь ловчиться самим».

* * *

Ловчиться нам не пришлось. Едва выйдя на улицу, мы попали в течение плотной человеческой массы, которая двигалась туда же, куда и мы — к месту митинга.

Толпа двигалась плавно, медленно, как движется по реке тронувшийся лед. Иногда на минуту она задерживалась, порой, когда впереди обрисовывался затор, подавалась назад. Она была чрезвычайно густа, люди шли локоть к локтю, плечо к плечу. Но не только не было давки, но достаточно было посмотреть на лица соседей, чтобы понять, что никакого проявления грубости или раздражения — довольно обычных в послевоенной немецкой толпе, — здесь не может и быть. Люди шли на праздник, на торжество. Их лица сияли.

Полнокровные лавочкиники с бычьими затылками, стриженные приказчицы или кельнерши, пожилые особы в невероятных шляпках, встречающихся только на старых немках, голубоглазые, краснощекие подростки, жилистые, чинные господа военной выправки — все они, при всем своем разнообразии, казались сейчас на одно лицо, так равняло их всех одинаково умиленное восторженное выражение. И когда над этой толпой, где-то далеко впереди, колыхнулись красные знамена и труба заиграла военный мотив, «гейль», которое пронеслось в воздухе, было в самом деле как бы «вырвавшимся из одной груди».

«Все немцы сейчас гитлеровцы... даже социал-демократы», — вспомнились мне сказанные кем-то слова.

Человеческий поток, в котором плыли я и мой спутник, с каждым шагом все медленней двигался, все чаще останавливался, наконец, остановился совсем, упершись в полицейскую цепь. Там, за цепью и за трибунами для публики с билетами, гремела военная музыка, слышались слова команды и глухой, отчетливый топот ног. Потом, после новых бесчисленных «гейль», начался митинг. В громкоговорителе слышался звонкий голос Геббельса.

Геббельс считается самым ядовитым и красноречивым из национал-социалистических ораторов и самым «интеллектуальным» из вождей. Ничего «ядовитого» в том, что долетало до моих ушей, я,

признаюсь, не расслышал. Все те же знакомые слова — о «великой национальной идее», о том, что надо «сплотиться железной стеной» и разбить «постыдные цепи». В самой манере говорить, довольно выразительной, было какое-то — как мне показалось, нарочитое — холодное исступление. Вероятно, впрочем, он говорил именно так, как надо, и то, что надо. Громкое «гейль», то и дело прерывавшее его речь, свидетельствовало об этом.

Стоять, стиснутым в толпе, было скучно, утомительно. Слушать Геббельса я мог бы спокойно и в Берлине, в Потсдам я приехал, надеясь на него посмотреть. Я поделился разочарованием со своим спутником. — Повидать? А вот сейчас повидаете, — ответил он. И прежде, чем я опомнился, он, крепко меня схватив, поднял над толпой. На фоне красных знамен, на узкой вышке передо мной на мгновение мелькнула тощая маленькая фигурка, оживленно размахивающая над морем голов длинными, как крылья, руками.

* * *

Мы выбрались из толпы до конца митинга и без труда нашли удобное место в кафэ — через полчаса это было бы безнадежным делом. Кафэ живописно называлось «Zur Tante» — «у тетки», и пиво нам подали превосходное. За кружками пива мы разговорились.

На докладе Вонсяцкого в «Ронде» мой теперешний спутник сидел со мной рядом, после каждой зажигательной тирады с жаром отбивал себе ладони и кричал: «Слава России!» Радостное возбуждение — такое же, как в толпе, в которой мы только что стояли, — сияло при этом на его простоватом, добродушном лице. В антракте мы познакомились.

Он оказался общительным человеком. Спустя десять минут я уже знал, что он офицер военного времени, сын зажиточного малорусского земледельца («помещика», как он с важностью говорил), что в Германии «мается так и этак» уже тринадцать лет и по убеждениям «сто процентный гитлеровец». — «Да как же иначе? Иначе не может и быть. Кем же быть русскому человеку — вот такому, как мне, как не национал-социалистом?»

Теперь, сидя «у тетки», прихлебывая пиво и макая «вюрстхены»* в горчицу, он обстоятельно объяснял мне, «какой он человек», и почему «иначе не может и быть».

* * *

— Перешел я границу в 1920-м году и очутился в Литве. Оборванный, грязный, обросший бородой, в солдатской шинели, — не то, что на офицера и сына помещика я не походил, а и хулиган не всякий бы признал во мне ровню. Такой был у меня вид, что прохожие шарахались в сторону.

Пешком через Литву я добрался до Восточной Пруссии. Денег у меня не было. Питался подаванием. На войну я попал 17-летним мальчишкой, который жизни совсем не знал и работы никакой не умел делать. На счастье мое, встретился мне один русский военнопленный — их масса была тогда в Восточной Пруссии — и взял меня под свое покровительство. Устроились мы батраками на имени. Дали мне вилы. Взял я вилы, которых отродясь не держал, и началась моя трудовая жизнь.

Пища прямо никуда не годная да, вдобавок, в обрез. Закурить или передохнуть во время работы — преступление. Дождь проливной

* Колбаски (нем.).

льет — это тебя не касается, мокни до нитки, но прекратить работу не смей. Ну прямо скотское положение. Товарищи мои были терпеливей меня, сносили все, — мне же с непривычки показалось невтерпеж, подговорил я их на забастовку. То есть, какая там забастовка, просьба скорей: работу немного облегчить, пишу улучшить. Ну, сегодня мы свое заявление подали, а назавтра везли нас уже в арестантском вагоне в Кенигсберг — распределять по концентрационным лагерям.

Я тут задумался, знаете, едучи в арестантском вагоне. В лагерь попадать мне, само собой, нет охоты. С другой стороны, думаю, не может здоровый работоспособный человек пропасть, даже и в чужой стороне, если правильно взяться за дело. Стерегли нас немцы не особенно строго, удалось мне сбежать.

Чем я только потом не занимался. Торф копал, рубил лес, был углекопом, рыл канавы, был кучером, берейтором, осушал болота, служил приказчиком в имении, садовником, шофером — все перепробовал, стараясь выбиться в люди. Работал я старательно и приноравливаться умел, но все-таки прослужишь месяца два-три и чувствуешь — немоготу, нет сил, образ и подобие человеческое теряешь, превращаясь в подъяремный скот. Менял я профессии, надеясь найти лучшие условия жизни, но куда ни податься, всюду были одинаковые условия — за минимальную плату выжимают из тебя все без остатка.

Попал я как-то в соляные шахты. Глубоко, знаете, 700 метров, температура адская, стоишь голый, в одних трусиках, на лбу повязка, чтобы соленый пот не выедал глаз. Ну, совершенный каторжник, не хватает только надзирателя с кнутом. Но зачем кнут? Страх не выполнить урок и потерять место — в то время уже начиналась безработица, и работа давалась все труднее — подгонял меня лучше всякого кнута. И стал я, знаете, рассуждать про себя. Вот как рассуждать.

От кого я бежал тогда, оборванный, голодный, в 1920 году? От коммунистов. Ненавидел их за то, что они разрушили Россию, ее силу, ее богатство, пустили по миру сотни тысяч людей, в том числе и меня. И теперь, спустя много лет, стуча киркой о соляной пласт, проверял я себя и видел, что не ошибался, что они злые звери, негодяи, враги родины. А между тем... вспомнил я коммунистическое учение, их слова о несправедливости буржуазного строя, разрешающего сильным угнетать слабых, и чувствовал: все правда. Как же не правда? Вот я, тружусь тяжким трудом, живу на чердаке, питаюсь маргарином и картошкой, а если завтра мне дадут расчет, мне не на что будет даже чистую рубашку купить, чтобы искать работы в приличном виде. Как же не правда, — думал я. И чем больше думал, тем мучительнее становилось раздумье. Кто же я такой? — рассуждаю. Большевиков ненавижу и в ихних глазах я белогвардеец, прислужник эксплуататоров. Но и эксплуататоров этих ненавижу не меньше, чем большевиков, если, знаете, не больше. Ведь большевики для меня в прошлом, в России, за тридевять земель, а капиталисты сводят мою жизнь на нет тут, сейчас, и такая у меня против них скопилась злоба, что, бывало, видишь на улице сытого, хорошо одетого человека, и одно чувство: эх, всадить бы тебе нож под ребро, буржуй!

Так меня это стало мучить, что прямо с ума стал сходить. Кто же я такой? Где мое место в мире? Человек я или так что-то вроде чего-то — ни Богу свечка, ни черту кочерга? Пробовал с товарищами беседовать — все не то говорят. Которые помоложе, все поголовно коммунисты. На Ленина, как на икону, молятся, Россию советскую считают раем земным. Что, говорят, убедился, наконец, на собственной шкуре, что все зло от капиталистов? Правильно делают у вас в России, пуская им кровь. Рабочие постарше, пожилые, сгорбленные, с потухшими глазами, были безразличны ко всему окружающему и политикой не интересовались. Жизнь уже их сломила и перемолола. Толь-

ко бы накормить семью, заплатить за квартиру, справиться сапоги — дальше этого их интересы не шли. . .

Оставались еще социал-демократы. Одно время я и подался к ним. Вот, думаю, справедливые люди; и большевикам враги, и рабочие интересы против капитализма защищают. Записался я в ихний Verein*. Кружки стал посещать, газету выписывал. Все ничего, — пока не дошло до дела. А дело простое случилось, уволил меня без предупреждения предприниматель, и пошел я в Verein жаловаться. Сочувственно так отнеслись. Конечно, говорят, ваше дело правое, мы поддержим вас. Начали уже и жалобу за меня составлять. Кто, спрашивают, ваш предприниматель? Такой-то. А был он важная шишка, первый в округе богат. Вытянулись тут их лица. Пошушукались между собой, развели руками. Не можем, сообщают, ничем вам помочь, нет у нас средств на судебные издержки. А у них из наших рабочих взносов капиталы посоставлены, дома выстроены, целая орава партийных кормится. Понял я тут разом, что такое эти Verein'ы, и какая они мне защита.

Тут вскорости услышал я: Гитлер, национал-социализм. . . С тех пор я другой человек. Тяжело живется, а я внимания не обращаю. Случится поголодать — ну, и поголодаю, экая важность. . . Главного у меня никто не отнимет — веру в новую жизнь. И сознания, что я не одинок, — миллионы таких же, как я. И что правда на земле есть. И что, когда воскреснет Россия, — и мне найдется там место.

Он глядел на меня открыто, ясно, искренне. В его голубых, добродушных глазах светилась твердая уверенность, что он «знает правду». Видно было, что этот простой, вероятно, славный, выдавший много тяжелого человек, не рассуждая, пойдет куда угодно за всякими, в чьих руках будет знамя со свастикой. За Бермонтом, за Светозаровым — за любым авантюристом или одержимым. И что разубеждать его, по крайней мере, сейчас — напрасный труд.

VII

Опять автомобиль бесшумно катит вперед. Берлин с «Рондом», Бермонтом, Вонсяцким, Светозаровым, «пробуждением России на немецком языке» далеко позади. Время, потраченное там, мы теперь наверстываем «головокружительной ездой». 120 <километров> в час.

То здесь, то там на фоне идиллической сельской природы мелькают громады каких-то фабричных зданий. Колоссальные трубы дымят черным дымом, многоэтажные корпуса, с наступлением сумерек, вспыхивают сотнями окон. Вдоль изгородей из колючей проволоки, которыми такие места неизменно окружены, поблескивая винтовками, день и ночь ходят часовые.

В любом немецком городке, самом маленьком, самом захудалом, обязательно стоит тяжеловесный монумент с надписями, лаврами, скрепленными саблями и аллегорическими фигурами, — памятник 1871 года²¹. Теперь эти памятники сразу бросаются в глаза. Они подновлены, вычищены. Всегда около них толпятся люди. Очень часто в цоколе над толпой видна фигура ударника. Он выкрикивает звонкие патриотические фразы — «стыдно умирать в собственной постели» или что-нибудь в этом роде. Его рука с красной повязкой на рукаве высоко поднята в воздух для клятвы или угрозы. Красные знамена новой Германии колыхнутся над памятниками былых побед, и у их подножия лежат букеты и венки, перевязанные лентами со свастикой.

* Союз (нем.).

* * *

Как ни гоним мы наш «Штутц», — его двадцати сил все-таки не хватает, чтобы домчать нас засветло в Ширке или Браунлаге — одно из горных местечек в Гарце, где мы самонадеянно собрались заночевать. Нет, даже для такой машины, как наша, есть невозможные вещи. Прикинув остающееся время, мы ясно видим, что если даже еще усилить скорость, то единственное, чего мы сможем добиться это застрять где-нибудь, среди перевалов и пропастей, часов в 10 вечера. Гарц, таким образом, откладывается на завтрашнее утро. Ночевать мы будем в Гальберштадте.

Я лет 10 тому назад провел в Гальберштадте час или полтора, ожидая пересадки; поэтому, в сравнении с моими спутниками, я считаюсь знатоком этого города. И в полной уверенности в правоте своих слов, объясняю им, что ночевка нам предстоит в месте довольно скучноватом. В самом деле, я прекрасно помню новехонький вокзал, подстриженные, свежепосаженные вокруг банальных цветников деревья, сияющую новой краской и бетоном улицу, которая начинается от вокзала и которая есть без сомнения главная улица Гальберштадта. Словом, маленький Берлин, провинциальный кусочек Вестена, миниатюрная Таунтациенштрассе, где единственное что можно сделать, это, закусив в каком-нибудь модернизованном автомате, отправиться убить время на кинематограф.

Вот и Гальберштадт. Все, как я говорил: вокзал, бетон, прилизанные цветники. Кафэ, облицованное фальшивым рыжим мрамором. Напротив новенький отель, облицованный фальшивым мрамором серым. За ними главная улица. Все-таки, хотя мы знаем, что ничего любопытного не увидим, надо после обеда отправиться по ней немного вглубь, чтобы размять ноги.

... Было ясно, тепло, необыкновенно тихо. В окнах только кое-где светились огоньки. Прохожих почти не встречалось. В небе торжественно плыла полная луна, освещая волшебный средневековый город. Иначе, как волшебным, нельзя было назвать Гальберштадт.

Улочки, переулки, закоулки, тупики — словно лабиринтом окружали площадь. Мы блуждали по ним, заворачивали куда-то, поднимались по ступенькам, спускались, возвращались на место, где уже были, и снова шли бродить. Один за другим вырастали перед глазами дома, один восхитительнее другого. Этажи выступами громоздились над этажами. Пестрые стекла сияли и переливались в окнах самых причудливых фасонов. Какие-то лесенки круто вели к небу. Чугунные лебеди протягивали шеи из темноты. Лакированные двери, цвета крови, блестели кованой медью. Фонтаны шумели в таинственных двориках. И на них глядели святые с цветами в руках, горожане с кружками пива и трубками, рыцари, знаки зодиака, львы, синие кораблики с золотыми парусами, ветряные мельницы, арабски всех цветов, которыми были расписаны стены окружающих домов.

Каждый дом был раскрашен на свой особенный лад. Между этажами, вдоль пестрых балок, вились длинные нравоучительные или поэтические надписи готическим шрифтом во всю ширину фасада. Один пятиэтажный дом на площади был бирюзового цвета и весь просвечивал, как драгоценный камень. А напротив у колодца, верхом на свиньях и тритонах, с трезубцами наперевес, скакали страшные уродцы в высоких шапках: в лунном свете они казались живыми.

Утром мы еще раз обошли Гальберштадт. Конечно, впечатление было уже не то, что ночью. Над бирюзовым домом обнаружилась вывеска дантиста. С таинственной лесенки на лебедях прямо на нас вышел дружинник в хаки и, потряхивая кружкой (почти каждый день в Германии собирают какие-то пожертвования), козырнул и наколол нам

аляповатые значки со свастикой. Но и в дневном свете Гальберштадт был все-таки чудесен. Я видел много старинных городов, но ни Руан, ни прославленный Роденбахом²² Брюгге, ни Люксей в Вогезах не идут с Гальберштадтом в сравнение. Здесь каким-то чудом сохранилось то, что, пожалуй, драгоценнее самых замечательных памятников искусства, — какое-то «животное тепло» средневековья, если можно так выразиться. Мы выпили на прощанье пива в биргалле*, существующем 300 с лишним лет, и купили бананов и груш в маленькой фруктовой лавчонке, над сводчатым входом в которую была скромная надпись: «Основана в 1498 году».

Гарц. Высокие подъезмы, крутые спуски. Огромная черная рука, распростертая на фоне темных елей, ежеминутно предупреждает об опасности. Брокен — гора ведьм — какая-то сутулая, покрытая щеткой мрачного леса. Хорошенький (пошловатый после Гальберштадта) Браунлаге с десятками пустующих пансионеров и санаторий, владельцы которых смотрят вслед автомобилям с туристами голодными глазами. Какая-то гигантская стройка, производимая в горах (пласт огромной скалы срезан, как ножом, десятки подъемных кранов поднимают и сваливают щебень, камнедробилки глухо гремят, неизменные часовые разгуливают между местом работ и дорогой), — и мы снова в долине. После вынужденного замедления, летим вволю. К обеду не полагается опаздывать, а в замке, куда мы едем, нас ждут к обеду.

* * *

«Учение Гитлера так высоко, что обыкновенный смертный не может его постичь», — наставительно цедит барон Н., хозяин замка в Весторалии, где мы обедаем и проводим свою последнюю ночь в Германии. Еще в Риге мы были гостеприимно приглашены пожить здесь «подольше»; но, во-первых, путешествие и так затянулось... А во-вторых, скучно как-то в великолепных замках этого феодального поместья, неудобно за блестяще сервированным столом, томительно-беспокойно за «непринужденной беседой» у огромного камина, за душистым кофе, ликерами и толстыми турецкими папиросами.

«Гитлер — немецкий Мессия», — с пафосом поддакивает барону его жена. На мгновение их глаза встречаются, и какое-то еле уловимое выражение растерянности перебегает из взгляда в взгляд. Не надо быть особенно проницательным, чтобы догадаться, что хозяева вряд ли в таком восторге от Гитлера, как это они изо всех сил стараются показать, и не так уж безмятежно их настроение под сенью широко развевающегося над фронтоном замка красного национал-социалистического знамени.

Барон Н. человек лет сорока пяти, бывший белый кирасир кайзера. Жена его — русская. Ее я знаю с детства, с ним познакомился в 1923 году, в разгар инфляции. Какие веселые обеды задавали тогда супруги Н. в своем особняке на Фазененштрассе, и кто там только не бывал. Министры, послы, журналисты, кинематографические звезды, и банкиры, банкиры, бесчисленные тогдашние банкиры. Общество, спору нет, было блестящее, но с арийской точки зрения не вполне удовлетворительное. Добрая половина гостей, наиболее уважаемых, самых ценных, была евреями. Барон Н. состоял пайщиком известного универсального магазина, компаньоном крупнейшей кинематографической компании, членом правления большого банка. Перед всеми этими местами в дни бойкота стояли дружинники, жалась любопытная толпа, перешагнуть через их порог было дело рискованное; «Jüdisches Geschäft»** — было намазано углем, мелом, краской вдоль и поперек на

* Bierhalle — пивной зал (нем.).

** Еврейское предприятие (нем.).

их зеркальных витринах, внушительных подъездах, облицованных гранитом фасадах. И это была чистая правда: предприятия, где делал свою блестящую финансовую карьеру барон Н., были предприятиями еврейскими.

Теперь над его замком развевается флаг со свастикой и в петлице его изящного пиджака поблескивает розетка национал-социалистической партии. Белый кирасир кайзера — человек с ясной, расчетливой головой ультрасовременного денежного туза, вовремя перекрасился в защитный черно-красный цвет. На столе у него раскрыт том Шпенглера²³ и навалены макеты нового патриотического сценария, который его фильмовая компания собирается ставить, исполняя социальный заказ. «Учение Гитлера так высоко...» — говорит он и вбрасывает в глаз монокль классическим жестом прусского лейтенанта. «Учение Гитлера так высоко...», что — таково, по крайней мере, мое впечатление, — этот человек, холодный, самоуверенный, «режущий подметки на ходу», впервые в жизни растерян, не знает, что ему предпринять, чувствует, что и врожденная ловкость, и благоприобретенный опыт могут не вывезти на этот раз. Слишком уж высоко учение Гитлера: фильмовые общества дают только голый убыток, универсальные магазины прогорают, и банки, пошатываясь на размягченных фундаментах между прекращением платежей и национализацией, не знают, в какую еще из этих пропастей придется рухнуть всей своей раззолоченной, облицованной, железобетонной тяжестью.

Рыцари в кольчугах и шлемах выстроились у дубовых панелей. Токайское в старинных рюмках отливает огнем. Сигары благоухают. Ноги тонут в смирнском ковре. Кресла восхитительно удобны. Но сквозь эту роскошь, комфорт, тепло, бравую выправку и самоуверенный говор хозяина, сквозь восторг перед Гитлером и цитаты из Шпенглера, явственно веет какой-то ледяной сквознячок. Очень, кстати, похожий на тот, который после октябрьского переворота сразу повеял в тех петербургских гостиных, где в течение семи месяцев до того так страстно, упорно, жадно мечтали о гибели Временного правительства.

Скучно и беспокойно под гостеприимной кровлей феодального замка в Вестфалии. Хочется зевнуть, хочется куда-нибудь уйти. Досиживаем кое-как вечер. Как ни неискренен, пуст и вял наш разговор, кое-что любопытное проскальзывает все-таки и сквозь его условность.

Я не знал, например, что каждому доброму немцу, имеющему знакомых в Австрии, вменяется в обязанность посылать им воззвания, пропагандирующие аншлусс*, бойкот правительства Дольфуса и т. д. Листочки эти для удобства отпечатаны на писчей бумаге и снабжены плотным, непросвечивающим конвертом. Одна сторона чистая — на ней можно, как на белой половине открытки с видом, написать частное письмо.

Любопытны и подробности нового устройства союза деятелей искусства. Каждый писатель, сценарист, актер обязан вступить в соответствующий союз. Это опубликовано и общеизвестно. Но только те, кто в союз не приняты, знают, что независимо от стажа, таланта, имени, они больше не напечатают ни одной строчки, не выступят ни на одной сцене, пока существует нынешний режим или пока тем или иным способом они не выхлопочут себе членского билета.

VIII

Сколько раз в дороге мы бывали неосторожны. Летели с непозволительной быстротой, ехали ночью, в тумане, с недействующими фара-

* Присоединение (нем.).

ми, делали спуски в несколько километров с выключенным мотором, занятие увлекательное, но не очень благоразумное. «Аксидан»* ждал нас на умеренном ходу, на месте, гладком, как доска, и, притом «аксидан» в некотором роде, «с политической подкладкой». Мы наскочили на мотоциклетку с гитлеровскими ударниками.

Как это случилось? Так, как «это» всегда случается. Мгновенно, в одну секунду, прежде чем можно не только что-нибудь предпринять, но просто сообразить, в чем дело.

Было чудное утро. Мы проезжали деревушку. На улице ни души, кроме стада гусей, разгуливающих вдоль канавы. Большой грязно-белый гусь сунулся, когда мы заворачивали за угол, перебежать нам дороге. Чтобы не задавить его, сидевший за рулем взял чуть-чуть влево, и вдруг треск, звон, грохот... В канаве, где только что паслись гуси, широко раскинув руки, лежит долговязый подросток в хаки, с красной повязкой на рукаве, и по его шее, за воротник коричневой рубашки, течет кровь. Мотоциклетка, на которой он только что ехал, отброшена на порог булочной, — там в дверях толстый булочник, выбежавший на шум, тарасит ошалевшие, водянистые глаза. И над всем этим с отчаянным гоготанием носятся гуси, с перепугу взлетевшие на воздух.

... Все обошлось благополучно. У ударника оказалась расцарапанной кожа за ухом. Мотоциклетка его почти не повреждена. Был ли этот юный гитлеровец от природы кроткого нрава или на воображение его подействовал бело-голубой флажок рижского автомобильного клуба, который он принял (и мы его не разочаровывали) за атрибут дипломатической неприкосновенности? И то, и другое, должно быть. Во всяком случае, он, явившись из аптеки, с залепленным пластыврем затылком, выказал ангельский характер, был вежлив, мил, не только не предъявил на правах потерпевшего претензий, но даже извинялся. Мы в ответ пригласили его позавтракать.

Маленькие придорожные ресторанчики в немецкой провинции, особенно поближе к югу, удивительно приятны. Чисто, тепло, светло, прочный дубовый или ясеневый стол покрыт накрахмаленной скатертью, в окнах — цветы, на полках — ярко начищенная медная посуда, у камина — удобные дедовские кресла, сам камин облицован темным деревом или выложен пестрыми забавными кафелями.

Прислуживает какая-нибудь пышная голубоглазая Минхен или Лизхен, прислуживает старательно и вполне исправно, но сам хозяин то и дело подходит к столу. Подвинет горчицу, разглядит морщинку на скатерти, осведомится, вкусно ли хершафтенам**, не дует ли из окна, не желает ли дама отдохнуть после обеда. Если пожелает, комната с огромным мраморным умывальником, душеспасительной вышивкой над постелью и невероятными немецкими пуховиками к ее услугам, совершенно бесплатно. Очень часто в такой корчме хозяин церемонно просит оказать ему честь — выпить, тоже, разумеется, даром, какого-нибудь редкого вина или старого вейнбранда***. Наивно, радушно, старомодно, патриархально, с уважением к проезжим, но и с большим чувством собственного достоинства, и все, вместе взятое, чрезвычайно «гемютлих»****. Чтобы почувствовать до конца это выразительное немецкое слово, надо непременно пообедать и выпить прохладного рейнского вина в такой деревенской корчме. Старая, добисмарковская Германия — насколько она милее и уютнее новой, не только гитлеровской, но и вообще берлинской — приподнятой, прусской, модернизированной.

* Дорожный инцидент, авария (фр.).

** Здесь: обществу (нем.).

*** Крепкой настойки (нем.).

**** Уютно (нем.).

За завтраком я пытаюсь проинтервьюировать нашего молодого человека — но не тут-то было. Он болтает, не переставая, обо всем, о чем угодно, но стоит коснуться быта ударников, их настроений, становится нем, как рыба. Я все-таки не отступаю. Тогда, залившись краской, он признается: говорить с посторонними на такие темы строгойше запрещено.

* * *

Геттинген. Нельзя не остановиться хотя на полчаса в городе, откуда

... поэт Владимир Ленский
С душою чисто геттингенской

явился в усадьбу Лариных, откуда он привез в русскую глушь «вольнoлюбивые мечты».

Большой, нарядный город. Смесь умеренного, не берлинского модерна с тщательно охраняемой стариной. Вот и знаменитый университет. А вот сводчатая, огромная, как манеж, подвальная пивная, где испокон веков, еще задолго до Ленского, заседали студенты.

Заседают они и теперь. Еще спускаясь в подвал, слышишь нестройный шум голосов. В дальнем углу пивной, под портретом фюрера, развалилась на диванах компания человек в тридцать в спортивных костюмах и пестрых корпорантских шапочках. Очень молодые, развязные, крикливые, дымят сигарами и беспрестанно чокаются пивом. Через несколько минут на пороге, в противоположном конце пивной, появляются еще несколько таких же точно юношей. Заметив своих, они поднимают руку и кричат «гейль». — Гейль! — нестройно, но оглушительно отвечает компания под портретом. Вновь пришедшие, выстроившись шеренгой, направляются к ним в угол. Они не просто идут, а медленно маршируют, сильно притоптывая каблуками: и при этом хором скандируют: Deutschland für Deutschen — Nieder mit Juden*.

В углу радостно сияют, глядя на своих дорогих друзей, придумавших такую веселую выходку. Обе стороны от души наслаждаются. Кельнеры и посетители тоже смотрят на это зрелище, сочувственно улыбаясь: «Славная, славная молодежь», — явно чувствуется в их взглядах.

Когда шеренга вплотную приблизилась к сидящим, те, как по команде, вскакивают и так зычно подхватывают: «Nieder mit Juden!» — что кружки дребезжат на столиках. Потом все рассаживаются и начинается усердное, непрерывное чоканье. В 1934 году, чтобы быть «с душою чисто геттингенской», очевидно, надо вести себя именно так.

Довольно Германии! Это чувство вдруг овладевает нами. Мы путешествуем по царству Гитлера только восемь дней и еще полчаса назад жалели, что мимо стольких интересных мест промчались, не останавливаясь. Еще полчаса назад был силен соблазн, не захватить ли в Нюрнберг, не сделать ли крюк вдоль Рейна, даже не свернуть ли, вопреки всем расчетам, на Баварию. И вот, вдруг, вместо этого, желание вырваться отсюда, и как можно скорей. Нюрнберг очарователен. Верим. Берега Рейна прекрасны? Не сомневаемся. Маленькие гостиницы на дороге, белое вино, патриархальные немки, все это так «гемютлих». Но довольно, хватит и очаровательных берегов, и радушных хозяев.

* Германия для немцев — долой евреев (нем.).

В ворохе разных ощущений, собранных за время поездки, определилось, покрывая все другие, одно: как хорошо, что я ничем не связан с этой страной, что еще сегодня я перееду ее границу. Дело совсем не в геттингенских буршах. Просто безотчетно скопившееся отвращение вдруг стало ясным, кристаллизовалось.

Итак, вместо разных противоречивых соблазнов, один: кратчайшей дорогой на Кельн, на Аахен, никуда не заезжая, ничего больше не осматривая, — «домой, домой!».

Мы садимся в машину на ратушной площади. Перед ратушей, освещенная косым солнцем, стоит статуя девочки с лебедем под мышкой. Из клюва лебедя бежит вода, а кругом вьется ажурная решетка, удивительно легкой работы. Статуя нежно, невинно улыбается, точно приглашая полюбоваться собой. Трудно не полюбоваться, особенно, когда знаешь, что «философ двадцати двух лет», с черными кудрями до плеч, тоже когда-то любовался ею. Так даже лучше. Пусть, вопреки отталкивающей реальности, сохранится на память о Германии этот детский силуэт, шея лебедя, косое солнце, музыка пушкинских стихов.

* * *

Знаменитые *Siel* и *Enfer** на авеню де Клиши нарочно построены бок о бок, чтобы чувствительный провинциал за свои десять франков мог вполне насладиться эффектом немедленного контраста. Я вспомнил об этом, проезжая по Бельгии. Должно быть, нигде в мире «райское» и «адское» в природе не находятся в таком близком и таком разительном соседстве, как на автомобильной дороге между Германией и Францией.

Сперва ад. Из идиллической прирейнской Германии с зелеными рощами, мягкими холмами, черепичными кровлями деревень и связками табаку, сушащегося на солнце, почти сразу попадаешь в кошмар какого-то экспрессионистского фильма.

С одной стороны дороги высятся огромные, пепельно-белые склады. Ни дерева, ни куста, ни пучка травы. Все вытоптано ногами рабочих, укатано колесами вагонеток, засыпано сухой известковой пылью.

Сквозь этот едкий туман мутно просвечивает солнце, расплываются дымно-серые человеческие фигуры, движутся белесоватые зубчатки, цепи, камнедробилки, подъемные краны. Гул машин, взрывы динамитных патронов, грохот падающих осколков, треск моторов. И повсюду большие, чтобы бросалось в глаза, отчетливые, чтобы сквозь пыль было видно, надписи: *Attention! Danger mortel!*** И точно для пущего «макабрного»²⁴ контраста с пепельно-мглисто-летейским тоном окружающего, — по дороге взад и вперед носятся грузовики, выкрашенные в кроваво-красный цвет.

И вдруг, после ада — рай. Поворот дороги — каменоломни раздвигаются, небо становится ясным. Широкий Маас тихо катит спокойные зеленоватые волны, и над ним вырисовываются острые вершины Арденн.

Чем дальше, тем все красивее. Арденны, если их сравнивать с Альпами или Пиренеями, совсем небольшие горы, чуть ли не холмы. Но они так живописны, полны такой романтической прелести, что и Альпам и Пиренеям приходится им в чем-то уступить. В том, как очертания Арденн чередуются с поворотами реки, деревьями, колокольнями, острыми крышами домов, есть какая-то «непогрешимость замысла», словно не случайная игра стихии, а творческая воля художника размещала и комбинировала все это. Долина Мааса в окрестностях Намю-

* Рай и ад (фр.).

** Осторожно! Опасно для жизни (фр.).

ра — место, где погиб король Альберт²⁵, — действует на душу, как произведение искусства: не только восхищаешься этим удивительным пейзажем, но и чему-то учишься у него.

* * *

Усатый жандарм. Трехцветный флаг — *Avez-vous du tabac?** — французская граница. Ночевка в отеле, единственном в городке и таком грязном, что после Германии не веришь, что такие еще могут существовать. Но удовольствие, вернее, наслаждение при мысли, что это Франция, — с лихвой покрывает дрянной дорогой обед, скверную кровать и отвратительный утренний кофе-крем**. В семь утра мы уже выкатываем машину, набираем бензин и катим дальше. До Парижа три с половиной — четыре часа езды.

Путешествие кончается. И опять, как в самом начале его, под Митавой, мелькают по сторонам дороги стены сожженных ферм, кресты братских кладбищ, леса, исковерканные орудийным огнем. За 19 лет*** усилия людей и природы все еще не стерли зловещих следов войны. Зато подросла молодежь. Ей так нравится военная музыка, блеск оружия, распушенные знамена, патриотические фразы... И когда ей кричат: «Стыдно умирать в постели», — она верит, что стыдно.

ПРИМЕЧАНИЯ

Цикл очерков под этим заглавием был опубликован в рижской газете «Последние новости» в 1933—1934 г.: 1933 г. — № 4608 (3 нояб.), № 4625 (20 нояб.), № 4639 (4 дек.), № 4644 (9 дек.), № 4664 (29 дек.); 1934 г. — № 4699 (2 февр.), № 4740 (16 марта). Между четвертой (№ 4644) и шестой (№ 4664) частями цикла в № 4651 (16 дек.) был опубликован очерк «От Пельхау до Скоропадского» с подзаголовком «История Ронда» — за подписью «А. И.». Текстология и логика позволяют утверждать, что эта статья принадлежит Г. Иванову и является пятой частью цикла «По Европе на автомобиле», — очевидно, Г. Иванов подписал «От Пельхау до Скоропадского» псевдонимом, так как опасался, что после опубликования этого антинацистского памфлета под настоящим именем ему не только может быть запрещен въезд в Германию (где у него оставались связи среди русских эмигрантов), но и берлинский «Петрополис» будет вынужден отказаться от публикации уже планировавшейся в то время его книги стихотворений (*ООЦ-2* датировано самым началом 1937 г.). Цикл очерков «По Европе на автомобиле», насколько нам известно, никогда не перепечатывался.

¹ *Эрнс Иоганн фон Бюрен* — сведения о Бироне, приводимые Г. Ивановым, исторически достоверны.

² ... *граф Боржилижес Растрелли*... — т. е. Франческо Бартоломео Растрелли (1700—1771); сведения о нем также достоверны.

³ *Бермонт-Авалов Павел Рафалович* (правильней Бермондт-Авалов, 1877 — после 1934 — в 1919 г. командующий «русско-немецкой Западной армией в Прибалтике». Эта армия (по другим источникам — «Особый русский корпус»), сформированная из русских военнопленных и добровольцев, с июня 1919 г. воевала в Латвии против войск «красных», а затем и против войск Юденича и правительств Латвии и Эстонии. Пытаясь создать «Балтийское герцогство», Бермонт-Авалов в октябре 1919 г. занял предместья Риги, однако захватить город ему не удалось. Позже бежал в Германию. Есть сведения, что он происходил из уссурийских казаков и стал генерал-майором в 1918 г.; однако Самсонов в рецензии на его книгу «В борьбе с большевизмом» (1925; рецензия — *Д*, 1926, 23 мая) утверждал, что Авалов «был произведен в генералы несколькими подчиненными ему офицерами во время отступления его разбитой латышскими армией в Германию». Самсонов также отмечает, что Авалов, в первые дни после Февральской революции участвовавший в каком-то заговоре адмирала Колчака против Временного правительства, всегда был настроен прогермански и пользовался покровительством немецких реваншистов, а также русских монархистов («претендента на русский престол» великого князя Кирилла Владимировича). По тому же сообщению, Западную армию Авалова организовал ротмистр фон Розенберг — в

* Табак везете? (*фр.*).

** Кофе со сливками (*фр.*).

*** Расхождение между числом лет здесь и на стр. 3 не должно удивлять читателя: для Литвы и для Франции этот отсчет неодинаков.

дальнейшем один из вождей нацистской Германии и покровитель Бермонта-Авалова как руководителя организации русских фашистов.

⁴ «Особенный еврейско-русский воздух» — цитата из ст-ния Д. Кнута «Я помню тусклый кишиневский вечер...» (Сб. «Парижские ночи», Париж, 1932), позднее печатавшегося под заглавием «Кишиневские похороны».

⁵ «У спутников моих латвийские паспорта, у меня — нансеновский. — Имеется в виду документ, выдававшийся Лигой наций по инициативе Фрильофа Нансена лицам без гражданства.

⁶ *Зверс Ганс-Гейнс* (1871—1943) — немецкий писатель; его произведения пользовались широкой популярностью (в том числе и в России) еще в начале века — прежде всего знаменитый роман «Альрауне».

⁷ *РОНД* — «Российское освободительное национальное движение» (или РНСД — «Российское национал-социалистическое движение»). Г. Иванов употребляет это слово не как аббревиатуру, а как имя собственное (или даже нарицательное), отчего для привыкшего к французскому языку слуху парижских эмигрантов слово приобретает созвучие с французским *gond* — круг. Отвращение Г. Иванова к фашизму очевидно, причем особенно неприятно вызывают у него «русские наци».

⁸ *Хинчук Лев Михайлович* (1868—1944) — в 1930—1934 гг. полпред СССР в Германии.

⁹ *Сао-Паоло* — т. е. Сан-Паулу (São Paulo), крупнейший город Бразилии. Ни ординарец Авалова, ни сам Авалов, очевидно, не знают правильного произношения.

¹⁰ ... *Союзники, которых мы спасли на Марне...* — Победе англо-французских войск в битве на Марне в сентябре 1914 г. способствовало наступление русских войск в Восточной Пруссии.

¹¹ *Фош Фердинанд* (1851—1929) — французский командующий войсками Антанты в первую мировую войну.

¹² *Пуанкаре Раймон* (1860—1934) — в 1913—1920 гг. президент Франции.

¹³ *Ллойд-Джордж Дэвид* (1863—1945) — в 1916—1922 гг. премьер-министр Великобритании; как и Р. Пуанкаре, один из авторов Версальского договора.

¹⁴ *Гучков Александр Иванович* (1862—1936) — военный и морской министр во Временном правительстве первого состава; в марте 1917 г. убедил Николая II отречься от престола. Был деятелем партии октябристов, то есть отнюдь не «революционером» и «бомбистом».

¹⁵ «*Дикость, подлость и невежество...*» — из статьи А. С. Пушкина «Опровержение на критики» (фрагмент, опубликованный в 1884 г.).

¹⁶ «*Вампука*» («Вампука, невеста африканская, образцовая во всех отношениях опера») — опера-пародия В. Г. Эренберга (либретто М. Н. Волконского); впервые поставлена в 1909 г. Название ее стало нарицательным, синонимом шаблонной и несуразной оперной постановки.

¹⁷ *РОВС* — «Российский общевоинский союз», объединявший эмигрантов из числа военных. Организатором и председателем *РОВС* в 1924—1928 гг. был барон П. Н. Врангель (1878—1928).

¹⁸ ... *проф. И. А. Ильин* — Ильин Иван Александрович (1882—1954), русский религиозный философ. В 1922 г. был выслан из России. Жил и преподавал в Берлине, в 1934 г. уволен нацистами с запретом преподавания и публикаций. В 1938 г. переехал в Швейцарию, где и жил до самой своей смерти.

¹⁹ «*Протоколы сионских мудрецов*» — фальшивка, сфабрикованная в департаменте полиции в качестве документа, якобы подтверждающего существование «всемирного еврейского заговора».

²⁰ *Скоропадский Павел Петрович* (1873—1945) — генерал царской армии, глава украинских националистов.

²¹ ... *памятник 1871 года* — в честь победы во франко-прусской войне 1870—1871 гг. и создания Германской империи.

²² *Роденбах Жорж* (1855—1898) — бельгийский франкоязычный писатель; мировую известность принес ему роман «Мертвый Брюгге» (1897).

²³ ... *том Шпенглера...* — Вульгарно истолкованные идеи немецкого философа О. Шпенглера (1880—1936) были отчасти использованы немецким фашизмом.

²⁴ «*макабрного*» — от франц. *macabre* — мрачный.

²⁵ ... *король Альберт...* — бельгийский король (с 1909 г.) Альберт I (1875—1934). Погиб в результате несчастного случая.

Подготовка текста, примечания, публикация Евгения Витковского, Георгия Мосешвили

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Николай Карпов МАМИНО СЧАСТЬЕ

*Памяти мамы
Ольги Сергеевны Сырейщиковой*

Повесть

Это совершенно невероятно, но я помню отчетливо и тот день, когда я родился, и ту обстановку, в которой это произошло

Шел апрель 1932 года. Над городком стоял типичный сизый смоленский туман, и из окон дома были едва видны черные от влаги стволы лип, росших в палисаднике. Мама с утра почувствовала, что пора, что пришло время рожать, и сказала об этом бабушке. Возникла короткая суета: кто-то хлопотал возле мамы, кто-то побежал за лошадей к соседям, с которыми было заранее договорено, чтобы маму отвезли в ближайшую к городу деревню Козловку, к повитухе, в чьем доме и предстояло мне родиться. Минут через двадцать телега, скрипя несмазанными втулками колес, въехала во двор, развернулась с трудом и встала прямо у крыльца, чтобы маме было не так далеко идти. Ее вывели под руки бабушка и соседка, помогли устроиться в телеге на охапке сена, укрыли сверху тулупом, попросили возницу не гнать слишком быстро по устланному лиловатым булыжником шоссе, сказали «с Богом!» и остались дома ждать добрых или недобрых вестей.

Телега медленно съезжала с небольшого пригорка, на котором стоял наш дом и вдоль забора зеленела едва распустившаяся сирень. В полузабытии от накатывающих болей мама подумала, что и она сейчас напоминает полураскрывшуюся почку, готовую выпустить свежие зеленые листочки, а затем и цветок — конечно же, невиданной красоты и достоинства . . . После спуска повернули вправо и осторожно покатали по шоссе, мимо многочисленных домов местных «огородников» — они славились тем, что выращивали хорошие овощи и торговали ими на городском рынке. Наконец в тумане чуть завиднелась красная кирпичная водокачка. Телегу трясло на крупных булыжниках, тряска отдавалась болью в теле, и мама иногда не выдерживала и тихо-тихо постанывала, так, чтобы не слышал возница и не начал чего доброго гнать по такой дороге во весь опор. За водокачкой туман приподнялся, и откуда-то снизу, от лениво петлявшей реки и зеленых первой зеленью лугов, потянуло сыростью и прохладой. Мама надрывала на плечи тулуп и постаралась забыться, зная (эта дорога не раз была пройдена еще пешком, еще в девичестве), что осталось еще километра три до бревенчатого дома в еловом лесу, где ждала ее повитуха. Боли немного утихли, мама задремала и очнулась лишь от того, что тряска прекратилась. Старушка в белом платке с добрым морщинистым лицом проворно спустилась с крыльца, помогла маме войти в дом, уложила на широкую лавку.

Комната, где я появился на свет, была сумрачной. Сосновые стены от времени почернели, утратили смолисто-золотой блеск, и только пакля между бревнами выделялась более светлыми полосами. Вовсю тре-

шала растопленная печь, где грелась необходимая в таких случаях вода, на деревянном, чисто выскобленном столе горела керосиновая лампа, и пламя ее освещало в первую очередь маму и повитуху и более слабым светом — все нехитрое убранство комнаты. Вокруг дома рос густой, почти черный еловый лес. Кое-где в самых темных его местах еще белели присыпанные хвоей и кусочками коры остатки прошлогоднего снега. Среди стволов бродили пепельные хозяйские козы и, за неимением ничего другого, щипали зеленый мох. Был холодный апрель, когда я родился на свет Божий. Конечно, всего этого я помнить не мог — меня как отдельного от мамы человека еще не было, но мне так подробно обо всем этом потом рассказывали, что я помню все до сих пор, как будто сам видел.

Мне хочется, однако, пробраться глубже — обнаружить и мысленно воскресить своих предков, но единственное, что могу добыть из колодца памяти, — это отрывочные сведения о маме, и не только потому, что она ближе остальных ко мне чисто хронологически, а скорее всего из-за души ее, которую ощущаю в себе все больше и больше по мере того, как приближаюсь к ее возрасту — когда она слишком рано, всего в шестьдесят четыре года, покинула землю.

Родилась она за три года до начала двадцатого века, и о ее детстве я почти ничего не знаю. Остались только старинные, но хорошо сохранившиеся фотографии, всего две. Вот на первой из них она — трехлетняя девочка — сидит на руках у неведомого мне деда (мы разминувшись с ним в жизни более чем на десять лет) и ничто в ее лице мне еще не напоминает маму. На другой фотографии она уже девочка тринадцати-четырнадцати лет, и лицо ее знакомо мне — это лицо моей мамы: ясные глаза, чистый лоб, полные губы. Одета в клетчатое платье, выющиеся волосы перехвачены лентой, чтобы не падали на лоб. А рядом с ней — мои будущие дяди и тети. Мне известно, что это была большая семья: отец, мать, десять детей, сестра отца. Жили на одну учительскую зарплату, нанимали также няньку и кухарку и содержали в порядке дом. Не роскошествовали — младшие постоянно донашивали одежду старших. Не гнушались и посылками со старой одеждой, которую им присылали более богатые родственники из Москвы, в частности, двоюродный брат деда — известный русский ботаник. Эта девочка, моя будущая мама, уже училась в гимназии и, вероятно, задумывалась о будущей жизни... Из ее рассказов я знаю, что было в то время, когда делалась эта фотография, и что было потом. Гимназию мама окончила с отличием и с правом преподавания математики и географии — предметов, которые она в гимназии любила. А не любила Закон Божий (как потом всю жизнь до смерти терпеть не могла различные обязательные семинары и кружки по изучению истории ВКП(б)). С детства ее привлекали растения, и многие деревья и кустарники в нашем саду были высажены и выхожены ею. Так же охотно помогала она своему отцу вести наблюдения на метеостанции, которую он оборудовал за свой счет, силами своей семьи обслуживал и результаты отсылал в Петербург, в геофизическую обсерваторию. Мама хотела продолжать образование и стать агрономом. Для этого она поступила на высшие сельскохозяйственные голицынские курсы и с радостью и удовольствием проучилась там год. Но жизнь вынудила ее прервать учебу: в семнадцатом году внезапно умер ее отец, мой дед, и она осталась старшей в семье, а средств для существования — никаких, особенно если учесть время, в которое это произошло. Она вернулась на родину и устроилась учительницей, чтобы хоть как-то прокормить самых маленьких. А тех, кто повзрослее, пришлось отдать пастухами к зажиточным крестьянам в окрестные деревни. К тому же в школу их не принимали, потому что какой-то грамотей из новой власти, увидев фотографию деда в мундире (мундиры в царской России носили и учителя), решил, что дед то ли

белый генерал, то ли другой какой-то важный чин из «бывших». В довершение всего в городском архиве обнаружили копию купчей, по которой дед приобрел, видимо, с расчетом на будущее, земельный участок. Этого было достаточно, чтобы объявить его помещиком — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так и остались почти все мои дядья и тетки без образования, а если и получили его, то потом, когда, оперившись чуть-чуть, разлетелись из родительского гнезда.

А гнездо (я его еще застал и провел в нем детские годы) было добротным и красивым. На кирпичном фундаменте стоял большой бревенчатый дом, покрытый железной крашеной крышей. В доме — четыре просторные комнаты, кухня, несколько чуланов, погреб и обширный пыльный чердак. На чердаке была еще встроенная под крышу крохотная комнатка с балконом, с которого в ясные ночи мой дедушка со старшекласниками-гимназистами наблюдал в телескоп движение малых планет и вычислял их орбиты.

К дому от шоссе вела некрутая дорога, по ней можно было проехать на телеге к высоким деревянным воротам и калитке слева. Перед фасадом располагался огороженный с трех сторон просторный палисадник, в который выходили три больших окна. Параллельно шоссе, рядом с забором, высились четыре огромные липы, а между ними ютился крыжовник. Вдоль забора, примыкавшего к дороге, кустилась густая сирень, а в центре палисадника, за липами, была просто зеленая лужайка. Ближе к дому росло несколько сливовых деревьев, дававших желтые сочные плоды, и огромный куст жасмина. На клумбах под окнами цвели пионы, душистый табак и колокольчики. У водостока стояла бочка для дождевой воды, всегда полная на случай пожара. Во дворе за воротами был маленький огорожок — с морковью, луком, свеклой, петрушкой, сельдереем. (При жизни дедушки высаживать картошку, огурцы и помидоры нужды не было). В глубине двора размещался деревянный сарай и прилепившаяся к нему летняя уборная. Обогнув дом, можно было попасть в так называемый «задний сад» (в отличие от палисадника, который назывался «переддом»), где, ухоженные стараниями мамы, росли яблони, черешня, малина, черная смородина, а в самом конце, у забора в тени березы, клена и дуба зеленела вторая небольшая лужайка.

Дальше будет писать проще — поиски маминого счастья смогут опираться на мой собственный, пусть вначале детские, наблюдения и впечатления. А пока отрезок ее жизни с семнадцатого по тридцатый год покрыт тьмой. Трудилась она в школе (взяли ее туда, вероятно, потому, что учителей не хватало), и одного за другим ставила на ноги своих младших братьев и сестер. Едва почувяв силу и понимая, что здесь, в маленьком городке, где они слывят перед властями детьми «помещика», им ждть нечего, они устремлялись в Москву — раствориться в многолюдстве и найти себе место под солнцем. К тридцатому году в доме, кроме бабушки, остались моя мама и ее самая младшая сестра, перенесшая тяжелую болезнь с трепанацией черепа и поэтому неспособная передвигаться в одиночку. Жили по-прежнему очень бедно, хотя и не так, как в первые годы после смерти деда. Стала работать и бабушка — в каком году, не знаю, но думаю, что сразу после того, как домашняя метеостанция деда была объявлена национализированной и включена в государственную сеть метеостанций. Какое-то время бабушка с мамой продолжали вести наблюдения бесплатно — просто чтобы не прервался цикл наблюдений, а потом был определен штат метеостанции, бабушку назначили начальницей и дали ей в ученики трех молоденьких девушек.

Поскольку дом опустел, бабушка и мама стали искать квартирантов, надеясь хоть немного, но увеличить скудный доход семьи. Одним из первых квартирантов стал мой будущий отец. Он был инженером-путей-

цем и приехал в наш город в длительную командировку от Наркомата путей сообщения. Здесь уж я сбиться не могу — это произошло летом тридцатого года, потому что у меня до сих пор сохранились две серебряные чайные ложечки с выгравированными инициалами отца и мамы и с датой маминого рождения — двадцать четвертого июля. Надо думать, познакомились они раньше, и какое-то время понадобилось на то, чтобы мама полюбила его. Отец был на целых шестнадцать лет старше мамы, и она сама мне рассказывала, что он покорила ее сердце прекрасной игрой на гитаре и пением обворожительных украинских песен. Когда они встретились, он скрыл от нее, что женат и что у него пятеро детей...

Так началось мамино счастье, которого она ждала до тридцати трех лет, отказывая всем претендентам на ее руку и сердце, — об этом мне рассказывала бабушка.

Спали они с отцом в летнее время в комнате на чердаке, на огромном деревянном ларе, в котором лежали книги деда по астрономии и метеорологии. Стены комнатки и пол были сделаны из толстых, гладко оструганных сосновых досок и не потеряли со временем желтоватого солнечного оттенка, отчего казалось, будто свет исходит из стен и пола, а не только из окна, выходящего на крохотный балкончик. Там, в этой комнатке, в июльскую ночь тридцать первого года, может быть, даже в мамин день рождения, и затеплилась незаконно, без росписи в ЗАГСе, моя жизнь...

Роды прошли у мамы благополучно, и через два дня она, на той же телеге и с тем же возницей-соседом, вернулась в родной дом. Отца уже не было в нашем городе, и я не знаю точно, когда он впервые увидел меня.

Перед Новым годом я заболел воспалением легких — болезнью, по тем временам нешуточной. Молоденькие наблюдательницы после работы на метеостанции, находившейся все еще при нашем доме, прямо с мороза вбегали в комнату, где стояла моя кроватка, и норовили взять меня на руки из моего теплого гнездышка. Так, в клубах холодного воздуха, врывавшегося в комнату вслед за девушками, я и простудился. Спас меня наш знакомый доктор Иван Иванович, который приходил ко мне каждый день и скрупулезно следил за ходом болезни и лечением.

А вот уже и первое воспоминание, а не пересказ того, чего я при всем желании видеть и оценить не мог. Густые кусты сирени в передо-ме, и под ними, в душном аромате цветов, сидим мы вдвоем с соседской девочкой Ирой, моей сверстницей, и мне хочется узнать, чем она, девочка, отличается от меня, и я разглядываю ее колени, ноги выше колен и прошу снять трусики и показать, что там, под ними. Она не соглашается, сдвигает колени, а я продолжаю ее уговаривать. И тут приходит мама и все слышит. Она сердито говорит мне, что это нехорошо, берет за руку и уводит в дом. Было мне тогда четыре года...

В этот же год, но уже осенью, вероятно, на октябрьские праздники, я впервые осознанно увидел своего отца. Облик его тогдашний помню смутно: высокий, с усами и бородкой клинышком, облысевший, одет в железнодорожный форменный костюм. Помню, как он водил меня за руку в парикмахерскую постричь и сам брился там, а я его довольно долго ждал. А после мы втроем сидели на лавочке под окнами, он играл на гитаре и они с мамой вместе пели песню «Светит месяц». С тех пор эта песня не оставляет меня равнодушным. Я слушаю ее, вспоминая родной дом, отца и маму на скамейке, и на глаза у меня непроизвольно навертываются слезы. Может быть, потому что чувствую: то был редкий миг маминого счастья — нечастого и омраченного нелепостью ее положения, говоря по-современному, матери-одиночки. В то время она, скорее всего, уже знала, что отец женат и что у него много детей, и если и теплилась в ней надежда на нашу общую совместную

жизнь, то очень слабая. Но она все-таки была, эта надежда, и между краткими, редкими встречами они переписывались, и мама всю жизнь хранила его письма.

Следующий приезд отца, в мае тридцать седьмого, помню более развернуто и ярко. Вовсю светит солнце, грязь на дорогах уже высохла, и мы втроем: отец, я и мама, идем на базар. Спускаемся, держась за руки (они держат меня с двух сторон, а я как бы связываю их воедино), к шоссе, переходим его и оказываемся на узенькой кривой улочке. Навстречу нам выбегает из маленького домика местный безобидный сумасшедший Лейба, снимает штаны, под которыми нет трусов, и кричит: «Дашь копейку — надену штаны!» Отец дает ему копейку, и Лейба, довольный, кладет ее в рот, надевает штаны и смотрит уже за наши спины — нет ли там кого-нибудь еще. Некоторое время идем по той же улочке, и я разглядываю низенькие дома с маленькими окнами, где живут портные, сапожники, бывшие мелкие торговцы, а потом улица круто поворачивает влево, вверх, на возвышение, откуда хорошо видна Литовская гора — место, где стоял когда-то замок литовских князей, а у ее подножья — просторная, мощенная булыжником базарная площадь. Мы останавливаемся и смотрим на пестроту рынка, видим торговые ряды, телеги, лошадей, коров и коз. Потом спускаемся вниз, переходим по деревянному мосту маленькую чистую речку Глазмойку и окунаемся в многоголосую толчею базара. Отец говорит маме: «Ну, ты иди, покупай, что нужно, а мы будем ждать тебя у моста...» При этом он подмигивает мне таинственно, так, чтобы мама не видела. Мама уходит, полагая, видимо, что не мужское это дело торговаться на базаре, и мы, немного выждав, направляемся туда, где стоят возы. Отец ведет меня уверенно, как будто точно знает, что ему нужно здесь и где это найти. Мы подходим к возу, на котором в неудобных позах лежат большие связанные гуси белоснежного цвета. Отец приценивается и начинает выбирать. Делает он это явно со знанием дела (ведь он украинец, а на Украине знают толк в гусях) и в конце концов останавливается на одном, расплачивается, и мы, объединенные содеянным тайком от мамы, идем к мосту. Гусь только издали казался белоснежным, а на самом деле он весь грязный: на крыльях, перевязанных пеньковой веревкой, пятна навоза и клочки сена, и отец несет его почти на вытянутых руках, боясь испачкать свой мундир. Мы подходим к мосту, спускаемся вниз, к реке, и отец заговорщически сообщает мне: «Сейчас мы его искупаем!» Он велит мне крепко держать гуся, и я обнимаю его и прижимаю к себе так крепко, что гусь вскрикивает. Отец улыбаясь и осторожно развязывает веревку, освобождая затекшие крылья и лапы. Затем рассучивает каждую веревку на две, связывает все четыре отрезка вместе, пробует на прочность, убеждается, что веревка выдержит, и только тогда привязывает один конец к гусяной лапе, а другой наматывает два раза на свою ладонь и говорит мне: «Ну, теперь отпусти его в воду...» Гусь так обрадовался, что сразу громко загоготал и принялся обмывать себя. Он садился на воду, хлопал крыльями, поднимая серебристые чистые брызги, вытаскивал клювом из воды сухие травинки и кусочки навоза и все это время гоготал от удовольствия. Привлеченные редким зрелищем, на мосту собрались зеваки, и мама, возвращаясь с покупками, не сразу поняла, что это мы с гусем явились причиной такого скопления народа. Она встала у перил и смеялась вместе со всеми до конца представления. Наконец гусь стал совершенно белым и чистым, и отец вытащил его на берег, дал отряхнуться, взял на руки и, бережно прижимая к себе, понес к мосту. Мама всю дорогу смеялась и говорила: «Ну что это вы надумали, теперь весь город только и будет судачить о нас...» Через день гуся не стало, и мне сказали, что он улетел вместе с другими гусями в дальние страны... .. Спустя некоторое время я понял, что его сварили и съели, а я и не

заметил — чувствовал только, каким дивно вкусным было мясо. Отец вскоре уехал, и я не видел его целых два года и слышал о нем лишь от мамы, когда она получала письма.

Рос я под присмотром мамы и бабушки. Мама с утра уходила в школу, а бабушка, чтобы не оставлять меня одного, брала с собой на метеостанцию, переехавшую к тому времени в специально выстроенный домик с огороженной площадкой, на которой стояли белые ребристые метеобудки. Я смотрел, как бабушка строго по часам с трудом взбирается на лесенку, открывает дверцу и снимает показания приборов, а потом, уже в комнате, заполняет какие-то тетради, похожие на амбарные книги. Чтоб я не скучал, она давала мне стеклянный шар от сломанного гелиографа, и я играл им: катал по зеленой траве или смотрел через него на окрестности, удивляясь какому-то фантастическому, искривленному, нездешнему миру. По вечерам мы встречали из стада наших коз: Зойку — старую козу, и Быньку — маленькую, еще без рожек козочку. Для них у бабушки был всегда в запасе кусочек черного сухаря. Зойка, если мы ее не ожидали у калитки, вставала на задние ноги, передние клала на забор и мемекала до тех пор, пока бабушка не выходила и не давала ей сухарь. Бынька, увидев меня, кидалась навстречу и начинала со мной играть — бодаться своим безрогим лбом. Кончалось бабушкино дежурство, мы шли домой, и за нами, как ручные собачонки, бежали козы. Дома бабушка доила Зойку и заставляла меня пить парное козье молоко — она боялась, что после перенесенного в детстве воспаления легких у меня может быть туберкулез, а козье молоко, как известно, лучшее средство для укрепления легких. Иногда козу доила мама, но коза больше привыкла к бабушке и сильно брыкалась, а однажды даже опрокинула ведро и пролила весь удой на землю.

Как и все дети в этом возрасте, я задавал маме и бабушке много вопросов, и они, как могли, старались отвечать. Но один раз я поставил маму в тупик. Я спросил: «Мама, а что такое выблядок?» И тут же, не переводя дыхания: «А что такое хахаль?» Мама помолчала немного, потом ее полные губы задрожали, и она заплакала. Своими теплыми ладонями она обхватила мою голову, прижала ее к себе, и так мы стояли долго, не шевелясь, словно произошло что-то страшное, касавшееся нас обоих. Наконец она вытерла слезы, поцеловала меня в макушку и сказала: «Это нехорошие слова, забудь их», а потом, немного подумав, спросила: «А кто тебе говорил эти слова?» И я ответил, что так меня и моего папу называют ее младшая сестра, моя тетя Серафима. Смысл этих слов мама мне не объяснила, и я понял его много позже.

Одно время, пока я окончательно не забастовал, мама водила меня в детский сад. Там было шумно и отвратительно, и я каждый раз шел туда со страхом, с ожиданием обиды от шустрых, наглых сверстников. Однажды, когда мама вела меня из детсада, на дорожке вдруг блеснули часы. Я хотел их поднять, но только нагнулся — часы ускользнули под низенький забор, и оттуда раздался детский злой хохот. Я остолбенело смотрел туда, на кучку веселившихся мальчишек, и у меня на глазах выступили слезы обиды. Сквозь эти слезы я и увидел впервые ее — девочку в синем с белыми горошками платице, белокурую и синеглазую. Она сочувственно смотрела на меня, и было ясно, что она со мной, а не с этими злыми мальчишками. С того дня, проходя мимо ее дома, я всегда искал глазами эту девочку и радовался, если находил. А однажды набрался смелости и, как ребенок просит дорогую игрушку, попросил маму уговорить девочку пойти к нам, чтобы я мог поиграть с ней в нашем саду. Мама согласилась, и вот в один из вечеров — фея со мной, в саду, и предлагает мне поиграть то в одну, то в другую игру, а я не умею, не могу, я словно окаменел, и только смотрю и смотрю на нее. Больше она к нам не приходила. Я не знаю, что

подумала мама о моей странной просьбе, — может быть, увидела в ней что-то слишком раннее, неприличное, но отказать мне не могла.

Еще в тридцать шестом году мама поступила учиться на биолого-химический факультет областного пединститута. Поехать в Москву и учиться, как она мечтала, на агронома, не получалось из-за меня, а областной центр рядом — всего в ста километрах, и специальность все-таки наполовину биология. Теперь вечерами она занималась — готовилась к сессиям, писала контрольные работы. Два раза в год: в зимние каникулы и летом уезжала сдавать экзамены и зачеты. В доме появились толстые книги, название одной из которых я и сейчас помню: «Неорганическая химия». Учеба давалась ей трудно, но мама была усидчива и одолевала курс за курсом.

Переписку мамы с отцом, вернее, его письма к ней, я ни разу не читал и не знаю точно, что он ей писал, но по тому, как мама повеселела и чаще стала говорить со мной об отце, догадался, что в их отношениях что-то изменилось к лучшему. И действительно, *к тридцать девятому году оказалось, что отец живет уже один и приглашает нас с мамой летом к нему приехать. Мама собиралась с радостью и ни от кого этого не скрывала. Она даже стала выкраивать время, чтобы поиграть на балалайке и спеть любимый «Светит месяц», и я заразился ее радостным возбуждением и тоже стал ждать — когда же мы отправимся... Но вот наконец дорога позади, мы в Кунцево, недалеко от Москвы, где отцу дали служебную комнату в многокомнатном деревянном доме. Комнатка была еще меньше нашей чердачной, и я помню, что мне приходилось сидеть не двигаясь, пока мама вместе с отцом готовила тут же еду на керосинке. Было так тесно, что вторая кровать не помещалась, и вряд ли мы смогли бы здесь жить втроем. Я не помню, остались ли мы тогда ночевать у отца, — скорее всего нет, и ночевали, вероятно, у маминой сестры, у которой на троих было две комнаты (неслыханная тогда роскошь!). А на другой день у меня поднялась температура до сорока градусов и меня с диагнозом «дифтерит» отвезли в одну из московских больниц. Я пролежал там целый месяц и видел отца и маму из окна третьего этажа только в те дни, когда они меня навещали и приносили передачи. Внутрь их не пускали. После выписки мы пробыли в Москве еще недели две, но жили с мамой на даче у ее сестры. Дача была недостроенной — не настланы полы, не застеклены окна — но стояла теплая погода, мы как-то устроивались и считали даже, что все складывается хорошо. По воскресеньям — всего два раза — приезжал отец и привозил пирожные и конфеты. Мама преобразилась, по ней было видно, что месяц этот, несмотря на мою болезнь, оказался для нее счастливым. И я с этого времени стал представлять себе родителей не поодиночке, а вместе, как они стояли, взявшись за руки, под окнами больницы, где я лежал.

Ездили мы с мамой и к тете Зине, бабушкиной сестре, в Лосино-островскую. Там мне больше всего запомнилась освещенная солнцем терраса с плетеными стульями и молодая тогда двоюродная сестра мамы — Галя, красавица и начинающая художница. Но главное, что осталось в памяти от того времени — это перемена в маме. Она сияла, она улыбалась, и от нее тонко пахло дорогими духами, подаренными отцом. Отчего такая перемена — она долго не говорила и только в конце сорокового года, уже дома, где я ходил в первый класс, сказала мне и бабушке, что отцу скоро дадут большую по тем временам комнату в Москве и после того, как мама сдаст государственные экзамены, мы поедем к нему навсегда...

Дома у нас висел черный картонный репродуктор, и я уже стал прислушиваться к тому, что он говорит. А говорил он про наши победы над Польшей, над белофиннами, про договор о ненападении и чуть ли не дружбе с фашистской Германией. Помню, что мама восприняла

этот договор с облегчением, но жили мы, в общем, не этими известиями, а своей малой жизнью, своей надеждой и ожиданием, что наша разрозненная семья скоро, совсем скоро воссоединится навсегда, и это было для нас важнее всего. Весной сорок первого мама усиленно готовилась к государственным экзаменам, а я, придя из школы и сделав уроки, играл со своими младшими двоюродными сестренками Галей и Лизой — дочерьми тети Серафимы. Нам было хорошо втроем — они любили меня, я любил их, и мы почти никогда не ссорились. Они обе — Галя темноволосая, а Лиза рыжеватая — казались мне очень красивыми. Игры были самые разные, но чаще всего — прятки, благо, прятаться было где. Помню, как мы, прежде чем начать игру, долго договаривались, где можно, а где нельзя прятаться. Но иногда мне хотелось одиночества. Я забирался в глухой угол заднего сада или под кусты сирени в переддоме и мечтал о необыкновенных подвигах, и все эти подвиги совершались во имя одной девочки — той самой... В мечтах я был совсем иным — не увальнем, плохо бегающим и прыгающим, а сильным и ловким человеком, которому подвластно все. Мама замечала мою грусть и однажды, почувствовав материнским сердцем истинную причину, спросила: «Может быть, мне опять позвать к тебе Юлю поиграть?» Но мне этого уже не хотелось. Я помнил стыд первой встречи и не хотел повторения этого позора. Да и зачем, если в воображении я могу пережить все, что моей душе угодно, — даже совсем невероятное: будто Юля меня любит.

Любовь эта была сравнима с золотистым сиянием наших лип, когда они зацветали и наполняли весь переддом неповторимым, самым любимым запахом. С тех отдаленных пор, когда я вспоминаю город моего детства, он мне кажется городом, над которым вечно стоит запах цветущих лип, в небе струится нежно-золотистое сияние, и в этом сиянии идет ко мне синеглазая девочка Юля и протягивает свои тонкие белые руки...

В мае я окончил первый класс на «отлично». Только с чистописанием у меня были трудности, но я их одолел с помощью мамы, которая, несмотря на большую занятость, помогала мне аккуратно выводить буквы, и ее старания увенчались моим успехом. Сама она засиживалась допоздна, и я, уже лежа в своей кровати, видел в круге света от керосиновой лампы ее голову, прилежно склонившуюся к учебникам и тетрадам. Ее пышные, выщипанные волосы светились, и с этим дорогим видением я засыпал. Письма от отца приходили часто, и там впервые упоминалось и обо мне — он спрашивал, как я учусь, как и с кем играю, здоров ли — словом, он готовился принять меня, теперь уж навсегда, а не на время, как законного сына. Когда у мамы выдавалась свободная минутка, они с бабушкой обсуждали, какие вещи мама возьмет с собой в поезд, а какие отправит медленной скоростью, когда поедет в Москву навсегда. Бабушка уговаривала маму взять рояль, чтобы потом учить меня музыке, но мама сомневалась — она говорила, что комната у отца маленькая, всего семнадцать квадратных метров, да и вообще неизвестно, можно ли рояль отправить малой скоростью. Но бабушка сходилла на железнодорожную станцию и узнала, что рояль можно перевезти, только нужно упаковать его в большой деревянный ящик, и мама согласилась. Но этот, окончательный отъезд намечался на август, чтобы часть лета я провел здесь, на свежем воздухе, и поел своих, не покупных ягод и фруктов из нашего сада. А сейчас предстоял мамин отъезд на госэкзамены в областной центр.

Она уехала десятого июня. Было солнечное утро, в нашем саду пели птицы и начинали зацветать липы. На пионах набухли крепкие, еще зеленые бутоны, цвел жасмин, отцветала сирень. Мы с бабушкой проводили маму только до шоссе, потому что вещей у нее было немного: коричневый потрепанный портфельчик с конспектами и учебниками и

саквояж с одеждой на каких-то две недели. На ней был светло-серый полотняный свежий костюм, бледно-лиловая шелковая блузка, белая шляпка и белые парусиновые туфли. Лицо — взволнованное и одновременно полное ожиданием близкого счастья — окончания учебы в институте и, главное, предстоящего затем отъезда в Москву к человеку, которого она любила, от которого родила сына и ждала долгой согласной и радостной жизни. Она не чувствовала себя виноватой перед прежней его семьей — ведь она, когда узнала любовь, не ведала об этой семье, и душа ее была чиста и спокойна.

Она шла по шоссе, удаляясь от нас с бабушкой, изредка останавливалась, оглядывалась и махала нам рукой, и так до тех пор, пока не свернула налево, на московское шоссе, ведущее к железнодорожному вокзалу. Я все это время, не отрываясь и не отвлекаясь ни на что, смотрел ей вслед, словно желая запомнить каждый миг затяжного прощания.

Я остался один с бабушкой. Семья Серафимы: ее муж, она сама и две мои двоюродные сестры Галя и Лиза уехали в Западную Белоруссию, отнятую у Польши, осваивать новый край, и мне не с кем было играть. Я сидел в саду и мечтал, но к мечтам старым прибавилась мечта новая — о будущей жизни в Москве с отцом и мамой. Больше всего мне нравилось, что я смогу часто ходить в зоопарк, где был всего один раз, в тот давнишний неудачный приезд, когда я месяц пролежал в больнице.

И тут — «Вставай, страна огромная!» — началась Великая Отечественная война. Началась неожиданно, по крайней мере для нас, веривших, что ее в ближайшее время не будет... Не ждала войны и мама. Она уже успела сдать три государственных экзамена, оставался еще один. Хотела бросить все и ехать тотчас к нам, но всех студентов собрали в актовый зал и уверенно объявили, что «враг будет разбит, победа будет за нами» и предложили, точнее, приказали сдавать экзамены. И лишь мужчин-студентов как военнообязанных отпустили. Пока мама готовилась и сдавала последний экзамен, обстановка на фронте и в стране стала совсем тревожной. Фронт быстро катился на восток, в тылу появлялись немецкие разведчики-парашютисты и целые парашютные десанты, нарастала паника. Мама, получив в спешке диплом, хотела выехать к нам, но поезда были отменены. Тогда она решилась на отчаянный шаг — пойти пешком, но военный патруль не выпустил ее из областного центра, так как шоссе было перерезано крупным немецким десантом. Студентов, вернее, теперь уже выпускников подготовили к эвакуации неизвестно куда. В отчаянии мама дала нам телеграмму: «Эвакуируйтесь!» и больше вестей от нее не было. Эвакуироваться мы не успели и остались с бабушкой в оккупации, а затем были угнаны отступавшими немцами на принудительные работы в Германию. Так мы на целых четыре года пропали из жизни мамы...

Кружным путем, мимо Москвы, где был и ждал ее тогда любимый и любящий человек, маму привезли в Пензу, а оттуда направили в большое село Волчьих Пустынь преподавать химию и биологию в местную школу. Ее каким-то чудом разыскал мой двоюродный брат Слава и прибил к ней, и они вместе пережили там лихие годы. Господи! Ведь мама мне рассказывала об этом времени, но как мало я запомнил! Как невнимателен, видимо, был тогда, если могу воскресить в памяти только то, что жили они впроголодь и, чтобы как-то поддержать душу в теле, Слава ловил сеткой воробьев и мама варила воробьиный суп. Знаю еще, что мама ездила на телеге, совсем не умея управлять лошадью, за дровами для школы. Однажды она приподднилась и в крошечной тьме зимней ночи ее чуть не разорвали волки. Спаслась она чудом: разожгла на дороге костер из бересты, которая нашлась в саях, и стала понукать лошадь. Но та и сама понимала, что рядом вол-

ки, и из последних сил понеслась, таща груженные дровами сани, а мама, задыхаясь и заливаясь слезами, бежала рядом. Волки на огонь не пошли, а двинулись по целине вдоль дороги и, увязая по брюхо в глубоком снегу, успеть за лошадью не смогли. У околицы маму встречал племянник, она обняла его как сына, и выплакала все, что ей пришлось пережить в этот жуткий вечер.

В сорок третьем году маму ждал удар. До этого она еще на что-то надеялась, думала, что мы с бабушкой все-таки выживем, но тут прочла в газетах, что наш город весь сожжен отступавшими немцами, а жители либо расстреляны, либо угнаны в Германию. Она стала писать туда письма, вспоминая адреса даже случайных знакомых, но ответа долго не было. Наконец, уже в сорок четвертом, пришел ответ от нашей соседки тети Вари, которая писала, что нас с бабушкой угнали в Германию, а дом наш сожгли. К этой беде на маму обрушилась еще и другая — отец перестал ей писать. Он узнал от нее, что мы с бабушкой затерялись в самом пекле войны, и скорее всего не по злобе, а просто в силу житейской необходимости поставил крест на нас с мамой и стал думать, а может быть, и не только думать, об иной судьбе... И хотя о том, что в его жизни появилась другая женщина, мама точно не знала, но сердцем это почувствовала. В том же сорок четвертом уехал от нее Слава — искать свою счастливую долю. Определился он в какое-то морское училище и первое время писал ей, а потом забросил — затянула новая жизнь. Мама осталась совсем одна, и продолжалось это до самого конца войны.

В мае сорок пятого, а может быть, и чуть раньше, потому что исход войны уже был ясен, страна пришла в движение: стали возвращаться на свои пепелища эвакуированные, чтобы попробовать начать заново, смирившись с потерями близких и крова. И она решила все же уехать из Волчьей Пустыни поближе к Москве, где жили братья и сестры с семьями, а в Лосинке под Москвой оставались две ее тетки и двоюродная сестра. В Москву маму не пустили, она осела в Лосинке, да и то на птичьих правах. С большим трудом устроилась работать в железнодорожное училище, потому что там давали форму (а у нее ничего, кроме ватника и одного платья, не было) и продовольственные карточки не самой худшей категории. Комнату мама снимала у богатой художницы Мильды Ивановны и за это была ей прислугой: убирала в доме, топила печку, стирала, ходила в магазин и на рынок. Лицо ее осунулось, покрылось морщинами, во вьющихся волосах появилась седина, а руки от грязной работы потрескались и кровоточили. Ночами, несмотря на усталость от работы в училище и по дому, она долго не могла уснуть и молила Бога, чтобы мы с бабушкой нашлись. Ее надежды каждый день убивали газеты, где обильно печатались материалы о гитлеровских лагерях смерти, крематориях и газовых камерах.

Но мы все-таки нашлись! Мы выжили в оккупации и в фашистской неволе и, худые, оборванные, объявились в родном городе поздним хмурым вечером в конце октября сорок пятого года. Увидев, что дом сожжен, мы попросились к соседям. Нам долго не открывали, не верили, что мы — это мы, и через закрытую дверь расспрашивали бабушку о таких вещах, которые могла знать только она. Бабушка назвала имена всех своих детей и детей соседки, рассказала несколько семейных историй; и только тогда нас впустили в скудное тепло послевоенного, чудом уцелевшего дома, где обитало много всякого люда, в том числе и странно попавшая сюда семья эвакуированных ленинградцев. Нас накормили картошкой и уложили на полу возле печки. А на следующий день моя старенькая бабушка начала хлопотать. Она, с присущей ей аккуратностью, сохранила все адреса своих детей и даже адрес моего отца (он был нам известен еще весной сорок первого), заняла у соседей денег и отправила телеграммы по всем адресам. Че-

рез неделю посыпались денежные переводы, позволившие нам покупать продукты на рынке, и письма. Чуть позже пришло письмо от мамы — она узнала о чуде нашего спасения едва ли не последней из всех родственников, потому что ей бабушка не смогла телеграфировать, не имея адреса... Из писем стало известно, что все наши живы и теперь думают только об одном — как перевезти нас с бабушкой в Москву. А письмо от мамы невозможно было читать без слез — это было письмо человека, для которого отныне жизнь начинается заново... Но какая жизнь?..

Вывезти нас в то время было невероятно трудно. Москва — закрыта, в нее никого не пускали и тем более не прописывали. За сто километров до Москвы в каждом поезде, идущем туда, проверяли не только проездные билеты, но и документы, и чтобы попасть в столицу, требовался либо паспорт с московской пропиской, либо вызов к самому близкому родственнику. Меня мог вызвать только отец, так как у мамы не было ни жилплощади, ни постоянной прописки даже в Лосинке. Мама поехать к отцу не могла, и к нему нагрянули воинственно настроенные тетки, мамыны сестры. Отец встал у двери в свою комнату, загораживая проход, и весь разговор состоялся в коридоре. Отец согласился дать мне вызов, и через несколько дней вручил его одной из теток, а та передала маме.

И в конце ноября, впервые после четырех с лишним лет разлуки, я увидел маму. Она была измученной и худой. На ней висела, болталась черная железнодорожная шинель, а из-под платка выглядывал берет, тоже черного цвета, с медным железнодорожным значком. Она обняла меня, прижала к себе и долго не отпускала. И все плакала, плакала, плакала, не вытирая слез. Потом она поговорила с бабушкой, с соседкой, но во время разговора все время взглядывала на меня — здесь ли я, действительно ли я, длинный худой подросток, ее сын, жив и невредим. Потом она увела меня в укромный уголок, развернула какой-то сверток, подала мне что-то и сбивчиво, словно оправдываясь, стала объяснять: «Мне нечего было тебе привезти, а дядя Вася убил на охоте лису, и я выпросила ее мясо, и сварила для тебя, ... ты ешь, ешь, это ничего, что лиса, — все-таки мясо, а тебе надо поправляться...» И я ел это жесткое, темное, дикое мясо, и оно казалось мне таким же вкусным, как мясо того гуся, которого мы с отцом когда-то купали в Глазгомолке, а мама смотрела на нас с моста.

На бабушку вызова в Москву получить никому из ее детей не удалось. Везде отвечали: мы еще проверим, чем она занималась в оккупации, в Германии, а тогда посмотрим. Поэтому мы с мамой уехали вдвоем. В областном центре пришлось сделать пересадку. В перерыве между поездами мы с мамой ходили по руинам и искали архив, где ей нужно было получить какие-то справки. Архива не нашли и к вечеру, уставшие и голодные, сели в поезд на Москву. Мама ни на шаг не отпускала меня от себя — боялась, что я потеряюсь. Даже когда я ходил в туалет, она шла за мной и ждала у двери. Как доехали, совсем не помню, где поселился в первый день — тоже. Помню только — это первое мое московское впечатление — как вселили меня к отцу. Повезли меня две тетки, одного, без мамы, с маленьким узелком моих личных вещей. Отец открыл дверь, впустил всех в комнату, обнял меня и поцеловал. Но видно было, что делает он это не то чтобы через силу, а без подлинного чувства и желания. Я ему не судья — он был легкий и добрый, в сущности, человек, но жизнь несла его, а править суденышком судьбы он не научился, да и не мог научиться в силу своего характера. Тетки, удовлетворенные на первых порах, ушли, и в доме появилась Катька (так вся наша родня называла потом новую отцовскую избранницу) и ее дочка. Отец познакомил нас, и мне пришлось пожать руку той, из-за которой мама моя была несчастной, отвергнутой и, скорее

всего, одиноко плакала в этот вечер... Как ни мал и несмышлен был я тогда, но каким-то звериным чутьем понял, чего хочет отец, — он хочет жить здесь, в этой комнате с Катькой, ее дочкой и со мной, а маму вышвырнуть из нашей, точнее, из моей жизни, как нечто неодоушевленное и необязательное. Душа моя вмиг отвердела до состояния крепкого камня, и весь вечер, за ужином и после него, я промолчал, лишь иногда давая односложные ответы на какие-то вопросы. Помню, отец говорил, что я должен буду хорошо относиться к Катьке, а с дочкой ее не то что дружить, а быть ей братом, но все это не проникало в меня, а отскакивало, как неприемлемое, невероятное, чудовищное. Меня этому никто не учил, это было первое мое столкновение с надтреснутым миром моих родителей, и я — не знаю, к добру ли — занял твердую позицию, огородил себя и мамин мир железной стеной, где не было места смазливому личику Катьки и ее дочери... Катька, отчаявшись найти во мне отклик, замолчала и остаток вечера сидела насупившись, словно что-то обдумывая; ее дочь, и с самого начала безучастная ко всему происходящему, тоже молчала, и лишь отец, словно по инерции, пытался еще что-то говорить, что-то внушать мне, но и он вскоре смолк. Воцарилось мрачное молчание, продолжавшееся около получаса. Потом Катька резко встала из-за стола, велела дочери собираться и громко сказала: «Ну, ладно, мы с Риммой поедим домой!»

Отец постелил мне на узеньком диванчике, пожелал спокойной ночи и больше ни о чем не говорил — он все понял. Целую неделю мы жили с ним вдвоем. Он рано уходил на работу и поздно возвращался. Утром и вечером кормил меня, готовил что-то мне на обед, иногда оставлял деньги и хлебную карточку, чтобы я сходил за хлебом. Об оккупации и Германии расспрашивал меня мало и как-то словно по обязанности, словно со мной ему больше не о чем говорить. А через неделю тетки привезли маму. На нее страшно было смотреть: лицо белое, ни кровинки, некогда полные губы сжаты так плотно, будто она боялась закричать, щеки худые и уже чуточку дряблые, одежда бедная, казенная, неженская. Конечно, она внешне проигрывала молодой мордастенькой Катьке, но это была моя мама, и я бросился к ней, обнял ее и стоял некоторое время, прижавшись к ней, ощущая своим телом и душой ее бедное родное тепло. Тетки и отец молчали. Наконец одна из них, самая решительная из всех маминых сестер (бывшая замужем за работником НКВД), жестко сказала: «Она будет жить здесь как мать вашего сына, как ваша жена, и если вы попытаете противиться, я дойду до самого Кагановича!» С этими словами она повернулась, взяла за руку другую свою сестру и вышла из комнаты. Теперь-то я, уже взрослый человек, понимаю, что это был кошмар — остаться нам троим под одной крышей, есть за одним столом, несмотря ни на что говорить и обсуждать мелкие житейские дела. А тогда я думал только о еде: позавтракав, ждал обеда, а пообедав — ужина. Будь я постарше и не так изможден, я бы понял все, взял бы свою маму за руку и уговорил уехать на родину, на тепелище родного дома — чтобы вырыть там землянку, собирать по бревнышку новый дом и быть маме опорой...

Мы стали жить втроем, хотя семьей это назвать было нельзя. Отец наверняка встречался с Катькой — ведь они работали вместе — и та, скорее всего, закатывала ему истерики, а он поделаться ничего не мог и только дома выплескивал иногда свое раздражение. Однажды, когда мне долго не спалось, я услышал его металлический шепот: «Отодвинься от меня, отодвинься!» На это унижение мама пошла ради меня, ради того, чтобы у меня было сносное по тем временам жилье и питание, чтобы я рос и учился в Москве, где возможностей получить хорошее образование во много раз больше, чем на нашей бедной родине. А свою жизнь, свое счастье она принесла в жертву и только терпела, терпела,

терпела... С тех пор, как я стал взрослым, и особенно после ее смерти, я все спрашивал себя: а вознаградил ли я ее за это хоть немного, принес ли ей хоть крупицу счастья? И ответ был не всегда однозначным, но чаще всего отрицательным.

Долгое время отец оставался холоден, как сугроб, но мама делала вид, что не замечает этого и не страдает. Она хлопотала по дому, содержала нас в чистоте и сытости, насколько это возможно было в то, карточное время. Выглядеть она стала немного лучше, а тетки советовали ей наперебой, что завоевать отца можно хорошими нарядами, духами, крашеными губами. Но в душе у нее словно было навеки начертано: «Полюбите нас черненькими...», да и возможностей принарядиться — никаких. Все же в какой-то момент ей удалось достать отрез дешевой материи, и она сшила себе платье с белым отложным воротничком, в котором при случае можно было даже пойти в театр или на праздничный вечер. Но ни душиться, ни красить губы она так и не стала.

Скандалов с битьем посуды и оскорблениями у нас в семье, если это сожительство можно назвать семьей, не случалось — отец постепенно смирился с невозможностью для него начать новую жизнь с Катькой и привык к дому своему, уже в новом качестве. Он, правда, постоянно выказывал недовольство тем, как мама одевалась, пенял ей, что не умеет готовить для него настоящие украинские кушанья — борщ, галушки, вареники, и иногда в воскресенье сам шел на кухню и приглядывал за мамой, а то и становился у плиты и готовил. Но в некоторые воскресенья он пропадал на целый день — говорил, что сверхурочная работа, — и тогда мама места себе не находила, тайком от меня плакала. Она догадывалась, что он опять у Катки... Да и я тоже все понимал и старался разговорами о своих школьных делах отвлечь ее от тревожных мыслей. Она успокаивалась, переклочалась, иногда начинала вспоминать наш родной городок той поры, когда мы с радостью и надеждой готовились к совсем иному переезду в Москву. Отец возвращался отчужденный, помолодевший и был чрезмерно внимателен ко мне и маме, заводил ни с того ни с сего разговоры о нашей совместной жизни, строил планы, как ее улучшить. Но мама понимала всю фальшь этих разговоров и большей частью отмалчивалась или отвечала односложно. Отец тоже хмурился, замолкал и долго думал о чем-то своем, расположенном так далеко от нашей комнатки.

На всякие мероприятия по случаю «престольных» праздников — Первого мая, Дня сталинской конституции, Дня железнодорожников — отец ходил один, но скорее всего «один» для нас с мамой, а на самом деле с Катькой, которая по-прежнему работала с ним в одном отделе и, вероятно, лелеяла какие-то реваншистские планы. Я видел ее всего лишь раз, но заметил, что она и одета лучше мамы, и гораздо моложе, и умело подкрашена и напудрена, и пахнет хорошими духами. Взрослея и наблюдая неприукрашенную жизнь, я стал периодически возвращаться к мысли, что лучше нам с мамой было уехать в родной городок и дать отцу свободу. Пусть бы он был по-своему счастлив с этой, чужой для нас женщиной и с ее дочкой, а мы обшлись бы и без него, без его московской прописки, теплой, со всеми удобствами комнаты, без его принудительного участия в нашей судьбе. Но думала ли так же мама? Скорее всего, нет. В ней произошло душевное крушение, и она, хоть и любила отца, все свое внимание, всю свою суровую нежность разом, резко переключила на меня.

Однажды отец снизошел до нас и взял маму и меня на праздничный митинг и концерт в ЦДКЖ (Центральный дом культуры железнодорожников). Перед выходом из дома он долго оглядывал маму и меня, но ничего не говорил, потому что понимал — лучше выглядеть мы не могли, у нас ничего нарядного не было. Мама надела новое платье, но оно сидело на ней плохо, а белый воротничок вокруг шеи отдавал чем-то

старомодным. Отец попросил ее надушиться, и она надушилась, но губы красить отказалась. В течение всего вечера мне было видно, что он стыдится мамы, — в антракте он даже не сходил с ней в буфет и весь вечер как прикованный просидел на своем месте, очевидно, боясь встретить знакомых, которые видели его на подобных вечерах вместе с Катькой. Я уходил от них, бродил по фойе, даже сыграл в шахматы в сеансе одновременной игры с мастером Абрамовым и, к великой своей радости, добился ничьей. Но больше мы на вечера вместе не ходили — наверное, отцу это было невыносимо.

В сорок седьмом году, когда маме исполнилось пятьдесят лет, а отцу шестьдесят шесть, они вынужденно расписались: маме нужна была постоянная прописка — в продлении временной ей отказали. Расписались буднично, кажется, даже без свидетелей, и дома тоже праздника не устраивали. Мама, хотя и скрывала это, все же была рада запоздалой радостью. Но фамилию отца не взяла — осталась до смерти со своей девичьей.

Отец любил Украину, хорошо знал украинский, родной для него язык, любил петь украинские песни под собственный аккомпанемент на гитаре. Ему хотелось поехать на родину. Там, в Сумской области, жил и работал его младший брат, которому отец в свое время помог устроиться начальником станции «Разъезд 48-го километра». Сделать это было трудно, невероятно трудно, потому что брат во время войны оказался на оккупированной территории и сотрудничал будто бы с немцами. Отцу пришлось много похлопотать, но хлопоты увенчались успехами, и брат его зажил спокойной жизнью, прибавившись на склоне лет к вдове с двумя детьми, мальчиками двенадцати и четырнадцати лет. В сорок восьмом году брат пригласил отца вместе с мамой и мной приехать к ним в отпуск, и отец согласился. Помню, как мы тщательно собирались, готовили гостинцы и, наконец, выехали. Отец очень гордился, что у него бесплатный билет даже для проезда в мягком вагоне. Но ехали мы в купейном, с четой каких-то торговцев, поразивших нас своей обеспеченностью. Когда мы сели обедать и достали свою вареную курицу, те устали стол ветчиной, черной и красной икрой, копченой рыбой, достали бутылку дорогого коньяка и искренне пригласили нас не стесняться, отобедать вместе с ними. Отец не знал, куда деть себя от стыда, — отказывался и предлагал им курицу и мамино домашнее печенье. Это был удар по его самолюбию — ведь он всегда считал свое положение в обществе достаточно высоким, а тут эти торговцы с их, скорее всего, ворованной роскошью. К счастью, для него эта попытка скоро прекратилась — мы приехали в Сумы и вышли, чтобы пересесть на местный поезд, а чета торговцев поехала дальше, на неведомый и малодоступный для нас юг. Местного поезда ждали совсем недолго — почти сразу пересели и поехали, теперь уже медленно, останавливаясь у каждого столба, к незнакомому, но притягательному разъезду 48-го километра.

На низеньком земляном перроне, очерченном полусгнившими досками, поставленными на ребро, ждала нас вся семья папиного брата: он сам — низенький, упитанный, с закрученными усами, его жена — маленькая, сухая, востроносая женщина и двое пасынков с нахальными глазами и ртами, готовыми вот-вот заготовать. Увидев нас, вернее отца, в наглухо застегнутом китэле с полковничьими погонами, они все кинулись к подножке, чтобы помочь нам сойти, — ведь поезд останавливался здесь всего на одну минуту. Жили они тут же, в здании станции, в красном кирпичном доме. Маме с отцом отвели отдельную комнату, а я спал с мальчишками, вроде бы моими двоюродными братьями, на сеновале, в сарае. В день приезда был пир горой: сало, яйца, молоко, свежий отварной картофель и, конечно же, настоящий

украинский борщ. Видно было, что дядя не поскупился встретить как должно своего старшего брата и благодетеля.

Мама быстро подружилась с женой дяди и все дни проводила в приготовлении пищи, стирке, разговорах. Лицо ее посвежело, и отец был с ней, как никогда, ласков. Он отдался течению событий, на время забыл Катю и все, с нею связанное, и жил, как живет, беря от жизни то, что она в данный момент ему давала. Как когда-то в нашем родном городке на рынок, мы втроем ходили в ближнюю деревню покупать вишни, и отец придавал этому огромное значение: обходил много дворов, пробовал, отвергал, пока наконец не нашел то, что было нужно, и купил целых два ведра. Потом мама варила из этих вишен варенье, чтобы увезти с собой в Москву, да и так поели много и вволю. В другой раз по тропинке через поле отправились на пасеку, и там я впервые узнал, что мед можно есть столовыми ложками, заедая теплым белым хлебом и запивая свежим молоком. В этих наших походах мы, трое, казались опять семьей, дружной и нерушимой, хотя я и не держал родителей за руки, как в далеком детстве.

Но большую часть времени я проводил с пасынками дяди. Я им рассказывал про Москву, где они никогда не были, а они водили меня в балку, поросшую густым терновником, и учили ловить палкой с рогатиной кишевших там змей. Так и пролетел отпуск, который можно назвать счастливым для мамы. Я думаю даже, что, будь на то ее воля, осталась бы она с отцом на любой маленькой станции доживать свою жизнь и воспитывать меня в окружении природы с ее черным звездным украинским небом и золотой дневной жарой.

Домой приехали отдохнувшие и привезли на зиму ведро вишневого варенья. После поездки отец переменялся. Стал раньше приходить с работы, по воскресеньям всегда был дома, уделял мне больше внимания и начал даже обучать игре на гитаре, которой владел в совершенстве и мог даже играть, держа ее на вытянутых за спиной руках. Мама начала расцветать, к ней вернулся румянец, губы стали пухлыми, глаза свежими и лучистыми. От кого-то она узнала тайную причину перемен, происшедших в отце. Оказалось, Катя уволилась с работы и уехала с дочерью в Вильнюс на постоянное жительство. Укрепило мамину уверенность в переменах к лучшему и то, что отец стал заботиться об обстановке в комнате, — осенью и зимой мы купили новый диван для меня и письменный стол.

Но как обманчиво все оказалось на самом деле! Он и не думал рвать с Катей и каждый год стал ездить в отпуск в Вильнюс, даже не скрывая этого от мамы. И она собирала его в дорогу, укладывала в чемодан стираное и глаженое белье, зная, что он в этом белье будет лежать в постели другой женщины. Жизнь мамы опять потускнела. Она, словно понимая ненужность этого, перестала следить за собой, чем вызывала еще большее раздражение отца. Я знал обо всем и реагировал по-своему (ведь мне было уже семнадцать лет!) — отказался играть с отцом в шахматы и забросил гитару. (Правда, играть на гитаре я отказался еще и по «идейным» соображениям: в правозерной комсомольской среде, к которой я принадлежал тогда, гитара, герань на окнах и канарейки в клетках считались признаками несомненного мещанства.) Маму я не огорчал — учился хорошо, в плохие компании не ходил, не пристрастился к куреву и алкоголю.

Кончилась эта двойная жизнь года через три совершенно неожиданно. Отец уехал в Вильнюс, и мама, как всегда, безропотно собрала его, но вернулся он спустя неделю, подавленный и слабый. Ему было настолько плохо, что он рассказал маме, как Катя его выгнала: он уже стар и больше ей не нужен. В чемодане его лежали брошенные туда рукою Катки нижние рубашки, носки и скомканные, запачканные дерьмом кальсоны. А на следующий день отца хватил удар и отнялась

правая половина тела. Лицо искривилось, говорил он с трудом, не чувствовал многих своих органов и мочился прямо в брюки, — мама едва успевала стирать их и сушить. Когда ему стало чуть получше, но надежды на полное выздоровление уже не было (врачи об этом прямо сказали нам с мамой), он изменившимся почерком, дрожащей рукой написал заявление об уходе на пенсию, но поехать сам в министерство уже не мог, и все необходимые в таких случаях бумаги оформляла мама. Она стоически перенесла его болезнь и инвалидность, и, казалось даже, это прибавило ей сил. В школе она согласилась стать заведующей учебной частью, чтобы больше получать и чтобы нам жилось не хуже, чем тогда, когда отец был здоров и приносил домой часть зарплаты. Другую часть, как сам потом, плача, признался маме, он тратил на Катьку, на подарки ей и ее дочери. С болезнью он стал часто беспричинно плакать, — услышит ли по радио знакомую украинскую песню или узнает, что я в школе получил несколько пятерок. Он все время был дома, часто — в одиночестве, и мне было искренне жаль его. Еще он плакал, когда мама ухаживала за ним: переодевала в чистое белье или подавала на стол еду, особенно приятную ему. Наверное, это были слезы не только болезни его, но и слезы его раскаяния, слезы-просьба о прощении за все зло, что он причинил маме. Но мама и так все ему прощала и всю жизнь любила его одного. А сейчас ей придавало силы то, что он, пусть и ни на что не годный, принадлежал лишь ей и больше никому. Но и тут она ошибалась. Как только ему стало лучше и он смог сам передвигаться — тут же зачастил в соседний дом, точнее, деревянный барак, где жила ближайшая Каткина подруга. Приносил ей всегда торт, сидел, плакал и спрашивал о Катьке, позоря маму самым фактом этих хождений неизвестно зачем. . .

Ко мне иногда заглядывала моя первая школьная любовь — светловолосая, сероглазая Таня, и отец оживал с ее приходом — он учил меня наглядно, как, по его мнению, надо ухаживать за девушками: подвигал ей стул, доставал лимонад или квас, конфеты, печенье и все говорил мне: «Ну что же ты — поухаживай за Таней, предложи ей попить лимонаду, съесть конфет или печенья. . .» Мама, видя это, загадочно улыбалась и с любовью и сожалением смотрела на меня, словно предугадывая мою дальнейшую судьбу, мое шараханье от одной к другой, от другой к третьей. . . Но — это особая, грустная, в основном, сказка. . .

Когда проходил государственный заем, отец подписывался не на один, как было безоговорочно принято, а на два оклада, и у него скопилось множество облигаций. Он всегда ждал таблиц с выигрышами, и вот ему крупно повезло: он выиграл десять тысяч рублей. Часть из них он отдал маме, чтобы она положила на книжку — на черный день, а три или четыре тысячи рублей подарил своему многодетному старшему сыну — чтобы тот построил себе дачу, но с условием, что одна комната будет принадлежать отцу и он сможет каждое лето до самой смерти там отдыхать. Сын деньги взял, дачу тут же построил, а комнатой отцу воспользоваться фактически не дал. Отец ездил туда несколько раз, но все относились к нему враждебно, не готовили ему поесть, а иногда и просто всем своим видом показывали, что присутствие его здесь нежелательно. Он опять плакал, а мама его утешала. И это было последним случаем, когда он хотел хоть на время уйти от нас, полагая наивно, что везде его ждут с распростертыми объятьями. . .

А у меня как-то само собой получалось, что в последние годы я радовал маму: окончил школу с серебряной медалью, поступил по собеседованию на географический факультет МГУ и стал, как шутила мама, «учиться на путешественника». Действительно, летом я уезжал надолго на Север, зимой пропадал в университете с утра до поздней ночи, и жизнь родителей проходила от меня в стороне. Лишь иногда я

замечал, что мама по-прежнему держится молодцом, а отец слабеет и слабеет. Он сильно похудел, кожа на лице и теле провисла складками, но само лицо его оставалось все же приятным, открытым. Он был в здравом уме, речь почти полностью восстановилась, вот только при ходьбе он все еще волочил пораженную ударом ногу. Мама водила его гулять, и временами казалось, что проживет он еще долго и жизнь его доставит маме радость. Но в конце пятидесяти третьего года, в середине декабря, ему стало хуже. Он не мог вставать с постели, ничего не ел, а если что-то и ел, то его тут же рвало. Я принес ему со стипендии плитку шоколада, и он долго плакал, хотел приподняться с постели, чтобы обнять меня, но не смог. Врачи, которых мама к нему часто вызывала, твердили, что это просто старость, старческая слабость. Так он пролежал три недели без еды, весь высох, и, когда нужно было переменить на постели белье, я легко брал его на руки и относил на диван, а он обвивал мою шею слабыми руками и плакал, плакал...

Однажды утром рано, в воскресенье, проснувшись я услышал разговор... Как-то неожиданно свободно и естественно отец говорил маме: «Ты прости меня за все горе, что я причинил тебе и сыну... я только теперь понял, что никого в жизни ближе тебя у меня не было и нет...» Потом он заплакал, за ним заплакала мама, а я лежал, боясь пошевелиться, чтобы не нарушить их скорбного, спокойного объединения, их святой, чистой минуты, минуты искреннего раскаяния и такого же (нет, во много раз большего!) прощения...

Через неделю, восьмого января пятидесяти четвертого года, отец уснул и больше не проснулся. За полчаса до его кончины к нам приехал один из моих братьев по отцу, самый близкий мне по возрасту. Мы встали рядом у темного окна, и он тихо сказал мне: «Ну, вот, нет у нас больше отца...»

Мама мысленно простилась с отцом в то утро, неделю тому назад, когда он просил у нее прощения, и смерть его не была для нее неожиданной. Она собрала все свои силы и держалась стойко: сама ходила оформлять необходимые документы, добилась разрешения похоронить его на Ваганьковском кладбище, в старую могилу кого-то из знакомых. День похорон был морозный. Гроб вынесли два его сына от первого брака (третий, старший, приехал только на кладбище), я и сосед. За гробом несли красные шелковые подушечки с орденом Ленина и медалью «За трудовую доблесть». Перед разверстой могилой простились, могильщики быстро заколотили гроб и так неумело опускали его в могилу, что он долго не входил в нее, словно отец не хотел уходить от нас. Потом были поминки, и прошли они как в чаду.

У нас с мамой началась новая жизнь без отца. Спало напряжение похорон и приготовления к ним, и мама по ночам стала плакать (тихо, чтобы не слышал я) и тихо разговаривать сама с собой... Весной, когда сошел снег и земля подсохла, она обиходила могилу: заказала цементную облицовку холмика и высадила цветы — анютины глазки, часто ходила туда, одна или со мной, поливала цветы и собиралась заказать скамейку, чтобы можно было прийти и посидеть. Горе от утраты отца не проходило, но становилось глуше и глуше, вытесняемое каждодневной жизнью. У меня возникли первые неприятности в университете. Я просил деканат перенести мне очередной экзамен с одиннадцатого января — дня похорон — на более поздний срок, но милосердие тогда было не в моде. Мне грубо отказали, несмотря даже на то, что просить за меня ходила целая делегация однокурсниц, и я вынужден был просто не явиться на экзамен и остаться на целый семестр без стипендии. Мама меня не ругала, она сказала, что мы и так проживем, только на книги, которые я покупал из своей стипендии, денег не будет.

После смерти отца к нам переехала жить бабушка и стала помогать маме, с утра до вечера занятой в школе, вести наше домашнее хозяйство. Меня, после пережитого потрясения, с еще большей силой захлестнула университетская веселая жизнь. Ко мне домой стали заезжать мои однокурсницы, бабушка и мама придирчиво оглядывали их и норовили оставить обедать, чтобы разглядеть получше, попристальнее, справедливо предполагая, что вот-вот одно из этих милых созданий может заявить свои права на меня. Особенно беспокоилась мама. Она, правда, в отличие от бабушки никогда не высказывала мнения о моих избранницах, но ее строгую оценку я чувствовал потом по взгляду, по случайно оброненным словам, даже по тому, как она подавала на стол. И это немудрено — ведь теперь для нее оставался я один, ее жизнь питалась моей жизнью, и мама хотела мне такого счастья, какого была лишена сама. Лишь однажды она сильно забеспокоилась, когда я объявил ей, что еду на два или три дня в гости к своей однокурснице в Подольск. Она долго собиралась с мыслями, а потом прямо сказала, что с ее точки зрения, с точки зрения ее морали, это шаг серьезный, обязывающий меня чуть ли не жениться на этой девушке, раз уж я буду какое-то время просто ночевать с ней под одной крышей. Я не внял и с безрассудностью своей молодости, очертя голову, поехал, но из этой поездки ничего не вышло законченного и официального, и мама потом долго пеняла мне, что я, не подумав как следует, бросил тень на невинную девушку, хотя эта девушка ни ей, ни, в особенности, бабушке не понравилась с первого взгляда. Бабушка просто считала ее дикой за то, что они с подругой, приехав ко мне готовиться к экзаменам, перед обедом вдруг ушли и пообедали не у нас, а в ближайшей столовке, а потом обе, как ни в чем не бывало, вернулись и продолжали вместе со мной заниматься. Бабушка усмотрела в этом дурные манеры и была оскорблена: не захотели отвратить ее стряпни.

За год-подтора мама оправилась. Она по-прежнему часто ходила на могилу к отцу и повесила в комнате его портрет (вместо портрета Кагановича — наркома путей сообщения). Словно запоздало следуя советам покойного, она стала лучше одеваться — сшила себе еще одно платье, и красивое, синего цвета полупальто. Может быть, она тайно верила, что отец видит ее оттуда и порадуетя тому, что она стала его слушаться. Но, скорее всего, она и раньше не прочь была бы одеться, да старалась одеть сначала меня и отца, а себе вынужденно отказывала в те бедные послевоенные годы, когда слово «отрез» произносилось с благоговением. По вечерам мама всегда дожидалась моего возвращения из университета, разогревала котлеты и гречневую кашу, и я, голодный, набрасывался и уничтожал все. Ей хотелось поговорить со мной, нащупать, чем и как я живу, вывести мои планы на будущее, особенно касающиеся личной жизни, но я не понимал тогда святости и законности этого материнского стремления и отделивался общими фразами, падал на свой диван и засыпал мертвецким молодым сном до утра. Теперь я понимаю, что обкрадывал преступно не только ее, но и себя. Отца у меня уже не было, и единственный близкий мне человек, раскрывшись в откровенной беседе, мог бы существенно повлиять на мою дальнейшую, не очень-то путную жизнь, предостеречь и уберечь от многих необдуманных шагов. Своей скрытностью я лишал маму главного, чего она от меня ждала, — ей хотелось быть сопричастной моей нынешней жизни, потому что своя, какая-никакая, уже окончилась в значительной мере со смертью отца. Но мама никогда не оставляла надежды сблизиться со мной, понять до конца, что я собой представляю и от чего меня следует предостеречь. И, наверное, отчасти поэтому она на старости лет затеяла одно крупное общее дело для нас двоих. Посоветовавшись с братом Александром и тщательно

взвесив все свои возможности, она вступила на работе в садоводческое товарищество, рассчитывая, что и я приму в этом деле участие. Вечерами, если я возвращался раньше обычного, она рассказывала о будущей даче, будущем саде и огороде, о том, что со временем нужно будет купить мотоцикл с коляской, чтобы ездить туда вдвоем, а осенью вывозить урожай. Я слушал вполуха, соглашался, но не представлял себе, как смогу заделаться фермером, тем более, что на все лето я вынужден буду уезжать в отдаленные края и возвращаться уже с первыми морозами. Все это я говорил маме, но она считала, что так будет не всегда, когда-нибудь я осяду в Москве, и своя дача, свой сад, окажутся кстати и мне самому, и моей будущей семье. Но, конечно, затеяла она строительство и выращивание сада не только из-за меня. Тут причин было несколько. В ней, видимо, воскресла давняя тяга к земле, которая в молодости заставила ее пойти учиться на высшие сельскохозяйственные курсы, и ей захотелось, пусть и в короткий, закатный отрезок жизни, посвятить себя наконец любимому делу. Кроме того, она, хотя и несколько медлительная, но деятельная всю жизнь, нуждалась в заполнении пустоты, образовавшейся после смерти отца. Одной ей трудно было это поднять, она искала поддержки у меня, и я не совсем охотно, но все же согласился помочь ей — когда позволит мне моя студенческая жизнь, а затем и работа, то есть только весной и глубокой осенью.

И мама преобразилась. Тою же зимой пятьдесят шестого года она написала заявление с просьбой принять ее в товарищество, внесла необходимый вступительный взнос и в назначенный день по глубокому снегу поехала, пригласив для поддержки и совета брата Александра, в неведомую доселе Устиновку, что расположена примерно в девяносто километрах от Москвы. Ехали они почти два часа только электричкой, а потом шли четыре с половиной километра по снежной целине и, уставшие, оказались у цели лишь к полудню. Там уже были другие люди, члены товарищества, а также организаторы, которые отводили людей к их участкам, полученным согласно жеребьевке, проведенной заранее в Москве. Маме достался участок номер триста девяносто шесть, расположенный почти на вершине холма и весь поросший осиновым, в основном, лесом. Среди осей виднеись также одна кривая ель, несколько берез и дубов, не очень еще старых и мощных. Организаторы объяснили, что на участках сводить можно только осину, а остальные деревья трогать нельзя, неизвестно почему. Очевидную глупость этого трудно объяснить — неужели потом кто-то собирался в крохотных, в восемь соток садиках, вести лесозаготовки этих, одиноко стоящих, не очень-то и ценных деревьев. Но мама восприняла этот запрет спокойно. Привыкшая уже ко многому несуразному в нашей жизни, она была рада и тому, что хотя бы преобладающую осину можно свести и выкорчевать. Вот тут-то и пригодился ей мужской ум брата. Он осмотрел внимательно весь участок, заблаговременно очерченный по углам деревянными вешками, и сказал маме: «Знаешь, что я тебе посоветую: ты сведи эту осину и из нее же построй домик. — это обойдется тебе гораздо дешевле: и покупать материалы не надо, и платить за доставку тоже...» Мама так и поступила: ранней весной поехала вновь в Устиновку, пошла в ближайшую деревню и по принципу «язык до Киева доведет» нашла там хорошего плотника и вообще деревенского мастера на все руки. Договорившись с ним о работах, которые ни я, ни тем более она выполнить сами не могли, она заключила с ним договор в сельсовете на сведение и корчевку леса и сооружение домика из этого же материала. Той весной я рано уезжал в экспедицию и на участок не заявлялся — там мне и делать к тому же было еще нечего. А осенью, в последний октябрьский день, впервые отправился туда вместе с мамой. Плотник сдержал свое слово и вы-

полнил все, что обещал, хотя маме и пришлось дополнительно к обусловленной оплате покупать ему несколько раз водку и закуску и часто напоминать о договоре. К моему приезду на участке стоял домик из осины на шести дубовых столбах, вкопанных в землю, крытый умело изготовленной из той же осины щепой. В домике за отдельную плату были настланы полы и вставлены еще не застекленные рамы. К самому домику площадью шестнадцать квадратных метров была пристроена восьмиметровая терраса, тоже покуда не застекленная. Мама заранее рассчитала все размеры, и я привез с собой, обернув в мешковину, аккуратно нарезанное стекло и сам вставил его в рамы в комнате и на террасе. Потом мама попросила меня сделать так, чтобы одна большая створка на террасе открывалась на случай жары, и была довольна, что я, оказывается, что-то умею делать полезное. Потом мы до самых холодов ездили на дачу: я вскапывал землю, а мама высаживала то, что можно посадить осенью, или прикапывала до весны. После мы занимались обустройством комнаты — осинового; проконопаченные паклей стены обивали картоном и обклеивали обоями, красили пол и рамы, привезли постепенно — на себе, по частям — старые железные кровати и стулья из дома, а на террасе и в комнате я сам смастерил обеденные столики, и мама покрыла их клеенкой. К следующей весне мама уже выращивала в бумажных стаканчиках рассаду помидоров и огурцов, а перед отъездом в Устиновку мы купали на рынке саженцы плодовых деревьев и кустарников. Потом я уехал в экспедицию и попал на дачу только осенью.

Моим глазам предстала картина, исполненная красоты и носящая, что главное, отпечаток личности творца — моей мамы. Участок был уже огорожен с трех сторон и только с одной стороны, по границе с соседним участком, стояли вкопанные через равные промежутки столбы, но слег и самого забора не было. От калитки прямо к углу террасы вела утоптанная, но не утратившая дерна дорожка. Сразу по входе на участок зеленела влажная лужайка с несколькими крохотными вишенками. Все они были аккуратно подвязаны белыми веревочками к воткнутому в землю палкам. За вишнями, прямо напротив террасы, виднелись две грядки для клубники — разбитые, но еще не засаженные. А между этими грядками и тропинкой, ведущей к террасе и далее, в конце сада, лежала аккуратно, высотой в полтора метра четырехугольная стопка оставшейся от строительства щепы. В этой щепе, как я потом сам узнал и увидел, поселилась белоснежная ласка. Мама старалась ее не спугивать, чтобы та продолжала здесь жить и приносить пользу — ловить грызунов: мышей и полевок, оставшихся на участке после сведенного леса. Справа от тропинки росли молодые сливы — два или три корня, а слева была высажена черноплодная рябина, за которой опять возвышались тоненькие вишневые деревца. Вдоль всего фасада тянулась пышная зеленая лужайка, оставленная специально затем, чтобы можно было когда-нибудь вынести одеяло, матрац и позагорать или полежать в тени под кривой елью. За домом, во всю его ширину вместе с террасой, располагалась тщательно возделанная мамой клубничная плантация, по углам которой стояли, также привязанные к палкам, саженцы яблонь разных сортов. Ближе к дому — золотые китайки, а в отдалении — славянка и шафран. В эту компанию удачно вписались и две дикие яблони, росшие прежде в лесу. Дальше — за кустиками черной смородины, малины и крыжовника «финик» — росли дубки, береза и липа (те, которые не разрешалось рубить, но все рубили). Пройдя вдоль террасы, тропинка сворачивала вправо и шла наискосок к сделанному из ящичных дощечек туалету и сваленным в кучу выкорчеванным пням. В этих пнях поселились спугнутые было стройкой ежи. Вечерами они, громко топоча по сухой тропинке, приходили к дому, ища что-нибудь съестное, и мама, а по-

том и я, стали их прикармливать, чтобы они от нас не ушли и тоже помогали бороться с грызунами. Сердце мое порадовалось за маму, и в то же время мне стало стыдно, оттого что я мало принимал в этом участия. И я постарался в эту осень исправиться. Первым делом я соорудил за домом навес, под которым можно было бы и в дождливую погоду готовить пищу. Получился он у меня не очень красивым — стойки, поддерживающие его, было немного кривоваты, но мама осталась довольной. Я покрыл навес рубероидом, поставил в определенное мамой место железную печурку, и мы тут же опробовали ее. Потом под навесом я сколотил кухонный стол, вбил гвозди в заднюю стенку дома, чтобы вешать сковороды и кастрюли, а чуть поодаль смастерил себе верстак, за которым надеялся пилить, строгать, сколачивать что угодно. Между навесом и верстаком стояла лестница, ведущая на чердак, — там можно было расположиться на ночлег в том случае, если бы к нам вдруг понаехали гости.

Мама исподволь, ненавязчиво старалась обучать меня премудростям садоводства и огородничества, усвоенным ею еще на родине в детстве и юности, и кое-что я от нее перенял. Особенно много возни было с клубникой. Она требовала корневой подкормки, внекорневой подкормки, опилок в междурядье, подставок из проволоки для веточек с ягодами, если лето было дождливое и сырое, а кроме того — обрезки усов и удаления засохших листьев. Да и посадка плодовых деревьев — тоже наука. Под вишни, например, мы укладывали яичную скорлупу и консервные пустые банки, чтобы обеспечить молодое деревце кальцием и железом, а в ямы, вырытые для посадки яблонь, добавляли навоз, перемешивая его с землей. Маме все хотелось украсить участок, и она посадила вдоль тропинки флоксы, а под самой террасой — гвоздику. Когда основные работы бывали закончены, я принимался мастерить что-нибудь для души: сделал синичник из дощечек, дуплянку из обрубка осинового ствола и повесил эти сооружения на дальние деревья в саду. В синичнике так никто и не поселился (я пристроил его слишком низко), а в дуплянке — сколько помню — все время жила мухоловка.

Часы после трудового дня на даче были особенно приятны. Мы сидели на террасе, слушали тонкие голоса синиц и наблюдали, как вверх-вниз по стволу кривой ели бегают поползень, ища себе пропитание. Иногда из щепы высовывалась и быстро пробегала куда-нибудь ласка или приходили кормиться ежи. Они шумно сновали по зарослям клубники, собирали и поедали улиток, а потом пробирались на кухню, гремели там пустыми консервными банками и пили оставленное для них в керамической плоской мисочке молоко. Мама отдыхала, а я после некоторого радостного возбуждения от работы начинал скучать. Меня тянуло в университет, в походы, которые мы устраивали всей группой невзирая на осеннюю неустойчивую погоду. И я сообщал маме чуть виновато, что в следующую субботу и воскресенье с ней не поеду, а пойду в поход. Мама явно огорчалась, но не препятствовала и говорила покорно: «Ну, что ж, иди, только не простудись в такие холода — ведь вы опять, наверное, поедете с ночевкой...» Мне казалось, раз на даче все капитальное сделано, то и ездить туда незачем, я не понимал одного: маме необходимо было мое присутствие, мое соучастие, пусть даже в малых делах. В комнатке стояли две кровати, хорошая экономичная буржуйка, что позволяло проводить на даче много времени — от ранней весны до поздней осени. Маме хотелось, чтобы я перенял от нее любовь к этому, ухоженному, в основном, ее руками, ключку земли, к взлепянным ею растениям, к осинному домику, к тишине этого, лесистого тогда, края. Она пыталась меня прельстить походами за грибами в лес, начинавшийся сразу за последними дачами, но я был слеп и глух и стал все реже и реже выезжать на дачу.

К тому же я задумал жениться, еще не окончив университета, — а может быть, поддался общему ажиотажу и напору со стороны прекрасного пола: «Если не теперь, не с этими знакомыми, то когда и с кем?»

Весной пятьдесят седьмого я привел маме показать свою избранницу. По этому поводу к нам будто случайно, а на самом деле нет, съехались почти все мои тетки и устроили настоящие старинные смотрины. К несчастью, в этот вечер почему-то отключили электричество и пришлось зажечь свечи (керосиновых ламп у нас уже не было — последнюю отвезли на дачу). Боже, как ужасно выглядела в глазах мамы и теток моя «суженая»! И без того бледная и малокровная, она в свете свечей казалась похожей на смерть, возможно, еще и от волнения, которое, несомненно, переживала под беспощадными взглядами моей родни. Разговор шел незначительный, натужный, да иным он и быть тогда не мог — слишком архаично все это выглядело... Когда я вернулся, проводив свою невесту в общежитие, мама была одна и горько, почти навзрыд плакала...

Она не спрашивала потом, лишил ли я невинности до срока это создание, — для нее было решающим, что я привел девушку на смотрины. Выбор мой она считала окончательным, хотя все в ее душе противилось этому браку.

Свадьбу она устроила по тем временам пышную, и тетки ворчали на нее, что она слишком много потратила денег. Но я был единственным — для кого ей еще было беречь, и в этой своей единственности не понимал, что скоропалительной женитьбой приношу маме несчастье. Она перенесла его стойко, и раз уж так вышло, делала все, чтобы семья была крепкой и долговечной. Первое время мы с женой жили в общежитии, и мама раза два в неделю, опасаясь, что я голодаю, приезжала через весь город и привозила домашнюю еду: бульон в бидончике, котлеты в кастрюльке и даже гречневую кашу, хотя все это при желании можно было приготовить и в общежитии. Потом, ближе к защите диплома, мы переехали к маме, и она с первого дня ни словом, ни взглядом старалась не дать понять молодой невестке, что недовольна выбором сына. Чего ей это только стоило — ведь, по ее понятиям, невестка должна быть дородной, здоровой, румяной девушкой, умеющей вести хозяйство и содержать ее сына так, как она сама его всю жизнь содержала. Таков удел всех матерей, имеющих одного сына. Им трудно угодить, а может быть, и невозможно, и мама — я это почувствовал потом — была глубоко несчастна и тайла свое недовольство, что во много раз тяжелее открытого бунта, когда боль выкрикивается, выплескивается и освобождает душу, а не копится в ней годами, разъедая изнутри, и, возможно, вполне возможно, вызывает даже тяжелые, неизлечимые болезни или ускоряет их приход.

После окончания университета, с уже беременной женой, я хотел уехать работать на Кольский полуостров. И только тут, несмотря ни на что, мама буквально взмолилась, и была эта мольба так горяча и искренна, что я, подумав, согласился и получил новое распределение на свою же кафедру — младшим научным сотрудником. Жить мы стали беднее. Мама вышла на пенсию и получала семьдесят рублей, я получал сто пять рублей, а жена не работала. Но благодаря маминуму умению вести хозяйство концы с концами мы сводили и иногда даже покупали что-то из одежды. В конце года у нас родилась, к моей радости, дочка (я мальчика не хотел) — болезненное, но милое создание, и покой ушел из нашего дома. У жены через две недели пропало молоко, дочка заболела, их положили в больницу, и хлопот всем прибавилось.

Мама полюбила внучку. Она брала ее на руки бережно, как что-то драгоценное, целовала и носила на руках, когда та плакала, и жена моя относилась к этому ревниво, считая, что одна она имеет

право на ребенка, и боясь, как бы мама что-то не испортила в девочке. И вообще в отношении ее к маме я наблюдал какую-то затаенную обиду (еще от тех «смотрин», наверное) и даже брезгливость. Никогда не повышая голоса, внешне корректно, она старалась отстранить маму от приготовления еды для девочки, от тесного контакта с ней, считая, видимо, что мама недостаточно опрятна и современна. И что еще больше огорчало маму — она, моя жена, сблизилась с соседкой по квартире, матерью моего школьного товарища, и подолгу разговаривала с ней, училась у нее, а не у мамы, как вести домашние дела.

Так прошел год, и в конце пятидесят восьмого последовал удар судьбы — у мамы обнаружили рак щитовидной железы. Ей сделали операцию, но неудачно, остались метастазы, и ее продолжали лечить облучением и «химией». Она мало спала, плохо ела, и взор ее иногда совсем потухал. А тут еще заболела бабушка, перестала ходить, узнавать своих близких и требовала постоянного ухода. Вначале сестры установили очередь, но потом решили, что ухаживать за бабушкой обязана одна моя мама, потому что бабушка спасла меня во время войны — и в оккупации, и в германской неволе. И жизнь наша превратилась в кошмар. Нас было пятеро в семнадцатиметровой комнате, и на ночь маме, нуждающейся в хорошем отдыхе, ставили раскладушку. По ночам плакала и не давала спать дочка, все время чем-то болевшая, или пела песни бабушка, выспавшаяся днем. Мама исхудала, было видно, что она с трудом сдерживается, и однажды (один раз за всю жизнь на моих глазах) она негромко, с горечью сказала ничего не понимавшей бабушке: «Ты заедаешь мою жизнь...» Но на сей раз бабушка неожиданно поняла и беспомощно заплакала.

В эти последние годы жизни маму поддерживала дача, забота о растениях, и подоконник наш весной по-прежнему напоминал оранжевую реку. Когда дочке исполнилось полтора года, мама стала брать ее с собой на дачу — откармливать свежими ягодами и отпаивать деревенским парным молоком. У меня до сих пор хранится фотография, на которой мама стоит у грядки с клубникой, а в междурядье — с улыбающимся личиком сидит на корточках моя дочка, мой первенец...

Зимой маме становилось хуже. Она ходила в Боткинскую больницу на облучение, принимала лекарства, но ничто не помогало — опухоль росла и росла. Я приносил ей изредка какие-то радости, делился своими успехами — у меня вышли первые научные работы, встреченные с одобрением, а за доклад на научном совещании я был удостоен первой премии. И, как итог этого, в шестидесятом году поступил в очную аспирантуру. Я стал больше бывать дома: раза два в неделю ездил на занятия по философии и немецкому языку, иногда в библиотеку, чтобы прочесть необходимое для работы. Работать дома было почти невозможно. Каким-то чудом я подготовился и сдал весной шестьдесят первого все кандидатские экзамены на «отлично». Бабушка никого уже не узнавала, называла меня именем своего сына, днем слушала, ничего не понимая, включенное радио. Услышанное преломлялось в ее угасающем сознании совершенно неожиданно: она то пела отрывки песен «У советской власти сила велика...» и тут же просила: «Советская власть, помоги мне выздороветь...», то вдруг требовала: «Юрий Алексеевич Гагарин, посади меня на горшок...»

Мама совсем выбилась из сил. Опухоль разрасталась, начались боли, и ей прописали нембутал, который позволял ей хоть на время чувствовать себя лучше. Сестры и не думали забирать бабушку от нас, пока не вмешался брат Александр. Он собрал их, резко, без лишних церемоний расписал очередность, и тут же бабушку увезли от нас. Но это было запоздалое облегчение. Мама из-за болезни все реже ездила на дачу, а однажды, приехав оттуда, сказала: «Все, я больше одна туда не поеду...» и заплакала. Жена устроилась работать, дочку

определили в детсад, я на месяц уехал под Воркуту. Мама целыми днями была одна со своей болезнью, со своей болью и, вероятно, со своими воспоминаниями об уходящей жизни. Когда я в августе вернулся в Москву, опухоль у мамы почернела и раскрылась, и из раны сочилась красноватая жидкость, издающая тошнотворный запах. Мама тщательно забинтовывала рану, смачивала бинт сверху духами, которые купила специально для этой цели. Спать она ложилась подальше, словно оберегая меня и любимую внучку от страшного своего вида и запаха, перебить который духи не могли. О даче она даже не заговаривала, и никаких планов о посадках и пересадках не строила, и не просила меня, как прежде, съездить куда-нибудь за семенами или саженцами. Но однажды, уже в октябре (а октябрь в тот, шестьдесят первый год, стоял хороший — сухой и теплый) вдруг попросила меня отвезти ее на дачу.

Обычно такая поездка сопровождалась недельными сборами, но в этот раз мы взяли с собой еду и поехали прямо среди недели, поскольку я был свободен от ежедневных посещений университета — считалось, что все дни я провожу либо в библиотеке, либо дома, готовя рукопись к кандидатской диссертации.

Мы с мамой оба были «жаворонки» и вставали всегда рано, а тут вообще поднялись чуть свет и поехали одной из первых электричек. Ей уже трудно было ходить, так она ослабела за последние месяцы, и я поддерживал ее под руку. Я заметил, что оделась она необычно, не так, как всегда одевалась для дачи — попроще, а наоборот — надела все лучшее, что у нее было: новое платье с белым отложным воротничком, который сливался со свежим, повязанным на шею бинтом, новые коричневые туфли, на кожаной подошве, сделанные по индивидуальному заказу за год до болезни, синие полупальто и берет. По всему было видно, что работать она там не собирается, хотя на даче была старая одежда и можно было и мне, и ей переодеться. Но она, против обыкновения, не говорила о дачных делах ни дома, перед отъездом, ни в дороге.

От Устиновки мы не пошли, как обычно, пешком — ей было трудно идти эти четыре с половиной километра, а у голубого ларька долго ждали автобуса и доехали на нем почти до самых дач. Сошли на шоссе, осторожно спустились с насыпи и попали в осенний лес, по которому предстояло пройти с полкилометра до первых домиков. Светило скупое октябрьское солнце, было безветренно, но иногда с деревьев отрывались отдельные листья и, кружась, опускались на замшелую землю. Мама шла медленно, я подлаживался под нее. Она иногда останавливалась, глядела внимательно на знакомый осенний лес, потом брала меня под руку, и мы шли дальше. По настеленным жердочкам перешли через ручей, поднялись осторожно в гору и оказались на территории товарищества. Домики радовали глаз своим разнообразием: одни выстроены утилитарно, просто, только чтобы укрывали от дождя, а другие, напротив, вычурно, со всей фантазией хозяев. Были тут и резные кружевные деревянные наличники на окнах, и замысловатые коньки крыш с лошадиными или петушиными головами, имелись даже и двухэтажные строения с претензией на респектабельность, на принадлежность к более высокому социальному слою, чем униженное и бедное учительство. Как и в лесу, мама останавливалась, чтобы отдохнуть и поглядеть на домики и разнообразно спланированные сады. Я тоже смотрел и про себя отметил, что такого сада, как у нас, больше во всем товариществе нет. И отличие состояло, прежде всего, в том, что каждая доля сотки повсюду использовалась под клубнику, ягодные кустарники, плодовые деревья, и нигде не было «зон отдыха», как у нас с мамой — в виде лужаек и куртинок лесных деревьев, я не говорю уже об одомашненных ежах, которые сейчас ели чуть ли не из

рук, и о белоснежной ласке, все еще жившей в своем гнезде под пластами осинового щепы. Так мы постепенно, с остановками дошли до своего домика. Пробыли мы на даче целых три дня и три ночи, и мне пришлось ходить в деревенскую лавку за продуктами и за молоком к знакомой хозяйке. Вставали чуть позже, чем обычно: не хотелось вылезать из теплых постелей в октябрьский утренний холод нашей осиновой комнатки — хотя и проконопаченной, и обитой изнутри картоном, и оклеенной обоями, на которых были изображены сосновые ветки и шишки, но все же продувной. Умывшись холодной водой, я принимался стирать, и завтракали мы на террасе, где, казалось, было даже теплее, чем в комнате. К этому времени мы купили газовую плитку (портативную) с баллонами, и приготовить завтрак не составляло особого труда: не нужно было растапливать печь. Мама ела мало, чаще всего пила только теплое молоко — оно согревало ее больное горло и, как ей казалось, умеряло чуть-чуть боль. А потом до обеда мы ходили по участку, подолгу стояли у каждой грядки, каждого дерева, каждого кустика, и мама рассказывала мне, что и где посажено и как надо ухаживать за тем или иным растением, и говорила еще на будущее, что нужно убрать и что вместо этого достать и посадить. После обеда мама ложилась отдохнуть, и я специально протапливал печку — в комнате становилось так тепло, что можно было лежать в обычной домашней одежде, как в нашей теплой квартире в Москве. Перед ужином и после него мама, как урок, повторяла — уже в комнате или на террасе — все «пройденное» за день, и так продолжалось до тех пор, пока мы с ней не постояли и не поговорили у каждой грядки, каждого куста, каждого дерева, пока не обсудили наконец и состояние самого дома и не решили вместе, где и какой требуется ремонт — сейчас и в ближайшем будущем. Я запомнил, что крышу надо покрыть сверху толем, а под углы дома вместо гниющих постепенно дубовых колод подвести со временем кирпичные или каменные опоры, но это еще не скоро, лет через пять-шесть.

По вечерам я протапливал комнату — не жалел дров в буржуйку, и она раскалялась докрасна. В последний вечер я протопил особенно хорошо. Сквозь щели у дверцы из печки пробивался красноватый свет пламени и то озарял, то, отступив, повергал во мрак наши лица. И мама вдруг, будто бы и не к месту, совсем не в русле всех наших разговоров за эти три дня, спросила: «Сынок, а как твоя китаянка? . . .» У меня перехватило дух, и я в одно мгновение вспомнил историю двухлетней давности, когда я летом в экспедиции, уже будучи мужем и отцом, без памяти влюбился в китайскую студентку-практикантку, которая работала, вернее, проходила практику в отряде, где я был начальником. В памяти мгновенно пронеслось и все, что случилось затем. Жена нашла в моем чемоданчике ее записку ко мне и, забрав дочь, ушла из дома. Возвратившись вечером, я застал опустевшую тихую комнату и плачущую в темноте маму. В порыве раскаяния я тут же разыскал жену (она была у моего школьного друга), повинился перед ней, обещал, что это больше не повторится, поклялся, что ничего серьезного не было между мной и китайской студенткой, и с трудом вернул свою семью домой. Все это постепенно улеглось, подзабылось, и вдруг оказалось, что мама помнит и тревожится об этом. . . Мне стало внезапно легко, как на исповеди, и я ответил: «Мама, китаянка давно в Китае, не пишет мне и писать не может — ты же знаешь, какие сейчас отношения с Китаем, — но забыть ее я не могу и, может быть, не смогу никогда. . .» Мама помолчала, а потом, то ли с укоризной, то ли с каким-то любованием — я так и не понял — сказала: «Ах ты, батя, вылитый батя. . .» Помолчала еще и добавила: «Дочку только не забывай, что бы с тобой ни случилось. . .» О жене моей она ни слова не сказала. . .

Наутро мы неспешно позавтракали, прибрали за собой все, я сделал маме очередную перевязку на долгую дорогу, и пустились в обратный путь. Когда я запер замок на калитке, мама попросила меня немного постоять с ней. Мы стояли минут пятнадцать, а то и больше, и она все смотрела на домик, на участок возле домика, ощупывала взглядом каждое садовое и лесное растение и молчала. Она слегка отвернулась от меня, но я заметил все же, что в глазах ее были слезы...

После поездки маме стало резко хуже, и она попросила меня вызвать врача — в голосе ее все еще звучала какая-то надежда. Она даже сказала: «Пусть он меня вылечит...» Пришел врач — низенький, уставший от вызовов и приема больных человек, осмотрел маму, написал рецепт только на нембутал, попрощался, пожелал скорейшего выздоровления и вышел в прихожую. Я последовал за ним и обратился с немым вопросом, а он, уже стоя в дверях, спиной к выходу, только развел руками и ничего не сказал. Тогда я этого жеста, беспомощного и простого, не осознал, вошел в комнату и стал говорить маме, что доктор уверен: она поправится, хотя и не очень скоро, пусть только не утруждает себя ничем и пьет назначенное лекарство. Она ничего не ответила, но, скорее всего, не поверила мне и после этого посещения стала гаять. Дышала она с влажными всхлипами, рана стала совсем черной и пахла так резко и тошнотворно, что мы не смогли оставаться с ней в одной комнате и переехали, будто бы для ее покоя, в маленькую общую комнатку рядом с кухней. Только я оставался спать с нею, чтобы подать, если понадобится, лекарство или питье. Она ничего не ела — не могла — и пила только теплое молоко и теплый, обязательно жидкий кисель. Так продолжалось около месяца, и семнадцатого ноября, стоя у плиты в кухне и заваривая для нее кисель, я внезапно всем существом своим понял — впервые так ясно — что она вот-вот умрет. В кухне никого не было. Жена — на работе, дочка в садике. Я поставил кисель остывать, вошел в комнатушку, сел за стол и заплакал навзрыд. Через какое-то время успокоил себя, умылся и пошел кормить маму. А два дня спустя среди ночи я вдруг проснулся от непривычной тишины в комнате. Поначалу не мог понять, что произошло, зажег свет, подошел к маме и увидел, что она лежит на спине, глаза ее закрыты, и она не дышит. Лицо ее было спокойным — видимо, умерла она в нембуталовом сне. Летом ей исполнилось шестьдесят четыре года. У нее были прекрасные, чистые легкие, хорошее выносливое сердце, и прожить она могла бы до ста лет. Частица ее души переселилась в меня, и я, так же как она в день смерти отца, с сухими глазами и разрывающимся от горя сердцем делал все сам. Обзвонил родственников, оформил все документы, заказал похоронные принадлежности и автобус в крематорий — ведь она в один из последних дней наказала мне, чтобы ее кремировали. Когда все это осталось позади, я, почти тридцатилетний мужчина, вдруг почувствовал себя круглым сиротой и увидел, что между мной и неумолимым космосом нет никого, кто мог бы заслонить и спасти...

Жизнь моя без мамы покатила по наклонной. Семья развалилась как карточный домик, и я, оставив комнату со всем содержимым жене и дочке, начал скитаться. Жил где попало и часто — с кем попало, скудно питался, плохо одевался, начал много курить и порою выпивать. С намерением начать новую прочную жизнь находил что-то для души, но быстро разочаровывался и бросался на новые поиски. Чувствовал себя парусником, у которого в бурю сорваны паруса и полуман руль. Лечил душу только летом, когда можно было уехать на мамину дачу, и на скромные свои деньги (после помощи дочери оставалось рублей шестьдесят от моей стипендии, а потом — зарплаты) жил там, не тяготясь даже тяжелыми, длительными поездками в Москву — сна-

чала в аспирантуру (там изредка нужно было появляться и отмечаться, что ты есть и будто бы работаешь усиленно над диссертацией), а затем на службу в захудалом заочном институте, куда приходиться нужно было два раза в неделю. Долгие летние преподавательские отпуска целиком принадлежали мне, и я основательно переселялся на дачу и жил там сколько можно было. Понемногу я работал в саду и огороде, но, видимо, недостаточно, и все на моих глазах приходило в упадок без маминого заботливого внимания. Я надолго отрывался от мира: не слушал радио, не читал газет, и вечерами, сидя на крыльце террасы, курил и думал, думал, думал... и сердце мое разрывалось, и не с кем было поделиться. Я думал больше всего о маме, о ее жизни, о том, есть ли во мне что-то от нее, и не находил ответа. Я пытался, наконец, однозначно оценить жизнь, ею прожитую, и тоже не мог. Как-то в летнем вечернем сумраке я вдруг услышал пение неведомой птицы. Мне захотелось записать песню, но я не знал нот и не у кого было спросить. Осталось только впечатление — яркое и резкое — что песня была короткая, печальная, но светлая, как вся недолгая жизнь моей мамы...

Голицыно, 13—18 февраля 1989 года

Владимир Корнилов
РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА

СТАРИКИ

Старики никому не нужны,
Все они из эпохи минувшей,
Потому их сужденья смешны
Да и опыт их тоже ненужный...

Старики не нужны никому
Уж хотя бы постольку-поскольку
То, что было при них на кону,
Нынче вышвырнуто на помойку.

Никому не нужны старики,
Никакого нет в старости блага,
Всем она и везде не с руки...
Но однако, однако, однако...

1992

ПОД КАПЕЛЬНИЦЕЙ

Прелестный лирик Митя Сухарев
И он же — физиолог Сахаров,
В литературе — ставший ухарем,
В своей науке ставший знахарем.

Люблю твои стихотворения,
Где неосознанное создано,
Где бездна чувств и настроения,
Ума и юмора, и воздуха.

Что выше — слово или музыка?
Сегодня песен половодие,
А стих томится вроде узника
В роскошном карцере мелодии.

Один — свободным и услышанным —
Он должен жить во здравье нации...
А я твои четверостишия
Опять шепчу в реанимации.

1990

КОНТРАКТ

Помнишь, на нас наседала подруга,
Мол, мы с тобой заключили контракт?..
С мужем жилось ей тоскливо и туго...
И огрызался я: «Так-перетак!»

До фонаря мне любые контракты!
 Нету любви — значит, нету семьи...»
 Не понимая, что слишком бестактны
 Доводы эти — ее и мои.

А ведь бойка и красива, пожалуй!..
 И все равно ходоки и хлюсты
 Вскорости деру давали от шалой,
 От бесноватой ее красоты.

... Кончилась грешная жизнь — майна-вира!—
 И, взомнивши, что старость светла,
 Нас просветить и спасти норовила
 И не смогла, и себя не спасла...

... Неподалеку от Чуйского тракта,
 Там, где приближено небо к жилью,
 Запросто, без никакого контракта,
 Снова они воскресили семью.

На ветровом полудиком просторе,
 Где-то в ложине, меж скопища гор,
 Старости, страсти и астме на горе,
 Тот наш давнишний окончился спор.

1986

УНЫНЬЕ

Унынье — грех.
 И во грехе,
 Вдали от всех,
 Я, как в реке,

Плыву, тону,
 Иду ко дну...
 И тот же грех
 Возносит вверх.

Унынье — мрак,
 Веселье — свет.
 Все это так,
 Но все ж не след

С амвона всласть
 Унынье клясть.
 В нем тоже страсть,
 В нем тоже власть...

1992

ПАМЯТИ ВОЛОДИ ЛЕВИНА

Сотни две, а то и больше глаз
 Смотрят, как лежит Володя Левин...
 Это он сегодня в первый раз
 И в последний — не великолепен.

Далеко не всякий жизнелюб
Соберет у гроба многолюдье...
Через миг открыться должен люк
И уж больше ничего не будет...

Для чего же обратится в прах
Это пышное большое тело?
Продлеваться в детях и делах?
Ну, а если ни детей, ни дела?

Развеселый баловень Баку
Обыграть судьбу задумал в нарды
И, как будто крошки табаку,
Смахивал с груди своей инфаркты.

Вот и не оставил ничего,
Что, похоже, высшее искусство...
Потому что стало без него
Грустно и неизъяснимо пусто.

1980

В ПЕРЕРЫВЕ

Ничего не болело,
И, занятия лишен,
Я глядел обалдело,
Будто впрямь оглушен.

Так со старостью свыкся,
Что постиг лишь теперь:
Нет в ней Рима, нет сфинкса,
А лишь список потерь.

Но жена не сдавалась,
Понимала давно:
Пожалей себя малость —
И утянет на дно.

Тяжко было ей, бедной:
Пользы мало, увы,
От моей захребетной
И словесной любви.

... Взбаламучен, изверчен,
Я терзался: на кой
Самой лучшей из женщин
Взял достался такой?..

1993

НАПОСЛЕДОК

Век мой прожит, пропит, проеден,
Профершпилен и разбазарен.
Никогда не жалел, что беден,
Но зато всегда — что бездарен...

Эту муку я нес, как бремя,
Не просил от нее избавить.
Жаль, что старость плохое время,
Ничего в нем нельзя исправить.

Среди зноя дрожу, как в стуже,
Раньше срока готовлю сани.
... Ну, а те, что старались хуже,
Пусть в себе разберутся сами.

1992

ГЕДОНИСТ

Никакой не предвидя подлянки,
Он рванул по веленью души
Из Восточного сектора к янки,
Но сбиол на детекторе лжи.

Все двенадцать знавший языков,
Молодой выпускник МГУ
Потускнел среди подонков и психов,
И фортуны согнуло в дугу.

Значит, выйти из нашего мрака
Все равно, что сорваться с гвзздя...
А в Москве от внезапного рака
Мать скончалась полгода спустя.

... Отчего же я, не убежавший
Безнадёжно тупой моноглот,
По-сиротски взахлеб обожавший
И семью, и страну, и народ,

Не гулявший по белому свету,
Не изъездивший землю кругом,
С детства ведал, что радости нету
Ни в отечестве, ни за бугром?

... Вот он прибыл в Москву на побывку
Через тридцать с лихвою годов,
Но ни оптом, ни даже в разбивку,
Что случилось, понять не готов.

И ничто, кроме виски, доньше,
Как я вижу, не греет нутро
Гедониста, когда-то в Берлине
Улизнувшего через метро.

1993

ВЯЗ

В сербском селе, в утренний час,
В месяце октябре,
Я посадил крохотный вяз
На церковном дворе.

Вот бы взглянуть, как малец растет,
Ежели принялся...
Сколько стряслось за минувший год,
Пересказать нельзя!

Всё, что писал из другого дня,
Не ко двору сейчас.
Вот и останется от меня
Лишь безымянный вяз.

Что же над сербским возрастай селом,
Хворью неодолим,
Чтобы в последнем пути моем
Посохом стать моим.

1992

НА КОЛОННАДЕ

Силы у меня не то чтоб убыло,
Вовсе не осталось никакой
За минуты три, пока до купола
Лестницей вносился винтовой.

Неостановима жизнь — и всякое
Было прежде и случится впредь,
Но отныне с высоты Исакия
Мне на стогны града не глядеть.

... А весна уже взяла полгорода,
На Неве осталось мало льда,
И просторно и впервые холодно
От простого слова «никогда».

1993



Юрий Стефанов

ЩЕПОТКА СОБСТВЕННОЙ ПЛОТИ

Рассказ

— И чего ради стремиться в запредельные области? — хозяин поудобнее устроился в просторном ветхом кресле, правую ногу подогнул под себя, а левую вытянул. — Мне и здесь не дуется. И не наказание это, а по всей справедливости: Христос и Карма в данном пункте заодно. Представь, что тебе на старости лет предлагают перебраться в Израиль, но для этого нужно побегать по инстанциям, пообивать пороги, заполнить десятки всяких анкет и бланков, распродать кровное свое барахлишко, с которым ты сросся как рак-отшельник с любимой раковинкой, да еще распалить, настроить себя на внутреннее хотя бы родство с богоизбранным народом, даже вырастить воображаемое родословное древо, коренящееся где-нибудь в Витебске или Каунасе — и все это ради сомнительного удовольствия очутиться черт знает где, в какой-то — допустим — прекрасной, но совершенно чуждой тебе державе, с непривычным климатом, где все совсем другое — и люди, и земля, и небеса, и — чуть не ляпнул — сама преисподняя. А главное — совесть не позволяет. Мог бы и раньше решиться, пока силы не изошли, пока было что прихватить с собой в Землю Обетованную. Так и тут. — Он поморщился, потер левую ногу. — Шанс, вообще-то, есть, но я им пользоваться не то чтобы не могу, а не желаю. Никогда не был притким парнишкой, суётность по мне — едва ли не худшее из всех зол.

— Понятно, — кивнул я. — Ну, а чем вы тут, собственно, занимаетесь?

— Да ничем, в сущности. Все по-прежнему. Телевизор вот смотрим, куда денешься.

— И что здесь показывают? Вчера ты так и не включил, заболтались мы с тобой.

— Да в общем все то же. Программу «Время» показывают, «Клуб кинопутешественников», ну, что еще там? «Спокойной ночи, малыши». Разнообразия, можно сказать, никакого.

«Невероятно! — подумалось мне. — Ну хоть чем-то должна же здешняя тягомотина отличаться от нашей? Новые заголовки программ лень придумывать — это понятно, это еще туда-сюда. Но содержание как таковое? Но освещение фактов? Но дикторы, наконец? Неужели те же самые?» — и сказал вслух таким скучающим тоном:

— Кстати, а не врубить ли нам на пару минут твою волшебную шкатулку? Посмотрим, что в мире творится. Если ты, конечно, не против.

— Отчего же, — радушно отозвался хозяин, — я и сам с удовольствием погляжу. Как раз диснеевские мультики должны начаться. Любишь мультики? Я просто обожаю.

Он с трудом выпростался из утробы своего кресла, подошел, чуть прихрамывая, к допотопному ящику в левом углу комнаты, если смотреть от дверей. Раньше, когда мы еще жили в лубяных заячьих теремках, а не в ледяных лисьих норах, этот угол назывался «красный кут», там стояли на поперечном тягле иконы, ближе к ночи зажигалась лампадка.

Пощелкал клавишами и кнопками, побряхтел, похмыкал, но, как и следовало ожидать, все впустую. Поплясали на экране серебристые зигзаги, подергались взад-вперед стайки тусклых бликов — тем все и

кончилось. Световая стихия дрогнула, сбежалась в одну точку посреди пыльного зеленоватого стеклянного омота — и погасла. Словно прокрутили перед нами в обратную сторону простенький мультик о зарождении Вселенной.

— О-хо-хо, — вздохнул хозяин, — барахлит наша техника. Кофемолка вон тоже сломалась. И мясорубка электрическая. Может, оно и к лучшему. Молоть-то все равно нечего. — Он выдернул шнур со штепселем из розетки и заковылял к своему креслу. Мимоходом ласково провел ладонью по тулову огромного гриба-чаги, красовавшегося на крыше телевизора.

Роскошный берестовик, ну до того монументальный и декоративный, что никакой Генри Мур ему в подметки не годится. Наведываясь к старому другу на эту захолустную станцию, я всякий раз любовался и природной статью дивного березового лишая, и тем, как удачно выбрано для него пристанище. Красный угол — это само собой разумеется, это не без намека. Свято место не будет пусто. Но и телевизор тоже оказался при деле. Его полировка, хоть и потускневшая изрядно, подчеркивала и удваивала мощь бугристой губчатой туши. Вулканическим выростом, пульсирующим густком лавы вспучивалось это чудище из лакированной фанерной бездны. Вот так же — думалось мне иногда — восстанет в свой срок со дна морского какой-нибудь там материк Му, с громовым мычанием ломая хлипкий пласт земной коры. А порой берестовик в красном углу напоминал допотопного идола, изглоданного солью лиманов или тухлой кислотой торфяных болот, — и огнем-то его жгли, и в землю закапывали живьем, и, погрузив на плот из строевых сосен, вывозили куда поглубже и топили в сомовьем бочаге, а он постепенно, пядь за пядью, прорастал из приречного песочка, выплывал из русалочьей преисподней — и вот пророс, выплыл и навеки занял свой законный престол в левом, если смотреть от дверей, углу крупнопанельной ледяной норы. А в его шкуру влезть, его глазами поглядеть — место самое что ни на есть правое.

Скрипнуло хозяйское кресло, отвлекая меня от замысловатых сравнений и рискованных метафор. И донесся голос хозяина:

— Что же это мы, так и будем сидеть молча как два старых гриба? Рассказал бы чего. У вас-то что новенького?

Слегка вздрогнув от частичного совпадения его реплики с ходом моих мыслей, я ответил вопросом на вопрос:

— У нас, собственно, ничего... А вот вы-то как тут... — я замялся, подыскивая подходящее слово, окончательно запутался и в конце концов ограничился самым обыденным: — вы-то как... живете?

— Ох, ну и лексика у нас с тобой, господин литератор! «Окончательно... в конце концов...» Сплошь пустое место, кавказцы на базаре — и те занятней выражаются. А живем мы по-старому. Живем-поживаем. Я, можно сказать, на работу хожу. Ну, не всегда, конечно, а по мере сил и желаний. Сейчас вот напросился на курсы повышения квалификации. Далековато, правда. Два с половиной часа в один конец, ждешь не дождешься, когда кто-нибудь место уступит. Да не уступает никто.

— Послушай, но у тебя же, помнится, машина была. И водитель ты хоть куда. Чего же гробить себя в общественном транспорте? Денег на бензин жалко?

— Да не гроблю я себя, а, можно сказать, угробил уже. Помнишь ту аварию, — он поморщился, потирая левое бедро, — ну да, ту самую? Ты еще ко мне в больницу приезжал, в Выхино куда-то? Вот после этого я и зарекся братья за руль. На летающей тарелке и то, наверно, безопасней, жаль инопланетяне не приглашают. Обхожусь тем, что есть, как все простые смертные. Сначала электричка, потом метро с двумя пересадками, на десерт автобус, но четыре остановки

всего, пустяки. Однако два с половиной часа накручивается, и это, заметить, в один конец. Не хухры-мухры для такого старого мухомора, как я.

— А на кой тебе эти курсы? Ты ведь вроде свое отбарабанил, не поздно ли снова за парту садиться?

— Ну, это как сказать. Учиться всегда пригодится. У нас там такие курсисточки глазами постреливают, нашим с тобой матерям — царствие им небесное — ровесницы. А главное на этих курсах лекции по какой-то там экотерапии сердца читает... кто б ты думал? Мой собственный сын, ага, тот самый. Шустрый мальчик, не нам с тобой чета. До сорока еще ползти и ползти, а он уже и докторскую защитил, и с Чазовым за ручку, сегодня у него в Калифорнии симпозиум, завтра на Сейшелах конференция. Как же я мог не погреться в лучах такого тропического светила? Тянет иной раз на солнышко, сам-то я здесь, как видишь, плесенью оброс. Очень было любопытно послушать, что он там за ахинею несет. Пристроился я в последнем ряду, впитываю благотворные излучения. А потом шлю ему... ну как бы телепатическую записочку с каверзным вопросом и упоминаю, между прочим, один простенький, но эффективнейший препаратик, что был в ходу всего-то каких-нибудь лет пятнадцать назад. И что б ты думал, старик? Он даже названия такого не слышал. Доктор наук, с Чазовым за ручку. И это, как сказал бы поэт Пригов, мой единоутробный сын! О-хо-хо!

— Чем же ваш диспут закончился?

— Пообещал он порыться в справочниках, подзубрить, доложить... Нет, ну их всех сам знаешь куда. Не буду я больше на эти дурацкие курсы таскаться. У меня что, своих дел мало? Да может, поболее ихнего. А все любопытство проклятое: как-то он там, единоутробненький мой... Душа за него болит... А он ко мне и дорогу забыл. Хоть бы на Пасху когда собрался. Хотя понять можно — два с половиной часа в один конец. Сейшелы-то поближе будут. Эх, да что говорить!

— Ты успокойся, мой милый, ты мне лучше вот что скажи: как у тебя, вообще, со здоровьем-то? На сколько лет себя ощущаешь теперь? Есть ведь, кажется, такая штука — субъективное ощущение возраста?

— Каверзный вопрос и не совсем уместный, но ответить придется. Примерно так, как и всегда. То есть не чувствую себя помолодевшим или, там, силы прибавилось, а вполне, я бы сказал, сносно. Настолько сносно, что меня все эти проблемы даже перестали интересовать. Живу — и все тут, вот ведь какие пироги... Пироги с капустой... Кстати, пора бы нам перекусить, что же это мы все болтаем да болтаем. Пойду взгляну, что у нас в холодильнике творится.

Он зашаркал шлепанцами, направляясь на кухню, а я воспользовался передышкой в беседе, чтобы повнимательней оглядеться в давно знакомой комнате. Да, прав он, конечно: перемен никаких. Телевизор на тумбочке в красном углу, древний раздвижной диван, на котором столько раз стелили и мне, когда я, засидевшись в гостях, пропуская последнюю электричку, вырезанный из допотопного «Огонька» снимок Хемингуэя с бородой и трубкой, сервантик с коллекцией гжели — целое состояние по теперешним временам, а когда-то все это барахло копейки стоило и все мимо проходили, книжные полки с изданиями шестидесятых годов: тот же Хемингуэй в разных видах, да братья Стругацкие, да Бредбери... Этакий музейчик заносчиво-нищего совкового быта времен нашей молодости. Перемен никаких! А впрочем... Диван совсем расшатался, шторы вылиняли чуть ли не добела и местами расползлись, здоровяк Хемингуэй, напротив, как-то ссохся и потемнел, гжель эта знаменитая заросла пылью. Такое, в общем впечатление,

будто не в жилой комнате сидишь, а угодил в какую-то коробку, склеенную из огромных выцветших и заплесневелых фотографий. Вон и кактусы на подоконнике — предмет особой гордости и заботы хозяина — уже не дразнятся алыми язычками цветов: от них остались одни серые пепловидные лоскутья. И только могучий берестовик в красном углу держится молодцом и едва ли не продолжает обрастать новыми слоями губчатой, корявой плоти. . .

— Пусто в холодильнике, — слышалось у меня за спиной. — Уж ты, как говорится, не обессудь. Только и нашлось, что баночка грибов. Попробуешь наших мухоморчиков? Ведические жрецы варганили из них свою сому, викинги перед боем принимали, сибирские и американские шаманы не брезговали. У Бунина отличный есть рассказец про косарей, хлебающих мухоморное варево — оно им слаще курятины кажется.

Я невольно поежился:

— Ну и юморок у тебя. Нет уж, уволь. Я, конечно, в принципе не против мухоморов, но мало ли чего, радиация повышенная или нитраты не укладываются в допустимую норму. И галлюциноз от них.

— А я про что говорю? Телевизор сломался, новый при наших доходах не скоро купишь, а грибки эти и в самом деле похлеще любой электроники будут. Пожевал иной раз — и такое привидится, что и самому Хичкоку не снилось.

Я искоса взглянул на хозяина — он орудовал проржавевшей открывалкой, безжалостно сдирая с заветной банки жестяной скальп. С годами на его лице стало проступать что-то калмыцко-монгольское, все сильнее выпирали скулы, набухали веки, все откровенней шерились из-под редких усов желтоватые верблюжьи зубы. А когда он отпустил бороду, то и вовсе сделался похож на татарского хана, какими их преподносили нам когда-то в учебнике отечественной истории для пятого класса. Не хватало разве что малахая с лисьим хвостом да халата из синей дабы.

— Послушай, — сказал я, — а не осталось ли чего из той снеди, что я с собой прихватил? Там, помнится, и капуста была, и хлеба черного четвертушка и пара сырков плавленых? Неужели все вчера умяли за беседой о высоких материях?

— Ты же сам и налегал. Но кое-какие объедки налицо. Даже пол-бутылки водки не скисло за ночь, хотя это, как известно, продукт скоропортящийся. Мне-то вроде, ни к чему, я свое выпил, а тебе на опохмел в самый раз. Или ладно, плесни пальца на два, я вприглядку поучаствую.

Недопитая скляница «Российской» и впрямь красовалась перед самым моим носом. И потемневший по краю излома сырок в лохмотьях серебряной фольги. И надкусанный ломоть хлеба с тмином. Дары Цереры, добротная земная пища. Как же я все это раньше не заметил? На гриб засмотрелся, не иначе.

— А не разыграть ли нам эпизод из русской народной сказки «Морозко»? Не застудить ли маленько эту бедную падчерицу? — я кивнул на ополовиненную бутылку. — Мы не японцы, чтоб теплое хлебать.

— Спектакль отменяется, — с серьезным видом отозвался хозяин. — Мой холостяцкий «Морозко» приказал долго жить. Да и вся домашняя техника разладилась. Спасибо, хоть свет еще есть.

Он потянулся к выключателю и посреди потолка замерцал веселенький плафончик в виде шляпки мухомора. Когда-то такие простенькие осветительные приборы снотворными зонтиками Оле-Лукойе прорастали чуть ли не в каждой нишей хрущобе, навевая нам грезы о неминуемом светлом будущем. У меня, помнится, тоже был такой, только давно затерялся или разбился в разводах, разделах и пере-

ездах. А здесь, поди ж ты, уцелел. Но не многовато ли мухоморов на считанные метры жилплощади?

— Да не мухоморы это вовсе, — снова угадал мои мыслишки хозяин. — Обыкновенные опята, прямо у крыльца собираю. Закусывай, не стесняйся.

— А тебе ведь тут, наверно, голодно приходится. И купить ничего нэгде. Как ты эту проблему решаешь?

— Ну, не голоднее, чем вам сейчас. Хотя иной раз и вправду лязгаю зубами. Но ведь не все же меня забыли. То старушка какая-нибудь вспомнит, что я ее в свое время подлечил, то забулдыга из станционного буфета в затылке почешет, а то, глядишь, и ты обьявишься. Плохо в беспамятстве-то, самое последнее дело. И сынок вот даже на Пасху не навевывается.

— А что бывшая супруга? Не встречаетесь?

— Удивительное дело, ни разу ее не видел, ни во сне, ни наяву. Ну будто расселили нас по разным материкам. А ведь какая любовь была! И все, поверишь ли, прахом. Даже имя ее забыл.

— Да ладно тебе философствовать, чокнемся давай. За что бы такое выпить под сырок «Дружба»?

— Дружба? Тоже понятие сомнительное: либо рак на хвосте у лисы — помнишь такую сказку? — либо, на худой конец, та же лиса и журавель, только оба комедию ломают, делают вид, будто наелись досыта друг у друга в гостях. Я тут вообще во многом усомнился...

Я поднял взгляд на хозяина. Подогнув под себя правую ногу, а левую вытянув на истоптанный коврик, восседал он в своем кресле точным подобием какого-то монгольского божка: бугристый лоб над раскосыми глазками, крутые скулы, редкие поседевшие усы... Вот только никак не вспомнить имя... Помрачение какое-то...

— Ну, если не за дружбу, то хоть за память, — сдался я наконец. — Ты же сам говоришь, что беспамятство — последнее дело.

— За это я с удовольствием, но только нюхну, мне и духу винного теперь достаточно. А ты все-таки грибками закуси. — И он полез шепотью в свою банку, даже не потрудившись со мной чокнуться.

Пустьковая моя обида мигом захлебнулась в первой же рюмке, а вот отголосок побасенки про лисицу и журавля ну никак не желал последовать ее примеру. «Ты не пьешь — а я не буду закусывать, — подумалось мне. — Ни грибками, ни даже хлебом. Тогда мы будем на равных с тобой и твоим шаманским зельем».

— Да ты бы еще про свободу вспомнил, — усмехнулся старый доктор, отирая усы от грибной слизи.

— При чем тут свобода? — удивился я. — Мы же за память дерябнули, распределив роли в соответствии с нашими актерскими способностями: я пил, ты закусывал.

— Ну как при чем? Свобода, равенство, «будем на равных». Рисковый ты мужик, вот что я тебе скажу. Неужто не помнишь, до чего доигрались когда-то руссоисты под такими вот лозунгами? Сначала руссоисты, а вслед за ними и русопяты, или как мы там теперь зовемся — россияне, что ли?

— Российские руссоисты или руссоистские россияне, это нам все едино, — поддакнул я, решив ничему больше не удивляться. — А ты не гневайся. Обещаю больше не выползать за рамки моего привычного рачьего амплуа. Не журавля же мне, в самом деле, разыгрывать. Только постарайся не расшибить меня вдребезги о какую-нибудь чересчур реальную декорацию, размахивая лисьим хвостом.

— Постараюсь: друзья все-таки. Меня-то самого так в свое время шарашнуло о придорожный столбик, что я до сих пор не пойму, на сцене это все происходило или в реальной действительности? Более того: продолжаю ли я сейчас играть навязанную мне кем-то

роль или, наконец, выстрадал себе право не только выползти из актерской личины, но и сочинять роли для других?

— Вот это другой разговор, — обрадовался. — А то все какое-то взаимное мычание, «вообще» и «так сказать». Поведай мне о самом главном. Ну, разумеется, с твоей личной — или личинной — точки зрения.

— О самом главном? — задумался хозяин. — Да еще с моей личной точки зрения? А откуда ты взял, что я сохранился как личность? Помнишь, у тебя в «Новейшем соннике» есть очерченное «рассуждении с моралью», не вошедшее, кажется, в печатный текст? Там ты си-лишься доказать, что личность и вечность суть понятия, сопрягаемые только в страдательном залоге, причем, страдает, разумеется, личность. И приводишь в качестве доказательства сюжет сартровской пьесы «При закрытых дверях», где трое человек — две женщины и один мужчина — загремели в преисподнюю и оказались как бы в номере дешевенькой гостиницы с навеки запертой дверью: ни выйти оттуда, ни поменять себе компаньонов невозможно во веки вечные. Хоть милуйся друг с дружкой, хоть режь глотки, хоть сиди всю эту вечность буквой в углу — ничего не изменится. В аду нет ни смерти, ни надежды на перемену состояния. По Сартру, там вообще ничего нет, только «другие». «Ад — это другие» — помнишь формулировочку? Я даже теперь не понимаю, юмор у него такой или он и вправду был так неисправимо глуп. Сидит, небось, сейчас со своей Симоной де Бовуар на кушетке в этом самом номере и проклинает себя за им же самим напророченную участь. Вот смех-то!

— А как там на самом деле? — спросил я.

— Господи, да я тебе двадцать раз повторил: все по-прежнему. Без изменений. Только масштабы другие. Возможности другие. Способности другие. В этом смысле, уж ты мне поверь, Сартр и впрямь уго-дил в самую точку. Ну, возьми меня, чем я раньше занимался, на что тратил не бездонную вечность, а драгоценные годы, недели, миги? В полшестого будильник, электричка, метро с двумя пересадками, два с половиной часа в один конец, пятиминутка, анамнезы-эпикризы, забулдыгу несут на носилках, а верхнюю половину собственного черепа он бережно держит в руках, словно тибетский жрец ритуальную чашу, только и радости, что иной раз на дежурстве с медсестричкой переспичь, раз в год кармическая цепь ослабляется настолько, что ты, вместе с постылой женой, можешь докатиться на этих чертовых «жигулях» до какого-нибудь там Селигера и сделать вид, будто любишь за-гаженной церквушкой на другом берегу. И так всю жизнь. И телевизор этот с дурацкими «Кинопутешествиями». И все... И всегда... И вечно... — Он поперхнулся очередной щепотью опять, побагровел, погрозил кому-то кулаком.

— Успокойся, успокойся, старичок, дерябни водочки... Впрочем, я запаматовал...

— То-то и оно, а еще за память тосты поднимаешь... Прости, погорячился... Так о чем это бишь мы?

— О личности и вечности, кажется. — Я вылил в себя не то вто-рую, не то третью рюмку и заел маринованным опенком — это у меня как-то само собой получилось, по старой памяти. Вкусил-таки пищи мертвых.

— Осточертела мне эта тягомотина еще в земных кухонных разго-ворах. Я с тобой лучше поделюсь действительно важными соображе-ниями. Вернее сказать, впечатлениями, что ли. Не соображу, как бы верней тебя впечатлить, уж больно грибки забористые. Под забором у меня растут. И под крыльцом. И прямо на потолке.

— Это я обратил внимание, — кое-как выговорил я, — отличный мухомор. Светоносный и снотворный. У меня тоже такой был в юно-

сти. Смотри, смотри, как разрастается, сыплет во все стороны спорами, словно разбегающаяся вселенная. Это он у тебя вместо телевизора? Дай-ка еще грибок. Прямо пальцами? Ну, ладно, ладно, церемонии в сторону. . . А ты все-таки поведай о самом главном.

— Ты смеяться будешь. Я у себя в гараже кузницу оборудовал. Сырря навалом — не выбрасывать же разбитую машину? Вот я и стал поначалу вытачивать из обломков всякую дребедень, знаешь, как пэтэушники балуются. Дальше — больше, прямо руки зачесались. А может, всему причиной — сломанное бедро, ты ведь помнишь, что все великие кузнецы были хромыми, хоть скандинавского Вёлунда возьми, хоть того же Гефеста. Сомкнулась во мне какая-то, ты уж извини за выражение, психосоматическая цепь и вспомнил я, что истинное мое призвание — орудовать клещами и молотом. Теперь даже не представляю, как это меня в свое время занесло в медицину. Дело, конечно, хорошее, но кому жить хочется, тот и без нашей помощи оклемается, а кто сам в себе смерть лелеет, тому поперек дороги бесполезно становиться. Эхотерапия сердца, ха-ха-ха! С Чазовым за ручку! Сейшельские острова! Курсисточки с того света! Да я бы им сейчас такую лекцию прочел — у каждого вшивого кандидата моментально набралось бы материала на докторскую. Но не буду, потому что не только не оценят — не услышат. Не все же такие чуткие, как ты. И вот что еще надо учесть. . .

— Послушай, мы с тобой все-таки не в общежитии четвертинку на восьмерых распиваем, не отвлекайся. Про личность и вечность завел разговор — и не кончил, с мифологических ковачей на Сейшельские острова перескочил, нельзя же так. Ты по порядку.

Не разгневался мой старый друг за такую панибратскую тираду, — может, потому и не разгневался, что, вкусив пищи мертвых, я каким-то боком стал причастен ихнему царству. Ворон ворону глаз не выклюет. Протянул он мне последний грибок милостивой своей рукой, а сам от водки отказался. Глянул я на то место, где он сидел — и поплыло у меня перед глазами. Не понять, где друг юности, когдатошний поклонник Хемингуэя и прочей шестидесятной муры, а где только что маячивший за его спиной могучий гриб-чага. Срослись воедино, вулканическим выростом вспучились в красном углу и вот — восседает передо мной допотопный рогатый идол, изглоданный кислотой и солью времени, но — как ни странно — благосклонный и словоохотливый.

— О каком порядке ты, милый мой, говоришь? У вас там свои, а у нас свои. А про кузню могу рассказать. Побаловался я изготовлением хулиганских перышек, потянуло меня на серьезную работу. Посоветовался тут кое с кем — эх, знал бы ты, с кем я теперь дружбу вожу, — надоумили меня добрые. . . ну, скажем так. . . люди. . . хотя, сам понимаешь, человеческим духом тут и не пахнет. . . надоумили они меня отковывать из могильной моей колесницы небольшие слиточки и выдерживать их в болотной воде года по два, по три.

— Это еще зачем?

— А затем, что вся тленная, поюсторонняя природа металла в болоте ржавеет, растворяется, остается один изъеденный временем оглодок. Вроде меня самого. Зато сила в нем какая! Еще один секрет — органические присадки, важно только верную пропорцию соблюсти. Поскребешь изнутри по стенам салона, наберешь своей собственной плоти щепотку — и в тигель все это. Очень, скажу я тебе, неплохо кровь и плоть человеческая с железом сочетаются. Вступают, как ты любишь выражаться в своих дурацких статейках, в алхимический брак. А плод их союза тебе, с твоей фантазией, представить нетрудно. Помножь человека на железо, подкорми грибком болотным. . . Главное, никого не жалеть, все должно быть съедено, все подчистую. Ржа жрет железо, железо кусает человека, человек жует грибки под во-

дочку. Ощутить себя одновременно и жрецом, и жертвой, вот самое главное и в той, вашей жизни, и в этой, вечной. Ты, помнится, в самом начале разговора интересовался, не тянет ли меня куда выше, в ангельские сферы. И я тебе на примере приглашения в Страну Обетованную все популярно объяснил. А теперь вот еще что добавлю. Я в буквальном смысле слова закоренелый грешник, я всей своей грибницей так глубоко ушел в эту землю, окропленную, как ты помнишь, моей кровушкой, и так основательно в ней укоренился, что даже захоти я вырваться отсюда и вознестись в эмпирей — ни грибница, ни земля не пустят. Ты, кстати, отдаешь себе отчет в том, что сейчас перед тобой в грозном обличе...

— Эрлик-хана, владыки нижнего мира... — невольно вырвалось у меня.

— Правильно изволил заметить: в грозном обличе Эрлик-хана восседает перед тобой всего лишь верхушечная, показная ипостась моего загробного «я». Да срежьте меня сколько угодно с ваших берез и громоздите на телевизоры, топите в омутах и жгите в кострах, ставьте на посмешище всем в музейных залах — меня от этого не убудет. Подумаешь, какой-то там надземный вырост Великой Грибницы! Но нет такой силы во всех верхних мирах, будь то Христос, будь то Карма, чтобы выкорчевать саму преисподнюю. А пока она цела, и мне ничего не сделается.

— Дай мне знамение, Эрлик-хан, — взмолился я, — чтобы не забыл я твой урок и не стремился в области, для меня не предназначенные.

— Знамение ты получишь, — отвечал мне ковач плоти человеческой и ее поедатель, и ее врачеватель. — Закрой глаза.

Я сомкнул веки — и так хорошо, спокойно мне стало, будто я уже превратился в спору Великой Грибницы, в звено нерасторжимой цепи, поддерживающей испод мира. А когда раскрыл их, то увидел, что сижу на том же месте, у стола со вчерашними объедками, а напротив меня, в просторном старом кресле, подогнув под себя левую ногу и вытянув правую, восседает на фоне допотопного телевизора мой старый добрый друг и собутыльник. Могучее тулово березового гриба все так же вспучивается у него за спиной, чуть колышутся выцветшие занавески.

— И чего ради стремиться в эти самые области? — произнес он, словно продолжая прерванную тему. — Мне лично и здесь хорошо. Ну, продует иной раз сквозняком, или еще там что случится, но это же не смертельно. Не наказание, а так сказать, по справедливости. Вот в Израиль предлагают перебраться, да я как-то все не решаюсь.

— Понятно, — кивнул я, — Ну, а чем вы тут, собственно, занимаетесь?

— Да так, ничем. Все по-прежнему. Телевизор вот смотрим, куда денешься.

— И что же здесь показывают?

— Ну, в общем все то же, что и по московской программе. Программу «Время» показывают, ну, что там еще? «Спокойной ночи, малыши». Разнообразия, можно сказать, никакого.

— Слушай, а не врубить ли нам твой ящик? Посмотрим, что в мире делается.

— Я не против. Сейчас как раз диснеевские мультики должны начаться. Ты любишь мультики? Я просто обожаю.

Март — апрель, 1992

Сергей Костырко

ИЗ ШЛЯГЕРОВ ПРОШЛОГО ЛЕТА

Рассказ

В те — сегодня уже давние — семидесятые годы, когда время казалось остановившимся, а спектакль, в котором все мы участвовали, вечным, жил в Москве некий молодой человек. Был он холост. Имел высшее гуманитарное образование. И числился редактором на телевидении. То есть, с девяти утра до шести вечера сидел за столом, на котором стояла машинка и лежали «сценарии». В служебные обязанности молодого человека входило «редактирование»: исправление словосочетаний «трудовым подарком порадовали» на — «трудовым свершением отметили». В комнате были еще три стола, три машинки и три редактора. Располагалась комната на одиннадцатом этаже гигантского куба телецентра. В окне — вид на кирпичные дома и железную дорогу. Перекуры — в конце коридора. Кофе — этажом ниже. А для души — друзья: втроем—вчетвером в тесной кухоньке, бубнящий Высоцкий или Галичем магнитофон, последняя, уже полупустая бутылка; «А Монтеня достал? — Нет. Купил Кортасара в «мастерах». — А Окуджаву? — У меня есть в журналах... — диссидуха... Максимов... Бродский... экзистенциализм... плейер... Вайда... Архипелаг... стукачи...». На черном стекле сквозь раздвоенные пятна рубах и разоренный стол просвечивают торчащий из снега фонарь, и дальше — стылый морозный город, красные огоньки редких автобусов, на которых добираться до метро, тащиться в Свиблово, заводить будильник на полседьмого, чтобы утром снова: душ, метро, пропуск — милиционеру, стол, машинка, тексты, перекур в нише: «Как наши сыграли? Монтеня достал?»

Жизнь текла спокойная, накатанная; даже черные волосы молодого человека и характерная горбинка носа при вполне русской фамилии как будто не осложняли ее.

И тем не менее...

Рассказывают, что одно время ему не давала покоя биографическая справка из «Истории американской литературы»: человек, издавший два романа, имевших успех, вдруг бросил все, уехал в Индию, прожил три года в буддийском монастыре, потом объявился в Гонконге, женился на китайке, основал религиозную секту, и так далее и тому подобное. Отсюда, из-за стола с машинкой: господи! какая там китайка? какой монастырь? Он рассматривал журналы с видами их городов, и даже сквозь рекламный глянец шибало здоровье, уверенность и самоуважение, с которым строились дома, каналы, площади там. Какое может быть сравнение с тем, что здесь, — с наспех слепленными из некомплектных блоков фабриками, складами, заборами. И несмотря на изощренность студийных телеоператоров, пытающихся удержать на экране хоть какую-то респектабельность отечественной архитектуры, все наше, родное било в глаза истерическим напряжением мускулов, непривычных к нормальной работе, включенных в последнюю минуту, чтобы хоть как-то, да — успеть, построить, хоть как-то, да — выжить; бревном подпереть, чтоб не завалилось, и дальше, дальше, быстрее и быстрее — рекорды ставить, космос завоевывать, из последних сил, из последних жил, чтобы казаться (куда там — быть?! Казаться!) «на уровне!»

...А на тебе румынский кожаный пиджак, польская водолазка, итальянские туфли; и это не одежда, — это униформа, знак причастности к цивилизации, бездарный театр. Ибо на самом-то деле, твое — это пятнадцатирублевые брюки и ватник из магазина «Рабочая одежда». Кожаный пиджак и джинсы ты полтора месяца отработываешь на шабашке в алтайском совхозе.

Да, разумеется, слова «студия», «редактор» есть и у них. Но попробуй объяснить им смысл того, чем ты должен заниматься на своей студии! Ты и профессию свою носишь, как двухсотрублевые джинсы при зарплате в сто пятьдесят.

Ты живешь в стране ряженных. И сам ты — ряженный.

Но все это только тлело в нашем герое. Он, при всей своей склонности к рефлексии, был человеком достаточно моторным: и «редактировал», и на съемки с группой выезжал, и пару призов на всесоюзных фотовыставках получил. Короче, жил. Жил, «не возникая». Жил, как все.

И никакого внешнего толчка не было, — ни тяжкого оскорбления, ни сложностей на работе, ни запутанных семейных обстоятельств. Просто однажды ему померещилось, что на самом-то деле все гораздо проще, что между там и здесь нет бездонных пропастей, непроходимых лесов, нет перегораживающих небо горных гряд. То есть, все просто: ты уложил вещи, затянул ремни на чемоданах, спустился в метро, доехал до станции «Динамо», встал в короткую очередь на маршрутку — можно еще будет отскочить к киоску, прикупить напоследок сигарет, — а из маршрутки потом пересел в «Икарус» с надписью «Шереметьево». «Икарус» подвезет тебя к зданию аэропорта, останется только войти, предъявить вещи, получить штамп на документах и — все. Все! Ты уже там!

Когда весь этот бред впервые пронесся в его сознании, он усмехнулся: ну, конечно!.. Но бред возвращался то жаром, то холодом.

Через год он подал бумаги в ОВИР.

То, что произошло с ним после этого буквально за месяцы, а может и недели, происходило со многими. Мы помним, как это бывало: оживали глаза, появлялись и крепили новые интонации в голосе, менялась даже походка. Уже неважным было то, что ждет его там. Вполне возможно, что ничего похожего на его ожидания. Важное происходило здесь, собственно, уже произошло — о с в о б о ж д е н и е!

Наша история начинается отсюда. Начинается с любви, которая обрушилась на молодого человека как раз в те дни. Он даже не успел осознать, как и когда это произошло. Все как будто подчинялось его желаниям, и он впервые в жизни перестал ежиться при удачах: ее ответную любовь принял как должное.

Нависший над ними скорый его отъезд не мешал им. Напротив. Отсчет жизни — яркой, плотной, горячей, — шел уже на дни, на часы.

А заводиться с бумагами, с загсами, переоформлениями, овирами? Провались оно пропадом! И так ясно, что она поедет за ним. Свершилось главное, остальное — технические подробности!

Давно ожидаемое разрешение на выезд пришло неожиданно.

Еще три недели, проведенные в предотъездной горячке, самый напряженный момент его жизни, и, наконец, вот оно — стремительное скольжение по асфальту к стеклянному коробку Шереметьева на горизонте; мимо березняков, мимо полей с развороченной землей, мимо советских аляповатых рекламных щитов на разделительной полосе; а

справа, за полями, вдруг — комом у горла — вид вертикальных дымов над деревенскими домами: уже началась осень, утро, ясное чистое небо, холодное солнце, стеснение в груди.

Она сидит рядом, сидит, прижавшись к нему, и видит она только широкую ленту асфальта, которую медленно засасывает капот машины, видит надвигающуюся на них громаду Шереметьева, и это их последние минуты, секунды вдвоем, вместе.

Дальше — те самые хлопоты: таможенный досмотр, отметки в документах, бьет озноб нетерпения — еще раз исхитриться выскочить за двери в зал, еще раз обнять, еще раз поцеловать. И вот теперь уже все, — сбившись в кучку, они, отъезжающие, шаг за шагом поднимаются по лестнице друг за другом, там, наверху, будет еще площадка с которой видно. Сначала — стеклянную стену, за ней — площадь, заставленную «Жигулями» и «Волгами», и еще две ступени, и за деревянным барьерчиком внизу открывается зал и группки людей с поднятыми головами: мать, поддерживаемая двоюродным дядькой, друзья, и чуть в сторонке — она...

Гул моечной машины, которую толкает женщина в черном халате, последнее, что он видит и слышит на родине.

Теперь — налево, в распахнутую дверь, в рев и грохот прогреваемых двигатели самолетов...

Непомерной силы махина оторвала его от земли, выдрала из того, что было его жизнью, и уносит в никуда. Но пока он защищен пристальным вниманием оставшихся внизу друзей; защищен памятью рук, не остывших от рукопожатий, губ, ощущающих холодок мокрой щеки; еще звучат их голоса, еще видит он жест, которым отбрасывали они недокурные сигареты в урну у входа в аэровокзал, еще нога чувствует твердость шереметьевского бетона.

Память эта отключится разом, как только обозначится сквозь набирающие скорость рваные облачка кропотливо составленный чертеж чужого города...

Легенда гласит, что чуть ли ни в аэропорту Вены его уже ждала шикарная машина троюродного дядюшки — мясного воротилы из французского города Тур. И потому — никакой ни Израиль, и ни США, а выпал ему — Париж и стажировка на студии рекламного ТВ, обслуживающего провинциальные универмаги.

Первые письма из Парижа писались сами. Он с трудом останавливал себя. Он писал, что страшно устает и что «жутко рад» этой своей жизни, которую называл «конкретной жизнью». То есть «ни минуты свободной», «ни минуты» — это буквально. Никаких метаний, сомнений, рефлексии — такие вещи здесь не по карману. Нужно заново учить язык, собственную профессию, рекламу, телевидение, страну.

Потом письма стали более деловыми и короткими. Телефонные звонки — тоже.

Год он прожил как бы в некоей эйфории — плотно, ярко, без снов. Жизнь начала успокаиваться и отстаиваться в нем года через полтора. Он уже снял свои первые рекламные клипы. Появились, пусть немного, но все-таки, — новые друзья. Удалось поездить по стране, и были уже города, где он побывал дважды, и вокзалы их казались старыми знакомыми, и останавливался он в знакомых отелях. Он научился спокойно смотреть на витрины магазинов. И наконец-то более или менее свободно заговорил по-французски.

Начиналась жизнь. И он был готов к ней.

Он был готов к ней еще по одной причине. Хотя причина эта, казалось бы, предполагала как раз противоположное: через восемь месяцев после отъезда он узнал, что у них в Москве родилась дочь. И что рождение дочери отодвигает ее предотъездные хлопоты. На неопределенное время отодвигает. Это, пожалуй, единственное, что осознал он по-настоящему. Нет, конечно же, было некое стеснение в груди — дочь! — даже умиление было, но и — некоторое смущение, более того, чуть ли ни досада: не вовремя!

Потом затруднились разговоры по телефону. В том, как выслушивались его новости, он почувствовал, не равнодушие, еще нет, но уже наметившуюся отстраненность.

Она по-прежнему радовалась его звонкам, искренне радовалась, но на самом-то деле — он чувствовал это — ее волновало сейчас только одно — ее дочь. Она говорила: моя дочь. Его как бы и не было. Вернее, он был, но — на правах одного из допущенных к ее радости. Привыкать к этому было тяжело. Особенно в первые месяцы. А потом появилось новое чувство, к которому он, поначалу чуть ли ни укрдкой, стыдясь и прячась от самого себя, стал приноравливаться, — чувство, похожее на облегчение: что делать? Так сложилось. Вернее, складывается. И не надо ни во что вмешиваться. Видимо, так и должно быть.

И вот такого — уверенного в себе, полного сил, планов, почти уже свободного — его и настигло...

Приснился сон. Желтая, подсвеченная заходящим солнцем улица за витринным стеклом. Перерыв на съемках, он сидит на стульчике возле витрины: красиво, очень красиво, даже с некоторым перебором в эффектах желтого света, — слишком уж он плотен, и отчего-то тяжел, отчего-то беспокоен. Давит какая-то мысль, непойманная, неоформленная, но очень важная... Что-то он забыл.

И там, во сне он снова напрягается, он повторяет: съемки, перерыв, стекло, улица... Что еще? И вспоминает: встреча. Они договаривались на сегодня, на полседьмого в зале метро Кропоткинская. А уже давно вечер, он — здесь, на стульчике перед желтой улицей, и нигде не видно часов.

... он идет по коридору, бледно-желтые стены отсвечивают каменной крошкой, непонятно, откуда свет — ни окон, ни ламп — бесконечная кишка коридора, похоже на подземные переходы в больничных городках, и он осторожно, как бы со стороны, как бы издали пытается вспомнить: и все-таки — состоялась встреча или нет?

... длинный стол, полужнакомые люди; приятные люди и приятное застолье, он прихлебывает вино — до чего же гнусный, закисший вкус, сводит челюсти, — перегнувшись через спинку стула, он бездумно спрашивает у официанта, который час, и снова — боль: Господи, да что же это такое?! Она же давно там, в метро!

... страшно медленно тянутся машины впереди, справа, слева. Вместе со всеми он трогается с места, проползает метров десять в узком коридорчике и снова жмет на тормоз; а справа над шоссе железнодорожная насыпь, платформа, и он видит часы: 18.21. Можно еще успеть. Немного опоздать, но успеть. Нужно только пересечь на электричку, нужно взбежать по лестнице — сыпятся вниз ступеньки — скорей, скорей, — платформа, тормозит электричка, раскрываются двери, колотится сердце — скорей, скорей, из окна электрички виден

неподвижный поток машин. Поток оживает, и он послушно ставит ногу на педаль, — еще десяток метров, тормоза, неподвижность, по-прежнему, наверху платформа, 18.23 — не успеть; не думать об этом, но он выскакивает из машины, он взбегаёт по лестнице к подходящей электричке, к раскрывающимся дверям, он — в вагоне, электричка трогается. Куда?!

... так и не дождавшись ответа официанта, а может, тут же забыв ответ, он откидывается на спинку стула, берет высокий стакан с вином — до чего же отвратительный вкус, он должен был помнить об этом...

И так бесконечно.

... вдруг он обнаруживает себя входящим в метро. И это именно «Кропоткинская», он входит со стороны бассейна. Входит, вспомнив, что когда-то у них была назначена здесь встреча. Время безнадежно ушло, и он почти спокоен. Он спускается в полутемный зал. На платформе и рельсах свалены бревна, доски, мотки проволоки. Стоят огромные козлы и что-то еще, громоздкое, затянутое брезентом. Он очень хорошо видит этот брезент, покрытый давней, слезавшейся пылью; сквозь пыль проступают пятна пролившегося когда-то сверху раствора извести. С потолка свисают мохнатые нити — паутина? мох? .. А вдали, в центре зала — тяжелая дубовая скамья, и на скамье — сразу он не увидел этого, не ожидал увидеть — на скамье сидит она. Неподвижно, настороженно. Он открывает рот, чтобы окликнуть, но горло перехватывает. Он торопится к ней, он пробирается через завалы строительного мусора и видит, как медленно, очень медленно поворачивает она голову. Он пришел. Она дождалась. Но вместо облегчения — Господи, какая тяжесть на сердце. Какая боль! Совсем близко ее глаза, сухие после давних слез. Взгляд их почти спокойный, усталый, прощающий. Он касается губами ее лба, щек... Но ему все это только кажется. Он еще не успел подойти, он еще на полпути к ней. Она встает навстречу легким сильным движением — он уже успел позабыть его, и оно холодком отдается в груди: Наконец-то! И опять, теперь уже наяву — ее губы, щеки, волосы, закрытые глаза, ее руки; она что-то говорит, быстро, горячо, нежно — да, да, да, отвечает он и плачет...

С тем и проснулся. Под щекой на подушке мокро. За шторой — серое мартовское утро.

Он едет в машине по безлюдным — тоже как будто оглушенным — улицам пригорода и пытается нащупать в сознании границу, отделяющую сон от яви. Автоматически давит на педаль, переводит взгляд на светофор и вдруг отчетливо вспоминает, что она все-таки улыбнулась, вставая, и что было в этой улыбке? Горечь? Радость? Жалоба? Его машина вклинивается в поток машин, ее обтекают витрины, перекрестки, площади, и так же явственно, как слышит он урчание мотора, звучит ее голос из сна, только слов не разобрать.

Он привычно хлопает дверцей на стоянке возле студии, поднимается в лифте, наклоняется поцеловать юную алжирку, которую снимает в своих роликах и с которой живет, и вдруг непроизвольно сжимает взгляд в сторону.

Но нет ее здесь.

Тем же вечером он говорит с ней по телефону, но голос из трубки ничем не напоминает тот, ночной. Он слышит радость от неожиданного звонка; очень, очень кстати, в Москву возвращается сослуживец ее подруги, с ним можно что-нибудь передать; хорошо бы комбинезончик, мы ведь скоро ножками будем гулять; нет, ты представляешь?!

И через несколько дней, уже спокойный, заснувший рядом со своей алжиркой, он снова был с ней, всю ночь — с ее взглядом, голосом, улыбкой. . .

Так начиналось.

Устанавливая свет, поворачивая алжирку перед камерой, он ловил себя на том, что ищет в смуглом удлинённом лице совсем другие черты.

По вечерам же, в одиночестве, в пустой квартирке, он все оттягивал и оттягивал момент, когда нужно будет лечь в постель.

Он провел несколько тяжелых, угарных дней, увидев новую секретаршу шефа — совершенно та же медленная тихая улыбка, тот же взгляд, тот же плавный жест, отбрасывающий за плечи тяжелые волосы. У него появилось множество поводов по нескольку раз в день появляться у шефа, и, лишь натолкнувшись наконец, на прямой вопрошающий взгляд секретарши, он перестал сюда ходить.

И все равно, утром, поставив машину на стоянке, он медлил выходить, чтобы дожидаться, когда проплывет мимо за стеклом маленькой спортивной машины знакомый профиль. Как откинется вверх дверца, и опустятся на асфальт ноги, появятся голова и плечи, завешенные темной волной волос, как выпрямится она во весь рост: и хорошо, что стоит вполборота, что не видно лица и ничто не мешает ему; рука с ремешком сумки взлетает на плечо, с чавкающим звуком срабатывают замки опустившийся дверцы, и остается последнее — ее проход через открытое пространство к дверям студии. Все, день начался.

Заканчивался апрель. Весна, думал он, кончатся дожди, туманы, будут натурные съемки, солнце, поездки — и все пройдет.

Пришло лето — легче не стало.

Усилием воли он должен был удерживать голову, готовую повернуться за чужой женщиной со знакомым наклоном шеи, походкой, жестом.

Иногда ему становилось жутко: он чувствовал себя полностью бесильным перед тем, что происходило с ним.

Он стал звонить домой чуть ли не каждую неделю, и напрасно. Тот ритм, что установился у них — раз в месяц — был оптимальным. Разговор провисал в неловких паузах.

Первый раз он сорвался в середине июня.

Получив деньги от нескольких провинциальных универмагов, он медленно тащился в машине по улице, и увидел витрину Аэрофлота — его как будто толкнули в спину — остановился, вошел в помещение и купил билет на субботний рейс.*

Через два дня он летел в самолете. Он увидел сверху поля, дороги, жиденькие сквозные лесочки, крыши деревень, водонапорную башню. Увидел слово «Москва» на здании аэропорта.

* Все «заграничные» и «технологические» подробности этой истории знающему человеку покажутся, очевидно, невероятными. И так оно, наверно, и есть. Автор никогда в жизни не был в ОБИРе, никогда не проходил сквозь те двери Шереметьева. Автор, большой любитель поп-музыки, выслушал когда-то, а потом записал эту историю как очередной шлягер. Ну а в шлягере всегда все правда. (Примеч. автора).

Администрация отправила его назад ближайшим рейсом.

В следующий раз он подлетал к Москве через две с половиной недели. В аэропорту разговаривали с ним по-прежнему вежливо. Он просил разрешения позвонить по городскому телефону, чтоб хотя бы издали, хотя бы через стекло, но наяву увидеть ее. К телефону его не подпустили. Назад он возвращался в каком-то транспортном самолете.

В Москве о его срывах не знали.

До конца лета он изнурял себя работой и осторожно наводил справки о практикующих психоаналитиках. Он был уже готов к встрече с врачом, как снова оказался пассажиром самолета, следующим рейсом на Москву. В Шереметьево его помнили. Его усадили в самолет, вылетающий в Дели. Это было самым тяжелым. Пришлось связываться со студией, что-то объяснять. Он услышал голос секретарши. На исходе четвертых суток, вымотанный до предела, он заснул мертвым сном в самолете, летевшем в Париж. В аэропорту он увидел знакомую машину. Выяснить ситуацию было поручено секретарше. И он ехал в машине рядом с ее подобием, потом сидел в кафе и, мгновенно опьянев, путаясь в словах, пытался хоть что-то объяснить бесконечной чужой и странно родной сейчас женщине. Утром, проснувшись в ее квартире, он долго стоял под душем, сдерживаясь, чтобы не завывать от омерзения — до чего похожи! Она же с откровенным, как казалось ему, любопытством наблюдала за ним, наблюдала как за непонятым, наверно, но восхитительным животным. Он даже не попытался представить, что на самом деле могла чувствовать эта женщина.

Ее попытки как-то продлить экзотическую связь он пресек сразу же.

На студии его положение как будто не пошатнулось. На его ролики шли заказы, он исправно получал свои франки, администрация делала вид, что ничего не было. Он удержался.

Заболела девочка в Москве. Вообще-то ничего серьезного. Но голос по телефону стал совсем чужим — она не слышала его, она слышала сейчас только свой страх. Он смотрел на фото, стоящее возле телефона, и никак не мог понять, какое отношение к ним имеет это крохотное сморщенное личико и розовый ворох пеленок и кружев.

Он начал приспособливаться к своей болезни. Иногда неделями он был ровен и спокоен. Но — не обольщался, он знал, что неподвластная ему сила только затаилась.

В конце ноября, под вечер, уже в сумерках он шел по узкой улице в своем квартале и вдруг, как потом рассказывал, услышал голос: пароход! Пароходы ходят в Россию. Что-то из детства, из рассказов Житкова — матросы прячут контрабандного пассажира. Он шагнул навстречу такси и поднял руку. Через двадцать минут он был на вокзале, а утром в такси города Бордо объезжал территорию порта. Скорее интуицией, чем рассудком угадав предотъездную суету, он попросил остановиться у советского сухогруза. Матрос у трапа не обратил внимания на очередного фирмача, деловой пробежкой проскочившего на палубу. Фирмач шел мимо матросов, мимо гражданских и флотских, слышал свободную русскую речь, подтверждавшую, что да, судно возвращается в Союз. Он нашел возможность спуститься в складской ангар трюма. Затеряться в нем было просто. Несколько часов он просидел в щели между контейнерами в ожидании топота и голосов. Но было спокойно.

Его не искали. Потом наверху залязгало и стало темно. Трюм задраили. Две лампы под потолком ничего не освещали. Он успокоился и заснул. Проснулся от дрожи и ровного гула — судно отходило.

Несколько суток — он сбился со счета, сколько, — раскачивался он вместе с судном и грузом, жестоко страдая от жажды. Сделанных запасов оказалось явно недостаточно. Наступил момент, когда он был уже готов обнаружить свое присутствие. И тут почувствовал сбой в работе двигателей.

Еще через сутки заскрежетало наверху железо, открылось серое небо и в трюме закружились снежинки.

Когда, уже глубокой ночью, в лицо ударил свет пограничного фанаря и прогрохотало: «Не двигаться!», первое что выкрикнуло в нем очнувшееся от сонной одури сознание: НЕ СУДЬБА! И он рванулся, он сбил кого-то с ног, он долго и яростно отбивался, выл и скрипел зубами, когда тащили его наверх, на палубу. А потом сразу же сник. Долго ждали специального катера. Потом стояли на трапе. Кто-то накинул ему на плечи ватник. С катера, огибающего суда на рейде, он прочитал название порта — Вентспилс.

Его судили, дали два года. Но вместо приготовленного воображением тюремного ада потекла монотонная, аскетичная, но в общем-то терпимая жизнь. Он содержался в Мордовии, в лагере для иностранных подданных.

Эти два года были серым неподвижным стоянием. Бессмысленным. Четырежды он получал свидания. И все четыре — с матерью. Ее он так и не увидел. Мать привозила ее письма. Она много писала о дочери и почти ничего о себе, о нем. Очень непонятно — об их будущем.

Собственное равнодушие к этому он приписывал общему оупению, с которым тянулись бесконечные недели, месяцы.

И через два года, переступив через порог проходной на волю, и узнав все, он остался практически спокоен. Мать сказала: не жди ее, она не приедет. Она замужем. Уже больше года.

Власти предложили на выбор — уехать или подавать документы с просьбой о советском гражданстве. Он решил не подавать и не выезжать. Он еще надеялся.

Ему разрешили прописку в небольшом райцентре Калининской области без права выезда. Выделили однокомнатную квартиру в панельном доме. Трудоустроили: бойлерная на новеньком хлебозаводе, сутки полного одиночества в теплом парном подвале при манометрах, трое суток — дома. Комната, транзистор, испуганное «Здрасте» соседей по площадке, маршрут в магазин, в библиотеку, где пожилая женщина торопливо отвечает на его вопросы, не поднимая глаз; прогулка на вокзал к газетному киоску, в который по распоряжению свыше доставлялись для него номера «Юманитэ». Единственным человеком, с которым он мог общаться в городе, был сотрудник районного ГБ. Раз в неделю Сотрудник «случайно» сталкивался с ним где-нибудь на улице и заводил необязательный разговор, про то, как ему работается, не мешают ли соседи, встал ли на учет в поликлинике. Ну и еще немного про то, сколько стоят во Франции мужские ботинки и костюмы, что французы едят и как борются с проституцией. Нормальные разговоры.

По ночам городок накрывался стоном и грохотом проносящихся через него поездов.

Дни шли такие же неподвижные и тяжелые. Он прислушивался к себе. Ничего. Тупая боль, даже не боль — скука.

Первые две недели у него жила мать. Устраивала быт. С ней он передал письма в Москву.

Приезжали друзья. Он пытался вникнуть в их рассказы про русофилов и прогрессистов, про Брежнева и Андропова и не мог. Скучно. Как будто из другой Москвы приехали. «А как теперь с отъездами?» — «Нормально. Отъезжают. Но гораздо меньше». — «Прикрыли?» — «Отчасти. Но не только. . . Ты радио слушаешь здесь?» — «Да. Но там мало интересного». И снова разговоры про статью в «Литературке», про каких-то «спартаковцев», панков, пацифистов, снова вечное: «Мифы достал?» — «Нет. Но зато купил двухтомник Стриндберга». . . Господи, тоска какая!

Первые два месяца писем от нее не было. Сам он несколько раз садился за письмо, но слова не шли.

Тянулась зима. Он часами лежал на тахте, глядя в окно на мутное небо, переводил взгляд на выключенный телевизор. Не было сил дотянуться, включить. . . Вот теперь бы к психоаналитику.

Но он делал усилия. Однажды, возвращаясь из бойлерной, он зашел на переговорный и заказал Москву. На том конце провода сказали, что у нее теперь другой телефон, она переехала к мужу. Что передать? — «Передайте, что я еще здесь. В России. Что хочу ее увидеть». — «Зачем?» Он не смог ответить. Повесил трубку.

Через неделю пришло письмо. Она писала: «Не мучь меня. Я за мужем. Я люблю своего мужа. Требуй от меня все, что хочешь, я все сделаю. Не требуй только того, что у меня нет. Пойми, если можешь». И в конце: «Я давно решила навестить тебя. Поверь, ты дорог мне. Именно поэтому мне трудно это сделать. Прошу, не думай обо мне плохо».

Он стоял с прочитанным письмом возле окна, смотрел на голые мокрые кусты, на тропинку в просевших сугробах, на дырявый забор стадиончика «Локомотив» и поймал себя на том, что с интересом и сочувствием наблюдает за полной, опрятно одетой женщиной, которая пытается протолкнуть сквозь пролом в заборе растрепанного, хмельного мужика, видимо, мужа, обнаруженного ею на стадионе в сугубо мужской компании. Пьяный вяло сопротивлялся, хватаясь то одной, то другой рукой за доски, и, наконец, у женщины кончилось терпение, она поддала его сзади плечом, и мужичок вылетел наружу, и еще смог пробежать несколько шагов на подламывающихся ногах, прежде чем распластаться на грязном снегу. Теперь женщина заботливо отряхивала его пальто. . .

О ее приезде он узнал от Сотрудника. Тот зашел вечером, предложил партию в шахматы и, расставляя фигуры, обронил: «Приехала твоя московская знакомая. С мужем и дочкой. Красный «Москвич». Остановились в гостинице. Очень прошу — без эксцессов».

Утром он стоял за углом «Хозтоваров» и наблюдал, как худой бородатый парень возится у машины, как подходит к нему молодая женщина с девочкой, и все они, втроем идут через площадь к кафе. Она мало изменилась, подумал он, разве чуть пополнела.

Единственным сильным чувством, которое пережил он, был взрыв ярости, когда оглянувшись, он увидел сзади черную «Волгу», а в ней за раскрытой газетой — Сотрудника.

В полдень позвонили в дверь. «Вот и мы, — сказала она, пропуская впереди себя дочку. — Здравствуй!» — «Здравствуй. Проходи. Очень рад». — «Я тоже». Он увидел осунувшееся лицо, потемневшие подглазья, услышал напряженный, неестественно оживленный голос.

(«Что же ты вчера не зашла?» — «Откуда ты знаешь, что мы вчера приехали?» — «Провинция»). Внизу под окнами стоял красный «Москвич». Где-то за домом, он не видел, где, но точно знал, — где-то там за домом стоит черная «Волга», а Сотрудник сидит сейчас у соседа за стенкой и ловит каждый звук из его квартиры. («Как доехали?» — «Нормально. Мы собрались в Ленинград, и решили сделать небольшой крюк к тебе». — «Ну не такой уж и небольшой»). Перед ним сидела молодая красивая женщина, у которой муж, дочь, у которой своя жизнь, и женщине сейчас очень плохо. («Может чаю? Я тут приготовил». — «Чуть позже. Мы недавно завтракали»). Он помнит все, от слова до слова, из того, что говорил сотни раз, обращаясь к стенам этой квартиры. Но какое отношение заготовленные слова имеют к ней, к этой вот полужнакомой женщине, делающей усилие, чтобы улыбнуться ему. Она-то здесь при чем? . . . Как и он. («Ну что, подросла?» — «Еще бы! Совсем уже девочка». «И на тебя похожа». — «Да, но и на тебя тоже. Глаза, нос». — «Нет, глаза у нее будут твои»). Недоумение и, пожалуй, стыд — вот что он сейчас чувствовал. «Можно ее шоколадом угостить?»

— Подожди, — сказала она и перевела дыхание. — Сядь. . . Я послала тебе письмо, но в письме всего не скажешь. Давай поговорим о нас. . .

Пауза.

— Не надо, — сказал он. — Позови мужа. Чего ему там в машине сидеть.

Вечером, при расставании она не выдержала и заплакала. «Ничего, это ничего, не обращайтесь внимания, — говорила она, вытирая тушь со щеки, — ничего. Поцелуй дочь. Если что надо будет, звони нам».

Они уехали.

Уже через неделю он жил так, будто никакой встречи и не было. Мгновенно пролетали неразличимые — один к одному — дни — тахта, выключенный телевизор, парной воздух бойлерной. . .

Кончался май. Вечером, после смены он поднимался по лестнице навстречу пьяным голосам, — на лестничной площадке толпились молодые парни, висел сигаретный дым, из открытой двери соседской квартиры неслась магнитофонная музыка. Протискиваясь к своей двери, он услышал: «Эй, француз! Сосед! Зашел бы, сына в армию провожаю». Пришлось зайти, ему налили, он чокнулся, потом еще, и еще, потом он сидел между двух теток, которые жадно выпрашивали у него про Париж, про рынки и про магазины, и подкладывали ему в тарелку, и подкладывали, и подливали, и следующее, что он помнит, это себя уже под утро, стоящим в толпе возле военкомата, в руке — чья-то гитара; потом — загаженная кухня соседа, они за столом вдвоем, женщины давно спят, и все уже допито, и они — в магазине, голос сзади: «Чего пихаешься, за французом я занимал!», сквер, где их много на скамейке и к ним цепляются какие-то парни из темноты, и сразу — толпа у кинотеатра, он удерживает соседа, рвущегося бить кому-то морду, милицейский газик, в который затапливают соседа, его же кто-то держит за локоть, вежливо и цепко: «Подождите, подождите, не волнуйтесь, ничего вашему товарищу не будет»; возникает удивленно, почти веселое лицо Сотрудника: «Где ж ты так набрался?!», опущенное стекло дверцы, в которое он выставляет голову и воет что-то в проносящиеся мимо дома и заборы, цепляясь за ускользящие прутья перил, карабкается вверх по лестнице. . .

...открывает глаза и стихают голоса — белый потолок — где он? — глаза закрываются — голоса, движение, чья-то спина впереди, крик, сквозь крик — белый потолок, глаза открыты, — где я? Чисто вымытый утренний звук мотора со двора — он дома. Вчерашнее, позавчерашнее сплелось, сваялось в ком, попробуй отодрать одну картинку от другой, что там за чем шло? Он и не пытается. Голова раскальвается, во рту пересохло. Он встает, хватается за стенки, чтобы остановить их вращение и едва успевает до раковины. . . Потом, когда стало легче, смывает пот с лица, раздевается, укладывается под простыни и засыпает.

В тот же день после обеда он выходит из дома прогуляться. Трезвый, тихий, он сворачивает за угол и вступает на загаженную тропинку. Тропинка огибает забор стадиона. Он протискивается сквозь дыру в заборе. Перед ним небольшое поле, за полем — скамьи в шесть рядов, трибуны. Он медленно тащится через поле, ему хочется на трибуны, хочется повыше, но сил хватает только до третьего ряда. Теплый воздух поднимается от прогретого поля, от горячих досок. Влажно прошелестел ветер в чистеньких тополиных листьях. В дальнем конце поля два десятка школьников и учитель в тренировочном костюме. Доски греют сквозь брюки. Он ложится на скамейку. Оранжевое тепло на веках. Голоса школьников. Ленивый шепоток листьев. Неровными наплывами — запах сырой земли из-под трибуны.

...Резкий шум, тяжелые шаги, хриплое дыхание накрывают его, он вскидывается, — четверо мужиков, шагая по скамьям, как по ступенькам, поднимаются наверх. Он снова закрывает глаза. Потом: «Эй химия! Опохмелиться не хочешь?» — он садится, ослепшими глазами смотрит наверх. Оттуда гогот, мужики покачивают в воздухе бутылку: «Ну как, будешь?». Он отрицательно качает головой. «Правильно, отдыхай. Сегодня ты не боец». Он поворачивается к полю и видит двух бегущих девочек, одна бежит с трудом, как будто толкая наливающейся грудью плотный вал воздуха, вторая, сухая, быстрая, перебирая в воздухе ногами, проносится мимо, первая же, пробежав еще несколько метров, переходит на шаг. Худой лысый учитель равнодушно смотрит в сторону раздевалки, где прячутся от него несколько мальчишек. Мужики катнули по проходу пустую бутылку, с деревянным стуком она проносится вниз и выкатывается на дорожку. Взревел движок трактора с той стороны забора. Резко работая локтями, проносится стайка пацанов — подмышки тренировочных костюмов мокрые. Стоящий спиной к полю мужик у забора застегивает брюки. Шелушится краска под ладонью. Учитель строит школьников. Урок окончен. Команда: «Шагом. . .», и строй рассыпается. Учитель идет в стороне, широко размахивая правой рукой, в левой — мяч, идет, не оглядываясь на учеников.

... вот они уже за воротами, а на стадионе по-прежнему хорошо.

Те четверо, сбросив пиджаки и расстегнув рубахи, гоняют по полю мокрую зимнюю шапку — Пас! Серега, пас! — спотыкаются, тяжело дышат, пытаясь непослушными ногами поймать серый ком. Увлечшись ими, он не заметил, откуда взялись двое парней в олимпийках; они методично обегают стадион по кругу — один круг, второй, третий, четвертый; на ходу, сначала один, потом другой, сбрасывают олимпийки, обвязываются ими вокруг пояса и снова — круг, еще круг, еще круг, — приближаются, удаляются, приближаются, удаляются, влажнеют плечи, блестят мокрые волосы на груди, заворачивает безостановочное движение плеч, ног, локтей — круг, еще, еще, хруст гравия под кроссовками. «Во, козлы!» — одобряюще говорит задержавшийся возле него мужик — двое его соратников уже в воротах, — мужик предлагает

сигарету, они закуривают. «Ну, будь!» — говорит мужик и трезвой походкой спешит за своими.

Он просидел здесь до сумерек.

На следующий день он снова пришел на стадион. И было здесь так же тихо, так же безлюдно, но портилась погода — резкий ветер, рваные темные тучи, редкие тяжелые капли — пришлое уйти.

Потом он обнаружил еще одно место — ствол поваленного дерева под горой у реки. С горы спускался огород и сад, в саду старый кирпичный сарай — стена из розового кирпича, по стене стелется какая-то пышная трава, лето начиналось жарой; и этот кусок стены вызывал у него ощущение Франции. А повернув голову к реке, можно было следить за голыми пацанами, мелькавшими в ветках огромной ветлы на противоположном берегу, они с криком срывались в воду, тугую пену выбивали их ноги; и вдруг пропадали пацаны, — тишина, дымок от сигареты рыбака, неподвижная стремительная гладь, всплески голавлей, хватающих мошку, расходящиеся круги уносятся, разглаживаются течением. . .

Плохо было дома: желтый бескровный свет электрической лампы, тахта, телевизор, ворох газет. Неестественно громко тикает будильник, и странной кажется абсолютная неподвижность воды в стакане рядом.

Ночь. Не включая света, он проходит через квартиру и открывает окно. В прокаленную солнцем комнату втекает сырой воздух с запахами отцветающей черемухи. Он ложится грудью на подоконник. В доме напротив окна уже черны. Черен двор. Неподвижны листья на деревьях. Затаились. Как затаился в темноте и весь город. Только справа, за домами, — освещенный круг асфальта, канава, подстриженные деревья, и жесткие неподвижные тени этих деревьев на заборе. Снизу, из-под черемухи доносится шепот, тихий смех, долгая тишина. Снова шепот, и снова — тишина. Кровь гудит в ушах. Но вот в гуле этом намечается, усиливается, вырастает другой гул — лязг, скрежет, грохот приближающегося к городку состава. И уже ничего он не помнит — ни про Париж, ни про Москву, ни про себя — стук колес такой чистый, такой отчетливый, дробный, подчиняет себе все.

Приехавшая в очередной раз мать сказала: «Не пойму я, вроде и посвежел ты, и вид поздоровевший, а глаза большие». — «Ну что ты, — ответил он. — Живу, как в санатории».

Заболел он через день после отъезда матери. Еще в бойлерной его начало ломать, мучила духота, не стало легче и на улице. С трудом он добрался домой — росла температура, он чувствовал это, бил озноб, мутило; он задремывал, просыпался, ковылял в ванную, его рвало, потом стало совсем худо, накатило страх, он стучал кулаком в стену к соседу, длинные звонки в квартиру немного успокаивали, он перестал воспринимать время, снова — звонки, щелчок замка, сквозь горячий пар у глаз он видел входящего в комнату Сотрудника; его переворачивали, неведомо откуда взявшаяся медсестра делала укол. . .

В жару он пробыл три дня. На четвертый, очнувшись или просто проснувшись, он услышал непонятные звуки и увидел спину в белом халате. Медсестра смотрела телевизор. «Подвиньте стул, — попросил он, — мне не видно».

В тот день, вернее, вечер, когда после болезни он смог наконец выйти на улицу, шел дождь. Сначала он хотел просто постоять в

подъезде у открытой двери. Но, глянув на улицу, вдохнув сырой воздух, не выдержал и поднялся наверх за зонтиком.

Он тихо шел вдоль заборов к вокзальной площади и радовался тому, как, оказывается, соскучился по этой кривой улице.

Затянутая дождем, подсвеченная несколькими фонарями площадь была пуста. Он прошел мимо вокзала, из полуоткрытого окна вместе с паром тяжело вываливались запахи кухни. Поблескивали, роняя воду, листья в сквере. Он стоял под деревом у закрытого киоска и смотрел, как, нахлобучив капюшоны тяжелых плащей, прошли через площадь трое железнодорожников; засветились рядом красные огоньки затормозившей «Нивы», из нее выпрыгнули двое, растянули над головой один плащ, и под этот полог выскользнула из машины маленькая девочка; прошел милиционер, внимательно всмотрелся в фигуру под зонтиком у газетного киоска, даже шаг задержал; с шелестом подкатил междугородний автобус, и из него прямо в сырую холодную морось посыпались распаренные духотой двухчасового рейса люди, и растянулась до самого вокзала цепь бегущих от автобуса фигурок — вот такая жизнь шла вокруг него, расходилась волнами в набухшем пространстве. Он перевел взгляд и увидел два ряда пустых лавок вокзального базарчика, блеск электрического света на мокрых досках, отколорированных дневной торговлей; радужное сияние водяной пыли. Сдавило горло, и, повинувшись начавшемуся в нем движению, он бездумно сделал несколько шагов, вышел из сквера, прошел через площадь, обогнул вокзал и оказался на платформе. Снизу, из черноты поблескивали жесткие стрелы рельс. Он спрыгнул вниз, на шпалы. Теперь, когда изменился угол зрения, рельсы высветились все, разом — переплетающиеся блестящие стальные нити, уходящие в клубящуюся водяной пылью мглу с синими и желтыми огнями семафоров. Он нагнулся, чтобы положить руку на рельс, соединивший его в этот момент и с Азией, и с Европой.

... Дождь. Лучи прожекторов. Под ногами — лохматые от мазута, пыли и воды шпалы. С ума я сошел, что ли! Он поднял голову — над ним неслышно возникший на платформе давно уже стоял милиционер. «Дай руку», — сказал он милиционеру, и тот послушно присел, протянул руку. Совсем близко он увидел настороженный, испуганный взгляд милиционера. «Ну, на сегодня хватит», — подумал он.

Сворачивая к своему дому, он увидел, как у подъезда затормозила знакомая «Волга» и в дверь метнулась фигура. Он пошел быстрее, и когда уже подходил, фигура появилась у дверей. Он махнул ей рукой. Человек всмотрелся в темноту и полез в машину. Мотор молчал. Он дошел до машины, открыл дверцу и, быстро сложив зонтик, плюхнулся на сиденье. Сотрудник доставал из кармана сигареты. Они закурили. «Прогуливался?» — спросил Сотрудник. «Да». — кивнул он. Оба замолчали, наблюдая за стекающими по ветровому стеклу ручейками. «А может, мне уехать?» — спросил, точнее подумал, вслух он.

— Куда? — не понял Сотрудник.

— Совсем уехать. К себе. В Париж.

— Ну что вы, — сказал Сотрудник. — Это же серьезный вопрос. Так его решать нельзя. И потом, для человека, воспитанного в условиях нашей системы, жизнь в капиталистической стране... — в голосе Сотрудника явно звучала надежда, звучало облегчение — ... привыкать к их морали, их образу жизни...

— Брось, Степаныч. Я серьезно. Ведь видишь, что не могу больше.

— Ладно. Завтра заходи, будем составлять на тебя бумагу.

И снова подмосковное утро, на этот раз — конец июля; всходит солнце, переливается свет по набухшим от росы полянам и лугам; на

разделительной полосе — те же аляповатые облупленные железные листы с рекламой; те же деревенские крыши за полем и стеклянный куб Шереметьева, обозначившийся вдалеке. Он сидит в такси, к плечу прижалась мать, в «Москвиче», идущем сзади, — она с мужем и двое приятелей, отпросившихся до обеда с работы.

Он жадно смотрит по сторонам, пытаясь запомнить утро, дорогу, себя в машине. Гладит по плечу мать. Ему грустно уезжать. Но — не более того. Нет и следа того, пятилетней давности, горячего возбуждения. Он не боится. То, что ему сейчас предстоит, уже не будет отъездом. Он это знает. Не все, конечно, знает, но вполне достаточно для того, чтобы испытывать и грусть, и одновременно — радость от скольжения машины по асфальту, от надвигающихся хлопот, от предстоящего движения. Солнечный луч покалывает глаза. Он щурится. Через несколько часов это же солнце высушит росу в окрестностях аэропорта Шарль де Голль.

1986



Татьяна Морозова

ЦУГЦВАНГ ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ

Рассказ

Первой появилась Валентина Ивановна.

А бабушка приехала еще раньше, в последнюю пятницу января; ее привезли из далекого красивого города, где в переплетении мощенных камнем улиц можно неожиданно столкнуться с гордым позеленевшим костелом, где рынок называют базаром и продают там круглые пресные вафли, узкие копченые колбаски и корзины с цветными ленточками на ободках, города, где русский, польский и украинский языки настолько перемешались, что получился новый и какой-то сорный язык. Бабушка всегда была упряма, а к моменту переезда упрямство ее начало приобретать зловещий, агрессивный оттенок, к тому же долгий путь сильно подействовал на старушку, давно не выбиравшуюся из дома дальше базара и районной поликлиники, где она лечила непонятные свои болезни — пыталась защититься от старости, но увы! увы! Так вот, что-то сместилось в бабушкиной голове, и, прибыв в Москву, она продолжала ехать.

Бабушка ехала в одном купе с Ольгой Васильевной, и очень скоро вырисовалась ясная, прозрачно-акварельная картинка под названием «Так жить нельзя». Ютиться — пожалуйста! Жить — извините.

Каждое утро, как производственной гимнастикой, бабушка начинала вопросами: ну сколько же можно ехать!? что же поезд так кружит и кружит? И смотрела саркастически и с подозрением — вообще, подозрительность в ней выработывалась годами и удалась на славу — будто кружили единственно по воле и хотению Ольги Васильевны.

— Почему в купе мои часы? — следовало далее, и, рискуя завалиться, и таки заваливаясь, бабушка в который раз пыталась снять со стены квадратные с золочеными стрелками часы, подаренные к годовщине армии ЖЭКом. ЖЭК далекого города к каждой такой годовщине дарил своим ветеранам часы, видимо, желая напомнить, что время течет, бабушка же во время войны работала в военной цензуре, чем все еще гордилась. Сняв часы, бабушка собирала чемоданы. Собирала, собирала. Теряла их и вновь неутомимо собирала. Теряла бабушка очень многое и слишком часто. Теряла таблетки, сумку, альбомы с фотографиями, теряла свою постель, кухню, голову, рассудок. Ольга Васильевна стойко искала. Она даже нашла в тумбочке для белья маленькую записную книжку, которую бабушка требовала особенно яростно, обещая вознаграждение, угрожая и упрашивая. Про собственно Ольгу Васильевну бабушка сказала ее матери, своей, то есть, племяннице:

— Как быстро они меняются в этом возрасте... — с жалостью сказала.

Наверное, Ольга Васильевна привиделась ей в совсем горшочном возрасте, потому как быстро меняться в двадцать с хвостиком (и немалым) было бы; согласитесь, по меньшей мере нелепо.

Так, в общих чертах, Ольга Васильевна лишилась узенькой, но совершенно человеку необходимой площади, тут-то и возникла Валентина Ивановна, а может быть, вся катавасия с бабушкой и была затеяна лишь для того, чтобы встретилась именно эта Валентина Ивановна. Потому как изначально Валентина Ивановна предполагалась примерно такой: серьезная плотная девушка в очках и вся какая-то темная. А какой явилась? — совсем не темной теткой, именно теткой, эффект-

ное слово «дама» и обычное «женщина» не подходили к ней ни справа, ни слева; типичная тетка в зеленом драп-пальто и с быстрыми глазами, растущими прямо-таки из переносицы. Взгляда ее было не поймать, но и без поимки понятно вполне, что очков она не носила никогда, даже в детстве, даже солнечных. Поэтому версия «Валентина Ивановна в молодости» не проходила и первого тура конкурса, тем более, что понятно было и следующее: в молодости эта Валентина Ивановна наверняка любила похохотать, многие так хохотливы, пока бока не помяты. А серьезная Валентина Ивановна была — персонаж, личное и безраздельное творение Ольги Васильевны из ее первого рассказа.

В рассказе Валентина Ивановна призвана была сгущать так называемую атмосферу, Ольга Васильевна полагала, что сумрачность и неопределенность третьестепенной героини подыграют авторскому замыслу (а как льстила Ольге Васильевне та мысль, что она — автор! так тянула ввысь уголки губ!) передать облик героини главной, и, тем, самым, малопредполагаемый читатель за послушную ручку будет введен в загадочное сопереживающее состояние, заботливо и нежно украшенное флером усталости от этой слишком смешной, слишком быстрой и в чем-то даже никчемной жизни. Так, чуть иронизируя, но все же восторгаясь собой, а главной героиней, разумеется, отчасти была и сама она, мыслила Ольга Васильевна. В уме ее носились яростные фейерверки в немного заброшенных парках, белоснежные статные жеребцы развевали шелка амазонок, седой благородный маэстро прижимал к накрахмаленной груди усталые изящные пальцы; на бумаге это выглядело несколько скромнее — обыденно.

Дымилась на бумаге влажная теплая осень, щеголяя запахами разбухших лавочек и несчастных, безмолвно гибнущих в огне, отслуживших листьев; шла осенью девушка в терракотном плаще, чуть горбясь от неприязни к спутнику; возникала мрачная коммуналка, охотно обнажая свои прелести: ржавый кран, замотанный тряпкой, усталые двери, усталых людей и запахи, запахи. . . Запахов было много. И обитатель коммуналки суетился, заваривая чай, отыскивал сигареты, раскладывал сыр и подсохшую на краях колбасу; девушка ходила по комнате, разглядывала увешанные афишами стены и молчала. Потом шел дождь, дождя, как и запахов, было в избытке, и дождь благоухал листьями, коммуналкой, даже почему-то колбасой. Валентина же Ивановна мелькнула в рассказе всего два раза, в первый она бочком прошла по лестнице мимо героини, во второй — вдруг оказалась в квартире, из которой вроде бы и выходила тем самым бочком. В квартире же Валентины Ивановны и видно не было — лишь из кухни метнулся быстрый и злобный ее взгляд.

Валентина Ивановна реальная уступала придуманной в загадочности, явно уступала. Ну что может быть загадочного или, скажем, злобного в зеленом драповом пальто? или, например, в накрашенных, но от мороза все же синеватых губах? пусть даже и при наличии перпендикулярных глазок? У Валентиниванны-натурель было лишь одно, но очень явное — здесь она шла на полкорпуса вперед! — преимущество: Валентина Ивановна сдавала внаем комнату. Именно это преимущество и предопределило встречу на высшем уровне в толще восхитительного, злачного, многоликого и великого Банного переулка.

Краткая справка: Банный переулок — одна из главных достопримечательностей нашей столицы, относится ко второй половине двадцатого века, достопримечательность, которая по странному подмигиванию фортуны не вошла в туристские маршруты и разноцветные путеводители для иноземных гостей, путеводители отразили — вот незада-

ча — элегантный коктейль из берез, позолоты и матрешек под надрывную песнь балалаек, что, конечно, тоже имеет место, но несколько реже.

А в Банном переулке безо всяких куколок играют в квартиры — это нудная, но все же необходимость. Больше на меньшее, район — по договоренности, линолеум — на паркет, смежные — на отдельные, да еще чтобы кухня от пяти, да чтобы не совмещенный, а первый и последний не предлагать, ну а жители пятиэтажек — простите — и вовсе смотрят снизу вверх. Так что ж, не предлагать? и кухня от пяти? ну, эт-вы, товарищи, заелись, а комнатушку два на три за полтинник в месяц не желаете? нет? зато награда — Валентина Ивановна за стенкой? в запасе и утешение — храп ее разудалой? как? — Ольга Васильевна захотела. Пришлось захотеть, рынок переулка не смог предложить лучшего. Была, правда, одна старушка с бельмом на левом, нет, стойте секундочку, если, значит, развернуться так... правильно! на левом глазу, печально и настойчиво предлагавшая жить у нее бесплатно. Может быть, и стоило поразмыслить о бесплатной возможности услышать несколько вариантов потери глаза (встали было тени и в папах и в буденовках, мелькнуло взброшенное копыто, взмахнул рукой эсэсовский офицер, приятно запахло лагерной баландой и влюбленным придурком, дребезжащий голос затянул: «вы жертвою пали...»), но Ольга Васильевна поспешила отмахнуться, подобных развлечений ей хватило и в собственном доме. Подальше, подальше от разговоров, брысь, воспоминания, не надо этих ваших приключений, не-на-до, оставьте же, наконец, человека в покое!

Ольга Васильевна мечтала о покое, мечтала уйти на заслуженный отдых. Тут и подкралась к ней Валентина Ивановна. Подыскала-таки момент.

Когда-то, очень давно, так давно, что даже давным, Ольга Васильевна написала три рассказа, и больше никогда ничего не напишет, потому что.

В первом рассказе и прошла строгая девушка в очках, не сказав ни слова. Она просто прошла. А еще много раньше, каким бы маловероятным это ни показалось, навстречу Ольге Васильевне из пункта Ф вышла совсем другая девушка, как-то быстро и вдруг ставшая высокой толстой женщиной в пальто цвета «окись хрома». Они шли друг к другу разными темпами: Валентина Ивановна спешила, бежала, пыхтя и проскакивая годы, чтобы успеть пересечься, Ольга Васильевна плелась ни шатко, но и не валко, на последних лишь метрах ее подбросил безумный поезд, выбившийся из расписания и не желавший остановки. Поезд кружил по комнате, каждое утро бабушка аккуратно складывала постельное белье и несла сдавать проводнику.

В метро они старались не потеряться, подчиняясь неумолимому закону «деньги-товар», мелькали помпезные, затем кафельные станции, Ольга Васильевна держалась зеленого цвета, Валентина Ивановна — более независимо. Примерно в такой же расстановке и зажили.

Убранство комнаты Ольги Васильевны блистало традиционностью. Стена к Валентине Ивановне для глушения звуков была завешена тканым ковриком с резвыми шишкинскими медведями, вот в чем здесь загадка: медведи эти настолько навязли, что нет никакой возможности вспомнить, сколько же их было в оригинале. У Ольги Васильевны жило четверо, но она не исключала возможности, что со временем такие уставшие картины претерпевают не только качественные (как Валентины Ивановны), но и количественные изменения. Во всяком случае, она никак иначе не могла объяснить тот факт, что через не-

сколько дней после ее вселения медведи немного подросли и их стало пятеро.

Пятый появлялся из-за кустов под вечер, он осторожно вытягивал сначала мокрый — Ольга Васильевна трогала — нос, затем волосатые — тоже пробовала — уши, затем — не осмелилась — пасть, ну и всякие ноги там, руки, может быть, даже рудименты, вроде отмеревших некогда перепонок и хищных блестящих когтей. Было в медведях что-то леденящее, Ольга Васильевна униженно пыталась подлизываться к ним сахаром, а медведи отворачивались, требовали штопки, потом все же брали сахар, оставляя тягучую липкую слюну на розовых ладонях Ольги Васильевны. Она просыпалась, чувствуя себя ничтожной, гадкой, почему-то грязной, пыталась потными руками что-то стряхнуть, от чего-то освободиться. Комната казалась почти квадратной из-за большого шкафа, хранящего покой вещей Валентины Ивановны.

— В шкаф я буду приходить, — не предполагая апелляции, сразу же предупредила та, и после действительно приходила, без стука, без печали, без сомнения.

— Да-да, конечно.

Шкафом для Ольги Васильевны стала коробка от телевизора, сам телевизор поселился у Валентины Ивановны и трудился на славу. Стол и горшки с фиалками были милостиво доверены жиличке.

— Соседям говори, что ты племянница.

— Да-да.

По вечерам из коридора Ольга Васильевна звонила матери, поворачиваясь спиной к звукам телевизора:

— Ну как, доехали?

Бабушка бомбардировала сакраментальными вопросами:

— Что же это за хитрая организация устроила такую вылазку, — и требовала высадить ее на станции, обвиняя представителей организации (то есть кроткую свою племянницу) в корысти. По бабушкиному предположению, за каждого пассажира вносилась некоторая плата, и тем самым очередной день пути приносил неоспоримую финансовую прибыль неведомым и злобным, а также алчным устроителям поездки.

— Я говорю ей, — жаловалась Ольге Васильевне печальная ответственная за поездку, — мы стоим, стоим давно, вон, видишь, дом напротив — он же не движется, смотри, смотри, он стоит! А в ответ: мы там садились?

Надо заметить, что в собственном, представляемом мире железных дорог бабушка не путалась, у нее все было строго подчинено расписанию и прочим транспортным правилам, вскоре, что-то запомнив про дом, она таинственно сообщила Ольге Васильевне:

— Знаешь, дорогая моя, что я скажу тебе? Этот дом, — бабушка многозначительно понизила голос, — на колесах!

И вновь начала неумолкающую вечнозеленую тему о финише, о неумолимом законе природы, снова о финише...

Когда Ольга Васильевна была маленькой, мама сказала ей, что однажды и у бабушки было детство. Это, конечно, вряд ли, но с другой стороны — чего только в жизни не случается? Ольга Васильевна так до конца и не поверила в бабушкино детство с непременными страхами и шепотами углов и закоулков обживаемого мира, с конфетно-стеклянными секретиками и стыдными рассказами, столь же маловероятным казалось ей и существование детства Валентины Ивановны, скорее уж можно было предположить ее юность.

Времена тогда были такими, что сейчас о них много разговоров, и не нам рассказывать о них, — а кому ж отвечать? Валентина Иванов-

на не ответит, это ясно. Времена летели мимо нее, обтекая гладкую фигуру, замкнутую на собственном, может быть, и достаточно интересном факте существования и на собственном же пути, линии жизни, прочерченной на ее руке, подобно линиям других рук, а идти надо было все быстрее, чтобы успеть, чтобы хотя бы прожить, а время, оно — что? зачем? было бы что на обед, да на ноги сапоги, да ребенка в сад, и чтобы летом не болтался, за что же тут отвечать?

По всей вероятности, у Валентины Ивановны был муж — иначе откуда бы взялся сыну? — рожать в одиночку в те годы было как минимум не модно. Следов мужа в доступной Ольге Васильевне части квартиры не было, даже давних, даже периодических, очевидно, муж был изгнан задолго до получения двухкомнатной роскоши и изгнан скорее всего за пьянство, так слишком часто бывает. А что существовал сын — это точно. Когда Валентина Ивановна вблизи глаз исследовала паспорт Ольги Васильевны (человека в дом пустить — это вам не жук начхал), она сказала:

— Надо же! — сказала радостно, и в глубине лица ее подпрыгнула молодость. — И мой парень с пятьдесят девятого!

Ольга Васильевна жила в комнате «парня». Где был он сам? где мял траву? — неведомо. Для армии — поздногато, для тюрьмы — страшновато. В конце концов Ольга Васильевна остановилась в промежутке между длительной командировкой и профилакторием, предварительно потоптавшись у почему-то ветеринарной лечебницы. Перестила на столе бумагу, не пропущенную вниманием времени и солнца, отчего бумага напоминала невесть как угаданную кукушиную лапку, Ольга Васильевна нашла маленькую пилочку — скромную пилочку для отпиливания хвостиков ампул. Ничего, в общем-то, особенного, невинные детские шалости — обыденный предмет из походной аптечки наркомана, так приблизительно и отложилось: командировка, принудленные за тонкой решеткой, а может, и того проще — своя семья.

Вот вопрос: могла ли Ольга Васильевна предположить в «парне» Вепря? Ответа, пожалуй, не требуется. Еще вопрос, и тоже милостиво безответный: даже если бы и предположила, смогла бы уйти вовремя, не растеряв лица и достоинства? и еще: остановил бы этот уход уже задействованное колесико механизма, или, покружив и попетляв вдоль, тропиночка все равно вывела бы к единственному шоссе? А может быть, все ж-таки к спасительному озеру? и вплавь, дальше, дальше?

Но было в ту пору Ольге Васильевне неведомо, что Валентина Ивановна — именно Валентина Ивановна, и что за первым слогом неминуемо следует второй, а за вторым еще более неминуемо — третий. Раз-два, три — ваша дамка. И деться некуда — ваш ход, Ольга Васильевна! Извольте! «Вепрь» — так назывался ее второй рассказ.

Ну, скажете вы, теперь все стало прозрачно, как стрекозиное крыло, и ясно, как первомайский утренник. Теперича, значит, появится Вепрь, следом — упоминание о третьем рассказе (изобретайте, изобретайте, девушка!), ну а после небольшого — исключительно приличия ради — лирического отступления с реверансом в защиту окружающей среды — материализация фантазии под номером три, неинтересно-то как, фи-фи. Конечно, не могу не согласиться, даже снимаю шляпу или — что там у меня? — парик, бе-зу-словно неинтересно, более того, думаю, что и Ольга Васильевна лично многое бы отдала, чтобы не было этого вашего «фи-фи». Но оно-то было, было, и что же делать, если за «зайчик погулять» должно следовать слишком ожидаемое «вдруг», это закон, это, наконец, необходимость. Как тут уйти?

Как-то странно Ольга Васильевна попала и в зависимое от Валентины Ивановны положение. Казалось бы, плата за жилище должна была обеспечить мирное и равноправное сосуществование, но природа человека такова, что не может он лишь наблюдателем жить со своими соседями, особенно усердствует в этом природа человека, сдающего четыре стены с пятью медведями. После первого же роскошного ужина (чай крепкий, макароны югославские отварные, сыр, усталость) Валентина Ивановна зашла и сообщила:

— Плиту надо мыть после каждой еды,— сообщение не предполагало и тени несогласия.

Ольга Васильевна хотела было предложить мыть плиту еще и до еды, но не посмела, видимо природа человека, снимающего квартиру, как-то хитро должна вставляться — заподлицо, чтоб без зазора — в природу человека сдающего, который не может быть лишь наблюдателем.. ну да об этом уже было. Наверное, на месте Ольги Васильевны так поступил бы каждый: она стала ужинать в вагоне. Так с легкой успешкой называлась теперь ее родная квартира.

В вагоне царствовало веселье. Некоторые пассажиры (не станем тыкать пальцем) иногда падали с полок, и одно лишь спасало ситуацию: хиханьки — для них отвели тумбочку под телефоном. Когда страсти закипали, когда становилось невмоготу — ведь на пятки вагону наступали подозрительность, истерика и агрессивность — всего-то и требовалось: открыть тумбочку и выпустить хиханьку. Хиханьки вольготно бороздили дом на колесах, чувствуя себя очень главными, мама даже жаловалась Ольге Васильевне, что одна из них причесывалась ее расческой. Каждое утро маленькая старушка с перепутавшейся головой спрашивала с мольбой и угрозой:

— Так сколько же суток еще ехать?

Всю свою жизнь она прожила одна, люди рядом с ней были лишь пассажирами, и не виделось конца этой поездке. Потому как: кто знает, сколько нам ехать? сколько отмерено? и что из отмеренного — награда, что — наказание?

У каждого человека и, наверное, без исключения есть память будущего. Видимо, она не всегда совпадает с действительно проживаемой жизнью, но когда совпадает, человек моментально вспоминает. К сожалению, мы часто расходимся со своей памятью или, если угодно, судьбой, поэтому вспышки воспоминаний достаточно редки, и чем дальше мы уходим от собственной, предначертанной судьбы, от дороги, уготованной именно нам, тем реже бывают такие минуты, тем недоверчивее воспринимаются просветление и уверенность: когда-то я, Я, все так и видел, говорил, чувствовал и участвовал. Здесь я шел.

Увы, с возрастом такое случается все реже и слабее, обычно в полусне, хотя иногда жизнь, наизгибавшись вдоволь, возвращается на круги своя.

Так может, потому и появились и Валентина Ивановна и Вепрь, чтобы Ольга Васильевна вспомнила их, и, возможно, они даже слишком торопились появиться, потому и предстали на бумаге такими обрывистыми, нечеткими, — просто не успели совпасть с собой. Но сирень — сирень возникла именно такой, какой и должна была быть. Странно, конечно, в феврале перед стылой пятиэтажкой вспомнить веселый (среди снегов и ледовитых ветров) воздушный цветущий куст. Бунт сирени можно объяснить прозаически, даже слишком: прорыв какой-нибудь хитрой трубы отопления. Только вот одно: бывают ли такие трубы? И почему на ночном пути именно Ольги Васильевны взрос этот непостижимый подарок февраля? Не затем ли, чтобы Ольга Васильевна вспомнила и остаток того короткого темного дня, вспомнила, что это уже было?

Так за постоянными вопросами, маскируясь сиреневым запахом, вкрался в повествование второй скудный рассказ Ольги Васильевны, собственно, этот второй и рассказом-то можно было назвать лишь с хо-орошей натяжкой, скорее — романтической зарисовкой, примерно о следующем:

Молодожены Анечка (допустим) и Степан (еще более допустим) решают провести свой медовый месяц вдаль от шума городского, сельского и транспортного. Когда-то и у Ольги Васильевны был медовый месяц, тогда они с теперь уже бывшим мужем Витей не смогли никуда выбраться, таким образом бумага, пальцы и машинка реализовывали хрупкие девичьи мечты. И так, молодожены уехали, и как-то вдруг и сразу им представилась избушка на толстых ножках типа сторожки, хоть и без сторожа, но в лесу, недалеко и, соответственно, не страшном. Анечка, почувствовав себя замужней и хозяйственной, запаслась консервами, макаронами, прочими снедями, Степан мужественно предпочел шампанское и — они уже в своем убежище, Ольга Васильевна метнула их туда, не рассусоливаясь на детали.

Совы, кукушки, трепет лягушки, чуточку шороха, не вредного для уха — это, значить-ся, звуковое оформление. Примерно так же выглядывали декорации: прикосновения, взоры, непременно узкая, но столь же непременно удобная кровать, ну и разговоры, диалоги, монологи, словом, — познание. Когда антураж, по мнению Ольги Васильевны, начинал утомлять (это когда Анечка устала пугаться: Степан! Слышишь? где-то квакает. — Спи, милая, это местные лесные лягушки, — Степан тоже устал), в сторожку кто-то повадился. Иначе и быть не могло.

Кто-то не показывался, но были следы. Кто-то ел кофе зернами. Кто-то обглодал останки свадебной курицы, а кости разбросал по столу. Кто-то шаркал, урчал, чавкал, щелкал и булькал. Кто-то отцарапывал наклейки от бутылок. Таким образом, кто-то — Анечка звала его ласково: «Вепрь» — непрошенно скрасил их одиночество. Ну а на прощание Вепрь, конечно же, подкинул для Анечки скромный букетик ромашек, полыни и лютиков. На лепестках жемчужинами сверкала соленая влюбленная слеза. Вот, собственно, в двух чертах и вся зарисовочка, что и говорить, достаточно убого. Ольга Васильевна налегла основательно лишь на проявления Вепря, в отличие от аксаковского чудища, он так и не явился миру диким образом, благополучно просуществовав за кадром. Анечка со Степаном (совершенно безликие, этикие скафандрообразные, с пływучими жемами) лишь замирали и прислушивались к шорохам зверя за стеной — полно! да зверь ли то был, — из романтических соображений не желая знакомиться с соседом.

Как и в случае с Валентиной Ивановной, рассказ, то есть Вепрь не воплотился один в один.

Но рассказ — что? Рассказ был — пустое.

В тот день бабушка наконец поняла, что находится в обычном панельном доме. И — последовало неожиданное, но в глубине душ ожидаемое — она потребовала срочно, тотчас же, в ту же минуту везти ее обратно, в далекий красивый город.

— Вы держите меня взаперти, — кричала бабушка, размахивая лекарствами. — Я столько времени в Москве и еще ни разу не была в театре! Мне приходится просить чужих людей, чтобы меня перевели через улицу!

(Здесь, наверное, она вспомнила что-то из прошлой жизни, потому что выйти из поезда на ходу наотрез отказывалась.) Бабушка пыталась форсировать лестницу, дабы найти поддержку на улице, в милиции, дрожащим голосом она метала вдоль стен угрозы, пришлось срочно открыть тумбочку под телефоном. По телефону бабушка тоже про-

бовала звонить, жаловаться, но тот угрюмо молчал, требуя — и не без оснований — седьмой цифры. Бабушка не желала советов, увещаний, кричала о вредительстве, неблагодарности и прочем. Все было громко, нелепо и очень, очень печально.

Где-то ближе к полуночи, утомленная боями местного значения, встретила Ольга Васильевна тот безумный сиреневый куст и — вспомнила его, как в предсонье, в мареве:

она бежала, вернее, пыталась бежать по снежной ночной улице, ноги разъезжались, под снегом таился лед, каблук, как неопытные копыта, царапались и подгибались, а пальто ее фосфоресцировало, освещая ледяные памятники сугробам вдоль длинных плоских домов. Она сама была какая-то плоская, женщина по имени Ольга (таким она вспомнила свое имя). Она и не думала о пощаде, упрямо смотрела влево и — увидела куст сирени в полном расцвете сил и красоты, — это был знак спасения, нужно было, пусть тихонечко, пусть на полусогнутых, но все же свернуть к подъезду, позвонить в любую дверь, а там уж ждет не дождется прекрасный принц в золотых сапожках. Но она проснулась.

Сигнал — так оно и было, чудеса на этом лишь разворачивались, дверь к Валентине Ивановне была приоткрыта, обычно же часам к девяти Валентина Ивановна затворялась и вовсе уж стихала к окончанию телевизионных действ. Зато другая дверь — туалета — была крепко заперта, оттуда с робкой надеждой на освобождение рвалась полосочка света. Долго прождала Ольга Васильевна щелчка задвижки и шагов тяжелых и, если предположить поступь хозяйки, неожиданно бесцеремонных. В туалете пахло табаком, предположение разгула Валентины Ивановны становилось все менее реальным, сорт табака Ольга Васильевна определила моментально — кубинский. Такое курил Витя, собирая никотин в черные ободки в слубине глаз (— Ядовито глядишь, Витя. — Такой уж я человек, Оленька.), поэтому в самом запахе бодрствовала обреченность. Под кубинский дым, как правило, события и люди убыстрялись и расплывались, исчезали четкие линии, стирались понятия и границы мыслей, так, по крайней мере, представлялось Ольге Васильевне.

Утром обнаружилось, что кто-то (ну конечно же, конечно, Вепрь) зверски расправился с ее кофе из аккуратной стеклянной баночки, зерна не варили, не мололи, а попросту лузгали, как семечки, беззащитные коричневые осколки рассыпались по столу странно симметрично куриным раздробленным костям, курица была вареной и валентиниванниной. Именно кости и кофе, слишком вещественные совпадения и расставили по линии вслед за сиренью и Валентину Ивановну и Вепря. Из комнаты Валентины Ивановны неслись аккорды громкого невнятного мата, через мгновение в ванную промчался и сам Вепрь — огромный детина со слипшейся шевелюрой, зазвучала трагически вода. Вот так букетик ромашек и лютиков! — взор из-под шевелюры был мутен и бессмыслен. Таким явился свету романтический обитатель сторожки, постукивающий коготками безумия в неумело раскрашенном картонном лесу, вероятный любимец Хичкока, устрашающий плод не ведающей предела фантазии, сыночек с пятьдесят девятого — потому-то сбежали от Ольги Васильевны перпендикулярные глаза ее строгой хозяйки.

Всем известны расхожие истории о том, как человек (люди) снимает (ют) квартиру или комнату, платит (ят) вперед денежки, как вдруг — откуда ни возьмись! — появляется совершенно неожиданно, ах-ах, снег на пустую голову, да посередь зимы, вот так-так! некоторый появляется нежелательный родственник на выбор: муж, брат, сын, зять, кузен, свояк, тесть, племянничек.

— Уж простите, пожалуйста, дорогие товарищи!

А дорогих товарищей и след простыл, вон он, гляньте — чихает, сморкается, кашляет испуганно.

И все же испугало Ольгу Васильевну не появление безумного соседа, вовсе не это. Все эти совпадения, да не совпадения — воспоминания — предвещали роковое и удручающе полное воплощение третьего, неоконченного рассказа. В сумраке и удушье кубинского дыма, с хрустом вареных куриных костей на сцену выплывали, заволаживая ломаной пластикой современных постановок, вкрадчивые темные фигуры в лиловом, красном, черном. А так как требуется некоторый элемент олицетворения, то вот вам, пожалуйста: неизвестность, преступление, ненависть.

Вот какой эпиграф придумала Ольга Васильевна третьему своему, незадачливому — зловещий, надо признать, эпиграф:

— Подсудимая, за что Вы убили ее?

— Я не убивала.

— Вас не спрашивают, убивали или нет,
Вас спрашивают: ЗА ЧТО?

(из зала).

«Из зала» — это Ольга Васильевна придумала вместо подписи, и очень тогда радовалась изобретательной придумке.

В те далекие, без единого запомнившегося облачка, времена, когда Ольга Васильевна познакомилась с Оленькой и тем самым стала Ольгой Васильевной, бабушка была относительно молодой, во всяком случае — крепкой, и вздорный и упругий характер ее каждое лето отравлял существование тихой безалаберной семье. Каждое лето бабушка приезжала по зову долга в Москву и требовала порядка, внимания и благодарности, внося уныние в лица жильцов монологами о воспитании и навыках, при сетованиях относительно отсутствия трудовых навыков особенно унывало лицо Ольги Васильевны.

По бабушкиной вольной версии, вся бабушкина жизнь была отдана во служение близким (версия не выдержала бы ни малейшей критики, если бы кто-нибудь посмел, но никто не смел), даже личное счастье, оказывается, она не устроила, единственно жертвуя себя племяннице и дочери ее Ольге Васильевне (в момент появления на свет Ольги Васильевны бабушка успешно подбиралась — и неизвестно еще с какой стороны — к пятидесяти), лишь отцу семейства бабушка не жертвовала, от мужчин она совсем отвыкла и не любила их. В связи со всем этим, а также с чем-то наверняка еще, летом Ольгу Васильевну особенно привлекала улица. В очередном промежутке между пионерлагерями на улице, которую называли кварталом, видимо, компенсируя этим названием бестолковость и неряшливость домов, навстречу Ольге Васильевне, праздно тыркающей битую по расчерченным пыльным классикам, возникла Оленька, чудо-девочка со смиренными карими глазками и в полосатых гольфах. Очень подкованная и любознательная девочка, к тому же о полосатых гольфах — и это так понятно — Ольга Васильевна мечтала уже четыре месяца, мечтала безуспешно, хотя и громко. Чуть ли не в самый миг знакомства Оленька поведала Ольге Васильевне замечательную информацию: оказывается, поведала Оленька, в соседней школе провели медицинское обследование, округлила со значением Оленька глаза, и по обследованию получилось, что все восьмиклассницы, глаза Оленьки готовились к вылету на орбиту, беременные!!

Так, немного путаясь в понятиях, просвещала близорукую Ольгу Васильевну ее лучшая отныне и надолго подруга, Ольга Васильевна внимала. Слишком уж красивым виделся мир, лишь мгновеньями омрачаемый бабушкиными экивоками, да, уж больно красивым он виделся подслеповатой домашней девочке, покоился тот мир на величественных белоснежных китах, тогда как Оленька настайвала на глобусе.

с подтекшими равнинами и океанами, к тому же порядком помятом пинками и зуботычинами. Откуда-то Оленька вызнала и про знаменитую школьную пару: Пушкину и Вырину.

Пушкина была маленькая, упитанная и глуповатая девица из старшего класса, Вырина — из параллельного, длинная и вся как будто на шарнирах, причем шарнировала она асимметрично: например, правая коленка всю вращалась, а левая — ни в какую. Пушкина и Вырина на переменках бродили в обнимку и тайно и жарко шептались, Оленька прюнхала, о чем: они гуляли с солдатами. И в этом что-то было. Во всяком случае, через год, когда порочная пара оказалась за пределами минимальной школы, Оленька принесла новую, жутковатую весть. Весть касалась одной Пушкиной, Вырина сгнула к тому времени в недрах жизни, а толстая ее подруга родила в подъезде младенца, нежеланного и без определенного отцовства (мог, конечно, встать на опознание строительный батальон) ребеночка, придушила его и зарыла в сугроб прямо тут же, у подъезда, вблизи куста холодной сирени. Конечно, все тайное стало явным, к тому же не только Оленька, но и весь район внимал слуху, достоверности его Ольга Васильевна так и не нашла подтверждения, а на правду похоже было. Что было, то было. И правдивыми были сны (кто знает, не вспоминаемые ли?): еще даже не человеческий детеныш, а бессмысленное существо, понимающее разве что язык зверей и птиц, придушенный — это чтобы не орал, свидетелей-злыдней не будил — и быстрее, быстрее, в сугроб его, ату! глубже, глубже, и руки о снег вытри, мамочка, я-то не выдам тебя, мамочка. . .

Шевелящийся этот придушенный сугроб не давал ни объяснения, ни покоя, устраивая по ночам гонки с преследованием.

После школы Оленька и Ольга Васильевна поступили в разные институты, дружба их всю разгоралась, необходимость в ежедневной поддержке пламени делала неразлучными, даже внешне они все больше начинали гармонировать: Оленька была выше, Ольга Васильевна — худее; Оленька — светлая шатенка, Ольга Васильевна подщипала рейсфедером брови; у Оленьки нос прямой и чуть вверх для веселости, у Ольги Васильевны — тоже прямой, но зато длиннее и острее (на полпути от Оленьки к Гоголю); глаза у Оленьки, как и прежде, — карие, у Ольги Васильевны — серые и челкой обрамленные, а ручки тонкие-тонкие, сразу видно: человек без навыков. С фигурами получилось и того проще; драпировка соответствовала возрасту и положению в обществе, а возраст и положение совпадали в виде: свитера́ и джинсы, и примерно в том же аспекте. В разговорах подруги особо преуспели: что Оленька сгоряча забудет, Ольга Васильевна непременно вспомнит, даже часто смешно получалось, в таком возрасте вообще многое смешно, были к тому же девицы быстрыми — и на подъем, и на руку, и на слово, и на голову, много словечек общих мелькало из их собственного камерного сленга, вот и получалось: вроде бы и разные — а все-таки вместе, — гляньте — не такие уж и разные.

Тем временем, пока мы тут отвлекались на всякие несущественные предметы типа длины носа Оленьки и лексических заимствований Ольги Васильевны, в их жизни появились первые поклонники — мужчины, больше похожие на мальчиков. Мальчиков было много, они смешно и важно курили, звонили по телефону, а потом собирались вместе и пели самодельные песни в дымных комнатах, а некоторые мальчики даже рассказывали, что читали книги, но больше все же о том, сколько когда выпили — они все это еще помнили с точностью до раза. Словом, веселья Оленьке и Ольге Васильевне хватало — они вместе ходили в бестолковые гости, вместе резвились на зеленой травке казавшихся светскими бесед и с Витей вместе познакомились, около кафе: девушки,

сюда все равно не попадете, давайте-ка лучше, чем хуже, в гости! У нас и вино, и музыка, и сами мы ребята не опасные... — Идем, Оленька? — таки Оленька чуть-чуть, самую крошечку, но была — решительнее. — Идем! — Ну вот, а вы раздумывали, отмеривали, обвешивали: кафе? там — духота, а мы и споем, и проблему любую в момент — щелк! и зубки — хрясть! куда кафе до нас! — Какой Вы смешной, Витя, да я не стесняюсь, нет-нет, и не тушуюсь, спасибо, Вы действительно смешной, Витя, — так вот, когда познакомились, Ольга Васильевна будто и вовсе зациклилась, одно слово обнаружилось и все остальные изничтожило: Витя, Витя, витя, витя... даже кошка (уже на что!) — Витя, и подушка — Витя, и в глаза, как рафинад на влажном блюде: ви-и-и-и-итя... Ревновала его не то что, к каждому столбу — к тени от столба. Звалось сумасшествие — Витя.

И быстро-быстро закружилось, понеслось, уже ближе к весне скромненько пела и плясала свадебка — Оленька, конечно, свидетелем, ну что вы, какая фата в наше время? обычное платье, только светлое (витя, витя, витя). И — не успела еще семейная жизнь обрасти многократноизбитым, но все-таки существующим бытом, как последовал тихий развод, нежная мелодия смычком по ребрам. Почему Витя стал так болезненно раздражать ее, Ольга Васильевна долго не могла понять, пыталась убаюкать неприязнь, считая напросто не существующей, размышляла о типе людей, не приспособленных к семейной жизни, а настоящую причину она вызнала позже, гораздо позже, уже даже после периода «остались друзьями».

Как же так они познакомились с Аллой? ну да, конечно, Витя и познакомил в своем собственном доме, они пришли тогда с Оленькой — это после развода — собственно, Алла была новой Витиной возлюбленной. Старше лет этак на десять, причем пятерочку накидывал золотой блеск губы слева, то есть со стороны сердца, Алла вертела Витюшей по своему хотению, а он покорно подставлял бока, подрумяниваясь на желанных уголечках. Алла впилась и в Ольгу Васильевну, экстазируя от необыкновенной свободы общения с бывшей женой своего любовника, когда-то Алла читалась романов. Она, упрямо игнорируя Оленьку, зазывала Ольгу Васильевну на удивительно однообразные, но уже в какой-то другой степени, чем студенческие, вечера с вечеринками. Оленька как будто взревновала, во всяком случае, в ней появился внутренний нервный гул, словно самолет перед взлетом прогревал силы, если позволяла ситуация, то есть, если можно было подключить Оленьку, Ольга Васильевна брала ее с собой, тогда гул стихал. На этих новоэтапных развлечениях томно кружились беседы и взгляды, мужчины разглядывали обстановку со значением, накачиваясь липким вином. Алла без усталости вела Ольгу Васильевну за руку вдоль своих немногочисленных полупознакомых, трепалась Алла все без той же усталости — рассказывала о своих по-отрясающих мужчинах с соответствующими денежными и общественными положениями (намекался даже некий дипломат, или дипломант, Ольга Васильевна в жару трепа не разобрала) и грандиозными чувствами и намерениями, а Витюша — что? это так просто, на безвременьи, хотя, конечно, как любовник... вскоре и Витюша исчез (вроде бы) из разговоров — Оленька называла Аллу некоторым емким словом, но что-то Ольгу Васильевну в этой жалобной Алле цепляло, что? то ли казалась ей Алла выжившей из ума нафталиновой старушкой, то ли? Алла часто улыбалась многомногозначительно и понимающе, Ольга же Васильевна все дивилась, зачем обхаживает ее бойкая дамочка, подпитывается, что ли, как от батарейки? А что цепляло, поняла, тогда же и поняла, зачем понадобилась Алле, та не выдержала столь долгого общения с чужим секретом, выболтала пьяненькая девчужка, не без удовольствия, надо признать, проговори-

лась, разомлев при свечах и бокалах. Она и Ольгу Васильевну затем за собой таскала, чтобы в какой-то момент не выдержать. Приоткрыла она дверь в теплую комнату и впустила на обозрение Ольге Васильевне скромненький вонючий Витюшин секретик.

Давно это было, давно, миллионы лет тому, но все равно почему-то больно, даже физически боль отдается сначала слева, над сердцем, потом захватывает весь бок и хочется лечь, уснуть, забыть.

Почему?

Тогда не было никаких дурных предчувствий, была только радость, ведь был — Витя, конечно, конечно, поженемся, будет все, как ты хочешь, Витя, навсегда. Праздновали Витин день рождения, очень кстати уехали Оленькины родители, резвись, сколько душевке угодно, и домой поодиночке по холодному снежному тракту не надобно. Ольга Васильевна у Оленьки осталась, и Витя, естественно, остался, впервые ведь так совпало; впервые они классически плыли и плавились, плыла вместе с ними Оленькина комната, подгребая тяжелыми малиновыми шторами, замерли вдоль стен подсвечники с оплавленными же свечами, мир пошатнулся, рухнул, исчез и вновь воскрес, прояснился неожиданно возникшим утром... И подмигивали из угла — да-да! потом она прекрасно это вспомнила! — шишкинские вездепроникающие, невесть откуда у Оленьки появившиеся медведи.

Утро, окрепнув, расставило все по местам: шторы вяло пытались украсить уставшие от зимы окна, свечи были целехоньки — кто ж зажигает такую красоту? медведей и помину не было, пришлось Ольге Васильевне оторваться от мира сказок и отправиться в институт — что делать? что делать? — сессия, так вот.

Ольга Васильевна поехала за своим зачетом, а милая скромная девушка Оленька перебралась (по праву, видимо, собственности на жилье) в неостывшую еще комнату, к симпатичному мальчику Вите под бочок. Дело, видите ли, в том, что Оленьке нравились блондины, а Витя — вот оказия! как раз и в точку — блондин. Вот так Витя! вот так так! и подружку стороной не обошел — не верить Алле оснований не было, да и Витю-то после некоторых размышлений Ольга Васильевна не слишком осуждала, можно ли, скажите, обижаться в подобной ситуации на мужчину? но Оленька! Оленька! Откуда такой спокойный прыжок? Здесь и начиналась боль — от этого Оленькиного спокойствия.

Раздражение было несущественным, то есть, по понятию Ольги Васильевны — несуществующим, и она честно не уклонялась от боя, билась до последней капли терпения. Во-первых, Витюша шаркал тапочками: шурк-шурк, шурк-шурк; она купила ему новые — с задниками, задники Витюша вскоре примял и появилось новое: шмырк-шмырк, шмырк. Во-вторых, он хлюпал чаем, он хлюпал кофе, а в тот единственный раз, когда она сварила компот, он хлюпал и компотом, не забывая при этом пошмуриковать от удовольствия. В-третьих, он... Господи, Господи, о чем это она? опомнитесь, Ольга Васильевна, прошу Вас, прошу!!

Почему-то Витя не хотел детей, объясняя это классическим лозунгом с троекратным «учиться». Собственно, это-то и представилось поводом: замучили Ольгу Васильевну ночные копошащиеся сугробы — должно быть, за каждой женщиной всю жизнь так и тянется нескончаемая вереница детей ее, нежеланных, нерожденных, даже незачатых, вспоминаемых и вспоминаемых.

«Цугцванг» — так назывался ее третий рассказ.

И подразумевалось самим названием — вынужденный действовать проигрывает, рассказ же получился треугольным по героям: Оленька — Витя — Ольга Васильевна (имена, конечно, с чьими-то поменялись), Ви-

тина сторона была заметно короче девичьих, он стал лишь началом столкновения, ему отводилось примерно с полстранички и кое-какие достаточно унылые реплики (давайте-ка лучше, чем хуже и т. д.) — жалобный текст, оттенок неприязни в столкновении гигантов. Начало рассказа было: совпадение, хоть и достаточно приблизительное, но все же совпадение с предыдущей, уже прожитой частью жизни, этим рассказ существенно отличался от «Вепря», где из чувствованных деталей было: пустота, ни слова, ни жеста, ни запаха, одна лишь незадрапированная фантазия. То есть в третьем рассказе — описываемое частично уже произошло. То есть (простите занудство): вспоминалось реально вспоминаемое.

Что же вспоминалось Ольге Васильевне? что выползло из-под ее тонких пальчиков сумеречными теплыми и холодными долгими вечерами, когда она, иногда задумываясь, а иногда прямо-таки отчаянно терзала клавиши машинки, уже не поправляя скосившихся полей и не подтыкая выбившегося клочка пледа, виснувшего беззащитными клетками вдоль деревянной ноги стула? Откуда такая ярость, Ольга Васильевна? неужто вы углядели, почувствовали и свою вину?

— А как же, милые, не почувствовать? Неужели же Вы не чувствуете? — ответила Ольга Васильевна, а может быть, уже и не ответила.

После скоротечного болезненного супружества, не первавшего, надо заметить, давней дружбы, пути Оленьки и Ольги Васильевны стали медленно и очень верно расходиться. Не то чтобы сразу в лоб — вам направо, а нам, мерси, — налево, нет, просто у Ольги Васильевны появились собственные: книги, мысли, усталость, жизненные ходы, Оленька довольно легко отстала где-то на полдороге, довольствуясь убогими студенческими развлечениями, подкрашенными розовым напитком, но сколько же можно? — Ольга Васильевна действительно устала, а Оленька упрямо тянулась, взбрыкивая от гордости. Оленька все взлелеивала свой грешок, не отпускал ее, видать, неказистый угрюмый уродец, а Ольга Васильевна, хоть об уродце-то нескоро узнала, но все же устремилась прочь, куда-то далеко, глазки щуря и распахивая миру руки:

— Здравствуйте! Наконец мы встретимся! я так ждала...

Так примерно писала Ольга Васильевна, млея на пьедестале, и было в этом что-то от истины.

Об одном только не писала она, почему-то выпустила из виду, как ребенок выпускает из опущенного и чуть заведенного за спину кулачка ненужный фантик с уже поплывшими цветами и названиями, так исподтишка выпустила Ольга Васильевна ту встречу на остановке. Встречу не встретившихся.

Легко и приятно живется на свете близорукому человеку. Во-первых: люди, оказывается, красивы; во-вторых: если ты кому-то наступил или, напротив, не наступил в след, то с тебя и спрос невелик; в-третьих: еще всякие и разные, и изобретательные привилегии, к тому же в кино первые ряды дешевле, в театр все равно не достать, ежели что попрличнее. Все преимущества своего зрения Ольга Васильевна свято чтит, не узнавая (к чести ее надо признать — редко) знакомого человека, если, допустим, настроение препаршивое или человек не сверхлицеприятен, ну, мало ли бывает щекотных ситуаций? а самооправдание всегда при себе, в потайном кармашке за пазухой слева. Бывало и так — действительно не узнавала, но и не думала после об этом, поскольку просто-напросто не знала. Что хотите думайте, но Оленьку, тогда она видела, не могла не узнать, как там в песне? — узнаю я милого по походчке, — она и за километр узнала бы Оленьку, столько соли было съедено. А, может быть, именно в этой соли

и заключалась суть, может быть существуют такие пределы, границы дружбы, за которые и краешком носа не смей тыркнуться, может быть, и не в Витеньке, и не в грешке потаенном Оленькином таилась беда, а именно в этом самом переступании невидимой грани настоящей человеческой дружбы?

Как хотите, но есть вещи, о которых может знать лишь один человек, хотя лучше бы и ему этого не знать. Так или иначе, Ольга Васильевна «не узнала» Оленьку, а в свою очередь, и Оленька не подошла котвернувшейся подруге: у Оленьки имело место повышено-болезненно-обостренное самолюбие, ах, не хотите знать, сударыня? скатертью вам с кисточкой! к тому же Оленька прекрасно была осведомлена об уловках близорукости. Подошедшие автобусы удивительно кстати поставили точку в этой ситуации, запятой Ольга Васильевна не вынесла бы. Вообще, учеными замечено, что в большинстве случаев автобусы приходят кстати.

Конечно, все эти штучки-дрючки — мелочи, подумаешь, кто-то кого-то там не узнал, подумаешь, переспал — да всего-навсего разок, но именно из этих неразумных малюток-мелочей и сложилось толстое, тяжелое, недоброе слово в лиловом одеянии: предательство. И Оленька и Ольга Васильевна, должно быть, и вышли на свои шесть шагов именно потому, что не смогли — каждая самой себе, самой себе — простить это угрюмое и тяжелое. Не поняла этого Ольга Васильевна, и лишь в личности Оленьки искала приметы и причины серьезного черного слова: ненависть.

В рассказе же происходило примерно так: Оленька то исчезала, то вновь появлялась на воображаемой линии горизонта, они даже ухитрились вместе сходить на балет — это как бы Ольга Васильевна приобщала Оленьку к своему вновь открытому миру, на балете в безумных нотах современного гения терзались и гибли, чтобы возродиться в новых аккордах, странные маски-полулюди — метафорические фигуры в красном, черном, лиловом. Побеждала, естественно, музыка. Еще где-то, менее образно, встречались подруги, но очень, очень вяло. Приблизительно так, с небольшими лирическими реверансами и длилось действие, шло по вспоминаемому, далее рассказ устремлялся ввысь, резко оттолкнувшись от реального основания, он взлетал, не-терпеливый, к безумию своему и завершению.

— Алло, — услышала Ольга Васильевна знакомый голос.

— Привет, Оленька, — (давненько она не звонила).

— Ну, собака, здравствуй! — знакомый голос явственно пах угрозой.

— Что-что, Оленька? Не поняла.

Почему-то вдруг стала необходимой встреча, из необходимости рождался отрывистый, чуть ли не по слогам телеграфный стиль, вроде как новости с телетайпной ленты: тихо, настойчиво и очень быстро.

Ольга Васильевна ехала в трамвае, пугливо разглядывая сквозь перерезанные дождем стекла влажные тяжелые очертания заводов, кривые переулки, мрачную длинную стену кирпича и бегущие по ней, словно в тире, плоские фигуры, клонящиеся по направлению дождя все сильнее, все ниже, падающие... Она ехала к завершению партии, и ей неведомо было расположение сил, знала она одно наверняка: начинающий — проигрывает.

Перед Ольгой Васильевной стояла сложнейшая задача: замаяв, разбор отношений (это противно, скучно, долго, тем более, что и разбирать — нечего), придумать последнюю фразу такой, чтобы становилось ясно — что? — что в Оленькиной квартире, может быть, даже в той самой комнате с пыльными декоративными свечами и грузными малиновыми шторами произошло нечто — смейтесь, смейтесь, обита-

тели утра в сосновом бору — по цвету сходное со шторами. При этом («подсудимая, за что вы убили ее?») присутствовали: полная темнота, дождь и неизвестность, вероятное убийство — или не убийство? — кто жертва? кто убийца? если вообще убийца? — и снова дождь, непременно дождь. А как надо было исхитриться Ольге Васильевне, чтобы и прекрасное лицо рассказчика могло не только убить, но и быть убитым??

Так все и повисло.

И, хотя рассказ не был дописан, как бы Ольге Васильевне ни хотелось этого, после появления Вепря как-то сразу расхотелось.

Улучив момент, когда Валентина Ивановна ушла за котлетами для прожорливого, урчащего матом Вепря, она тихо и быстро собрала свои немудреные жизненные принадлежности: плед, сковородочку, книгу и будильник. Долго пришлось повозиться с ключом: дверь запиралась, а не захлопывалась, оставлять же Вепря открытым Ольга Васильевна поостереглась — а вдруг тот дик и хищен не только в ее воображении? Пришлось ключ подоткнуть под обивку двери так, чтобы он выпал, как символ, к ногам покупательницы кулинарных котлет. Прощайте, прощайте, любезная Валентина Ивановна, еще немного — и я свободна! — мечтала Ольга Васильевна, обнимая плед и ощущая его чугунное сковородное сердце.

Вечером Валентина Ивановна звонила, обнаружив последнее любовное письмо, она рассказывала мятым голосом о «парне», напрямую истолковав побег жилички в именно этой связи, оказалось: Вепрь стал Вепрем после страшного и дикого избиения, то ли он украл, то ли у него украли, то ли он просто не вовремя выглянул из кустов, Валентина Ивановна даже всплакнула по-хорошему, предложила дружить семьями, объяснилась в наилучших намерениях и растаяла постепенно как сон, как утренний туман, испарилась, выветрилась — чур, чур!

Бабушка вышла из берегов. Разлилась она вольно и широко, ни в чем себе не отказывая. Во-первых, она приехала. В-остальных, приехав, почувствовала насущную жизненную необходимость ехать обратно. Решение было категорическим и с угрозами: уйти, убежать, на такси, в милицию, отыскать управу на тюремщиков. Бабушка выбегала на лестничную площадку и что-то грубое сказать пыталась и ей, короче: после недели непрерывных изматывающих обе стороны скандалов Ольга Васильевна купила билеты и отвезла старушку, пытавшуюся выйти из движущегося поезда через каждые полчаса (— бабушка, здесь нельзя выходить, ведь поезд идет. — так что я, по-твоему, совсем дура? я встану там, где он не идет.), в ее такой красивый и такой далекий город, что болела голова в висках от жалости и облегчения.

* Бабушкиной племяннице в память о посещении дружественной цивилизации остались кусочек гипертонии и клочочек экземы, Ольга Васильевна отделалась дешевле: у нее некоторое время потряслись руки и обнаружилась неожиданно быстрая реакция на тишину.

Старость, увя, не радость, а нечто посолиднее.

Когда зазвонил телефон, Ольга Васильевна уже лежала на своем неповторимом ровеснике-диване, ощупывая слева по лежке почти проравшую ткань пружину, и думала о счастье.

— Да-а?!

— Ну, здравствуй, собака, — звонила Оленька.

Ольга Васильевна ехала в трамвае, всею собою помня о цугцванге. Кончалась зима, отцветала сирень, за окнами коптели сумеречные заводы, из проходных выныривали тени и шагали вдоль тяжелой кирпичной стены. Сквозь плащ, такой широкий, что в транспорте

женщины уступали ей место, она снова и снова нащупывала твердый узкий предмет в кармане юбки, ей казалось необходимым постоянное подтверждение его присутствия, сколь бы нереальным оно ни было. Перед стартом Ольга Васильевна тщательно готовила предмет, точила его на сломанной хромоножке — вместо одного колеса была приспособлена пластмассовая крышка от полулитровой банки — затем, морщась от звука, долго отскребывала темные съестные пятна около рукоятки. Кармен, — почему-то тупо думала она, — Кар-мен. И окровавленная испанка изящно падала на гладкую сцену к ногам преступного премьера.

Ольга Васильевна знала, где настраивает свои кукиши опасность: цугцванг — необходимость, вынужденность действовать ведет к проигрышу, так что же делать, что? Нападать? Защищаться? Взывать к разуму и миру? Что там она не дописала? или так: зачем писала вообще? может, не тронь — так и сошло бы на тормозах, стерлось бы за давностью срока, интеллигентно так, мол: ах простите, ах простите, дорогая Уистити, что-то нос у вас нечист ...

Но не ехать, не ехать было — невозможно, вопил за окном зарытый младенец; золотой губой ухмылялась Алла; на коленях по пыли ползал Витя; Валентина Ивановна обнимала безумного «парня»; несчастная, одинокая и ядовитая старушка требовала остановки и — трамвай остановился.

За знакомой дверью ожидала Оленька, пьяная, постаревшая, недобрая:

— А! Пришла, с-собака? Что? А то — неинтересна, видишь ли? Не нужна — так и говори. Что??

— Зажги свет!

Что было дальше и было ли? неизвестно — не обессудьте. Известно лишь, что бабушка, прожив в старинном городе с неделю, в повышенных тонах затребовалась обратно, выкинув красную тряпку дома для престарелых, бабушка бомбардировала Москву (локально) «последними» письмами и рыдающей, разрывающей сердца трубкой.

Известна также — приснилась ли кому? — фраза, которой должен был закончиться цугцванг Ольги Васильевны. Фраза оказалась короткой:

Одна из нас была неправа, за что и была убита.

И вот еще: зима, весна, лето и осень в том году были удивительно холодны, во всяком случае, об этом много говорили.

Татьяна Бек
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

*Я все тот же, всё тот же огромный подросток
С перепутанной манерой дела и гнева.*

Е. Рейн

Ты, надевший впотьмах щегольскую рубаху,
Проматавший до дыр ленинградские зимы, —
Ты, у коего даже помарки с размаху
Необузданны были и непоправимы, —

Ты считая стремительные перекосы
Наилучшим мотором лирической речи,
Обожая цыганщину, сны, парадоксы
И глаза округляя, чтоб верили крепче, —

Ты — от имени всех без креста погребенных,
Оскорбленных, униженных и недобитых —
Говоришь, кака большой и капризный ребенок,
У которого вдох набегаёт на выдох.

Ты — дитя аонид и певец коммуналок —
О, не то чтобы врешь, а правдиво лукавишь.
Ты единственный (здесь невозможен аналог!) —
Высекаешь музыку, не трогая клавиш.

И, надвинув на брови нерусское кепи,
По российской дороге уходишь холмами,
И летишь, и почти растворяешься в небе —
Над Москвою с ее угловыми домами!

А вернешься — и все начинается снова:
Смертоносной игры перепады и сдвиги,
И немислимый нрав, и шемящее слово,
И давидова грусть,
и улыбка расстрелч.

* * *

Этот вечер, сырой и сиреневый,
Повернулся лицом на восток...
Усыхающей кожи шагреневой
Я сжимаю в ладони кусок.

Я не знаю, насколько мы выжили, —
Потому что в былые года
Злая улица с темными крышами
Увела нас незнамо куда.

Вот стою, умирая от жалости
Ко всему, что томится кругом...
Нету зависти, нету усталости
В этом мире, по-детски нагом, —

Я не знаю, насколько мы ожили
В середине дороги земной.
Только чую
 душою ли, кожей ли —
Долг за мной.

* * *

Из разряда незлобных пьяниц
(Впрочем, облик — вполне безумный)
Оборванец и голодранец
Проживают в квартире шумной.

На Родительскую Субботу,
Чтоб умаслить старух-соседок,
В рощу выбрались — на работу:
Наломать березовых веток.

После выпили на полянке.
Их речам подпевала птаха:
— Чтобы не было лихоманки:
Ни войны, ни чумы, ни страха!

Папироса. Тельняшка. Кеды.
Настежь дверь — не бойсь, квартира!
— Получайте свои букеты,
Баба Фрося и баба Кира.

Листья-листики — мать вашу так-то!
Мы, не думайте, не за бога:
Но ведь Троица — бабья вахта...
Пусть вам будет светлей немного.

* * *

Годы печалью посолены круто,
Но удивляться и петь не устану...
Я и старение вижу как чудо,
Я и конец принимаю как тайну!

Твердая шагом, слабая сердцем,
Я бы не выжила без укрытья...
Плакала, слезы суша полотенцем,
Чтобы смеяться, на люди выйдя.

Снег ли метет, зеленеет трава ли,
Птицы ли горло полощут, венчаясь, —
Я уезжаю от вас на трамвае —
И разлучаюсь, и разлучаюсь.

От неумности, и тревоги,
И властолюбия
 — не прощаясь —
Я ухожу. И на этой дороге
Развоплощаюсь, развоплощаюсь...

* * *

«Дай мне Господи, силы
 На подвиг любви безутешной, —
 Ибо целые села
 Во тьме пропадают кромешной.

Я ответа не знаю —
 И руки мои как оплетья...
 Я сама пропадаю
 Во тьме на исходе столетья».

... И шумели березы,
 И падали в черную слякоть...
 «Дай мне, Господи, слезы
 Дела мои горько оплакать».

* * *

Оттепель среди зимы
 Черно-белая, сырая —
 Точно на пороге рая
 Спор сияния и тьмы.

Здесь на берегу реки,
 Где она берет начало,
 Музыка во мне звучала
 Безнадежью вопреки.

Пела,
 вхлипывая,
 шла
 Девочкой — с носка на пятку, —
 Доверяя по порядку
 Воздуху свои дела...

— О чужие города,
 Пейте из моих ладоней
 Эту влагу беззаконий,
 И смятенья, и стыда!

Я, наверное, умру,
 Странствуя вдали от дома —
 В брызгах, под раскаты грома,
 Над рекою, на ветру,

Где рукой ворожей
 Замысел ко мне повернут...
 Я умру — деревья сдернут
 Шапки снежные свои.

* * *

Было прощенное воскресенье,
 Зимне-весеннее, все в слезах...
 Дверь открыла. Впустила в сени.
 Поцеловала б — когда б не страх:

Я-то простила, а ты простишь ли?
 ... Засомневалась — и сей же час
 Из-за оврага дерева вышли
 И просияли, прощая нас.

* * *

... Ты хотел, чтобы в письмах моих
 Отразился как будто впервые —
 Незаласкан, ограблен и тих —
 Мир отеческой периферии?

Я могла бы поведать в письме
 О пустых и загаженных кельях,
 О поселке, усопшем во тьме,
 Об изъеденных ржавчиной елях

И о том, как фабричная муть
 Потопила ничейные бревна...
 Я могла бы. Но не продохнуть!
 Сострадание немногословно.

Ты, эпоха, как пьяная дочь!
 Это где ж оно видано, чтобы
 Если худо отцу, — не помочь,
 А бузить и не ведать стыдобы...

Огороды, могилы, тюрьма —
 Под присыпкой химической пыли.
 О, зачем я на свете сама,
 Если мне только зренье вручили?

Вот иду на истлевший вокзал
 И здороваюсь со стариками...
 Нам смирение Бог завещал,
 Но — с живыми, с живыми руками!

* * *

Когда сгустится тишина
 И соглядатаи отпрянут, —
 Так — на тебя гляжу,
 как тянут

Ведро с колодезного дна:
 Звезда

в грохочущем
 ведре!

... Живые — мы не виноваты.

Вот на столе
 в календаре

Пером отчеркнутые даты:
 Разлука.

Я тебя ждала,
 Как беглые — лесного лета.
 ... Не бойся. Не нарушу вето.
 О, я ль не знаю, сколько зла

В любви, когда она — облава,
Погоня, торжище и месть...
Нет, нет! Я не имею права.
... И все-таки я здесь. Я есть.

* * *

Одинокий и необычайный,
Этот путь закончится — со мной...
Я умру в гостинице случайной
Под нерусский говор за стеной.

Ишь, затосковала на чужбине,
Прилегла на несколько минут,
И — меня в казенной домовине
Тихую на родину везут.

Умереть, минуя умиранье, —
Господи! Ты ласков иль суров?
... Этот сон я видела в Милане
В маленьком отеле без часов.

Валентина Тульчина

НАД ВОДОЙ

Повесть

Маленькая деревушка в двенадцать домиков неторопливо спускалась к реке. Последний из них, присев на самом краю, застыл пред нею в немом изумлении и вот уже полвека пялился на реку всеми своими окнами.

Его мочили ливни, пронизывали насквозь холодные ветры, а он все стоял и стоял на юру, смиренный, открытй невзгодам и ненастьям, высоко подняв проржавевшую крышу, и не стеснялся своего бедного посеревшего рублища из щелястых бревен. На восходе и закате, озарясь небесным светом, полыхал реке навстречу и ночами пробивался к ней, озябшей, из-за темени, из-за облапивших его сучьев, подслеповато мигал теплым желтым глазом, чтобы не так одиноко было ей течь неведомо куда...

Варвара впервые открыла двери дома, еще пахнувшие свежей краской, в сумрачный мартовский вечер, и дом встретил ее печалью чужой отошедшей жизни, затаившейся по углам. Но дрогнули, заиграли в сенях половицы под тяжелыми мужскими шагами, и дом успокоился, почувствовав хозяина, приободрился и осветился. Муж ее Алексей стоял на пороге, улыбался и обивал, притопывая, мокрый снег с сапог:

— Малыш, ты что это приуныл?.. Ты только посмотри, какой у нас теперь дом! А деревенька... Другой такой и не сыщешь. Ведь мы с тобой уже не сможем отсюда уехать... Правда? Ты не горюй, все у нас еще будет. Ничего, что стены голые, главное, что они есть, и топчан уже есть. Знаешь, я вдруг понял, что, оказывается, всю жизнь мечтал именно о таком доме и о такой печке.

Затрещали весело поленья, и затуманились окна, согреваясь наконец-то после долгой зимней стужи... И они стали жить, любя друг друга в этом доме.

Они не успели растратить себя в одиноких скитаниях по общежитиям и чужим комнатам, и была их любовь ребячьей. Все в ней было скоро и близко. Случались внезапные раздоры, но нежность длилась ясными вечерами, и следу нежности той и белым днем не померкнуть было.

Обнадежился старый дом, ожил, заблестел молодо стеклами, днем и ночью призывно глядел на плывущую мимо реку. По весне и березы, склоняясь к нему через дорогу, зашелестели что-то невнятной скороговоркой. Днем и ночью шептали и не могли нашептаться, сплетая в волнении свои длинные гибкие ветви. Сжились, срослись березы и дом за долгие годы. На закате, обернувшись, смотрели вместе на стыдливо розовеющую рощицу, с молодой легкостью сбегавшую под горку. Любовались, грустили ей вслед. А она сквозила непорочной своей белизной и не хотела знать, что когда-нибудь и ей самой придется тяжело кряхтеть и скрипеть, взбираясь наверх.

Варвара лежала в кухне на узкой скамье, неловко привалясь спиной к стене. Голос сына, доносившийся из комнаты, порою пропадал, будто тонул в банном пару. Перед глазами плыли круги и представлялось ей, что стоит она под душем, выворачивая его краны до упо-

ра... Вода хлещет с силой по плечам, пытаюсь сбить с ног. Она чуть наклонилась — и сразу тяжело затоптались струи, вбивая каблучки, увязая ими в иссеченном, плавящемся асфальте спины...

Чьи-то босые ноги, оскользаясь, шлепают к ней и останавливаются напротив. Варвара видит поджатые узловатые пальцы, цепко ухватившиеся за выщербленный пол. Поднять голову она боится, чувствуя кожей враждебный взгляд на себе.

Варвара торопится, спешит, неожиданно вскидывает голову — вода заливает уши, а прямо перед нею баба беззвучно разевает рот, и их много — голых баб с оплывшими животами, стоящих в затылок друг другу и разом раскрывающих злые рты. Она вдруг с ужасом понимает, что давно, очень давно стоит под единственным на всех душем, что все они давным-давно выстроились перед нею в очередь, — и не переставить ног, приросших к полу, и нету сил помыслить, как же ей теперь выбраться отсюда. Никак иначе, только приблизясь вплотную, задевая эти тела, пышущие Душной липкой злобой. Все кажется похожим на дурной сон, она резко взмахивает головой на одеревеневшей шее — и захлебывается тугой тепловатой струей. Не успевает она ощутить ее противный привкус, как боль застревает в ней колом, упершись острием своим в горло, а основанием сдавив желудок...

В полузабытьи Варвара различила резкий частый стук ходиков, висевших над нею, и вздрогнула, когда звякнула, подпрыгнув, цепь. Еще одно ее звено, сорвавшись, освобожденно рухнуло вниз. Осторожно поведя шеей, она запрокинула лицо — гиря неподвижно висела над переносицей. Варвара тоже затихла и больше не шевелилась, сосредоточенно вслушиваясь в себя, пока не почувствовала, как истончается кол.

Сквозь полуоткрытые веки она видела мать. Та так и стояла все это время рядом. На расстоянии вытянутой руки, возле шаткого, со вздыбившимися рассохшимися досками стола... Время пройдет — и забудется, что же за мука скрутила. Годы сотрут сначала остроту воспоминания, потом и само воспоминание. Исчезнут, канут в небытие следы следов, все забудется, и только вздыбленные рассохшиеся доски будут помнить, пока не обратишься в прах.

Кол, сперший дыхание, оказался тоскою.

Варвара опять смежила веки, но от материнских глаз было не увернуться. Выхваченные светом из полутьмы, неотступно следили они за нею. Прищурясь, смотрели с улыбочивого лица глухонемой матери.

Заметив осмысленный взгляд Варвары, мать вкрадчиво протянула:

— Вон ты какая молодая... Тебе ведь еще только тридцать четыре года. Или тридцать три. Что-то забыла я. Мне-то было тридцать четыре, когда я тебя родила, а сейчас шестьдесят семь будет. Значит тебе... Ну да, тридцать три уже. Но все равно, молодая еще, молодая... И все болеешь. Я вот смотрю на тебя и все думаю: помрешь ты скоро. По тебе видно — недолго протянешь.

Дочь отвернулась. Она не могла оторваться от рисунка обоев на стене. Она вилась и завивалась вместе с ним, стараясь достичь розочек. От розочек, прихрамывая, обегала бледно-зеленые шашечки. Все мельчило, мельтешило, и она скользила, изгибаясь по завиткам. Не то ли ей самой мнилось порой, не то ли мысль сама гнала, а та вдруг и вывернется из-за угла: «Неужели?!» В странной улыбке матери угадывалось брезгливое сочувствие остающегося, превосходство здорового над скорчившимся от боли.

Не знать бы никогда фальшивых жестов матери, ее перекошенного будто бы состраданием лица, не видеть, как подрагивают в усмешке уголки скорбно поджатых губ, — и она в который раз пожалела, что привезла мать в деревню.

Близости меж ними давно не было. Может, и никогда не было. Может, и тогда не было, когда Варвара еще дома жила с матерью и бабкой. Смутно помнилась напряженность ожидания матери, тревоги и муки ее детской влюбленности в мать. Теперь Варвара понимала: мучалась она оттого, что уже и тогда чувствовала материнскую холодность, бесчувственность к ее обидам и слезам.

А в семь лет — интернат. Ее первая суббота в рыданиях, на мокрой подушке. Приблизившееся, нависшее над нею строгое лицо старой няньки в скобке седых волос — что случилось, что за истерика? Ее невнятный бессвязный лепет о матери, которая может забыть дорогу в интернат. Нянька поставила ее посреди спальни и ушла. Совсем ушла, забыв о Варьке. А Варька осталась стоять в сонной пустоте спальни под тусклым взглядом еле брезжащего за окном рассвета.

Все спали, в тишине, обступившей со всех сторон, лишь слышно было, как гулко капала вода из крана. Если бы не этот монотонный звук, в такт которому бухало сердце, Варька так бы и бросилась со всех ног по коридору, через громадный вестибюль... А там, за забором, — чистенький голубенький домик с геранью за окошками. Там на завалинке старуха сидела, когда они с матерью шли, языком прищелкивала: какие они все нарядные, праздничные, с цветами. Старухи рано встают, Варька постучит в окошко, все расскажет, и она, старуха, конечно же, Варьку пожалеет: найдет ее мать и приведет сама в интернат после уроков.

Но нянька спала где-то здесь — рядом. Надо было бы бежать мимо нее, а в вестибюле — сторож... Вода все капала — и только потому Варька могла еще стоять и ждать утра.

Когда утро наконец наступило, когда солнечные пятна заструились по паркету к ее босым ногам, радость вошла в Варькину душу. Поняла она, что Тот, кто видит все и знает, не покинул ее. Он все слышал: и как вода капает, и как Варька плачет. Надо только умолить Его, тогда Он все сделает.

Она тянулась, привставала на цыпочки, шевелила беззвучно губами и едва сдерживалась, чтоб не воздеть рук. Молила Его и заранее на все соглашалась, даже и на скорую смерть свою, лишь бы мать пришла за нею. Не было в жизни ее молитвы горячее, чем в то ясное сентябрьское утро... А потом всякий раз в субботу к горлу подступал страх, что уж сегодня-то и не заберет ее мать. Подозревала Варька, что выдумает мать какую-нибудь болезнь, невообразимую причину, чтобы уж навсегда ее в интернате оставить, чтобы не забирать ни в субботу, ни на каникулы. Лишние хлопоты, а главное — лишний рог. Будто ей, воробью-заморышу, было под силу объесть мать за эти полтора дня в неделю.

И в самом деле, стала мать у Вари выпрашивать: не знает ли она, есть такие интернаты, где детей на всю неделю оставлять можно и даже на каникулы не брать. Ей вот на заводе знакомые немые говорили. Может, выяснит Варька у своей воспитательницы, где находится такой интернат.

— Вот, — говорила она, — как хорошо бы стало... И тебе не надо было бы ни о чем думать, а то ты в каникулы все по столовкам ходишь. И не скучала бы ты больше дома. Иногда ведь чуть не весь день просидишь одна со своими книжками, а там — подружки все время, воспитательницы с вами, игры разные. Хорошо...

Варька, тупо уставясь, смотрела, как мечутся перед лицом материнские руки, и отчаяние ее было столь же немо, как и та, что дала ей жизнь неизвестно зачем. В отчаянии не было мысли, лишь тошное ощущение зависимости Варьки, всей жизни ее, всего, что было и будет с нею от этих нелюбящих рук.

... Она маялась всю ночь, то и дело просыпаясь в холодном поту, а к утру обметывало горло, тяжелела голова, и Варька понимала с радостью, что заболела, а значит, мать не поведет ее в интернат.

Когда умерла бабка, дома у Варьки не стало, потому что не к кому стало приходиться. Мать приходов тех не ждала — раздражалась. Но всякий раз Варька уныло волоклась из интерната в эти стены, такие же чужие, по чужим же улицам своего детства. Мать встречала руганью: тут деньги за нее каждый месяц платишь, а она — вот — является и приходится ее кормить.

— Нет, нет! — Варька изо всей силы мотала головой. — Нет, нет, — торопилась она, — сыта! сыта! Не хочу есть, не хочу!

Мать, подобрев, с интересом расспрашивала, что было у них на ужин. Варька, не видя ничего сквозь слезы, махала не своими руками: омлет вкусный, очень вкусный, она его весь съела, а еще хлеб с маслом, чай. Мать ей говорила: вот, видишь, а ты в интернат ходить не хочешь, а там как кормят! Не то, что дома. Дома ты разве б ела омлет! Я его и готовить-то не умею. А там — пожалуйста: и омлет, и котлеты, мясо чуть ли не каждый день. А вот я только и знаю, что жарить картошку.

И она шла на кухню жарить картошку.

Варька прикрывала плотно дверь в комнату, утыкалась в книгу, водила глазами по строчкам и ничего не понимала. Под ложечкой сосало. Варька чувствовала, что изнутри она пустая, полая совсем, и булькал живот голодной обидой.

Ночью, дождавшись, когда мать заснет, она кралась на кухню и воровато хватала кусок селедки и заскорузлые кружки картошки. Ела, давясь слезами. Ела и думала, что никогда матери этого не простит. Ела и мстительно думала: зря мать надеется — не будет Варька с нею жить. Уедет куда угодно, в любую Тьмутаракань, как срок подойдет. Зря мать надеется, что будет кому в старости ей стакан воды поднести.

Срок подошел — и уехала. Легко было первое время не думать о том, кто же матери стакан воды подаст. Далеко до старости матери. Так казалось. И старухой мать не назвать было, будто так и застыла она — между зрелостью и старостью... Год за годом у Варьки из жизни выпадал, а мать все той же была, не старилась. Но годов — все одно — мало уж оставалось.

И вроде кто душу взялся тянуть, вытягивать: мать к себе брать насовсем не хочешь... Варвара тут же начинала оправдываться: куда брать-то?! на голову себе, что ль? А ей в ответ из нее же самой звучало: да не потому, что некуда, мать к себе не берешь, а потому, что чужая она тебе. Чужая. Нет в тебе к ней ни жалости настоящей, ни любви. Одна вина, одна мысль, только мысль, без чувства истинного: ведь мать она тебе, и потому ты должна.

И кто-то продолжал изо дня в день: возьми да возьми, хоть на полгода, хоть на месяц, а возьми. И кто-то нашептывал: а действительно, возьми ненадолго, потом самой жить поспокойнее станет.

Сошлось, наконец, одно к одному: и внука бабка понянчит, и в деревце поживет. Да и думала Варвара за лето много чего успеть: и с огородом, и с ремонтом, и подзаработать, чтоб было на что зимовать. Но не успевала. Каждый вечер валила непонятная боль на скамью под ходики. Ничто не помогало. Врачи смотрели недоверчиво: больничный мы вам дать не можем.

А сын... Времени на него не хватало. Вышло так, что не убавилось хлопот с приездом матери, а прибавилось. Весь дом на Варваре,

и еще огород, и еще мать, и еще то, другое, пятое, десятое. Конца этому не было. Сын же полуторогодовалый, Ник, до приезда глухонемой бабки начавший было говорить, быстро замахал вместе с нею руками, стал легко обходиться без слов.

Матери деревня пришлась по душе: воздух чистый, покой... Во всем покой, даже и пол ложится под ноги покойно, не трясется в лихорадке от громящихся под окном трамваев. И мать деревне пришлась. Всякий Варваре при случае говорил:

— Доброе у мамы твоей лицо, хорошее. И приветливая она у тебя. Всегда и поздоровается еще издали, и скажет что-нибудь по-своему...

Мать всем — знакомым и незнакомым — сияла радостно навстречу.

Ей нравилось нравиться.

И сегодня днем, не успела Варвара с работы придти, как мать спросила ее:

— А что обо мне говорят в деревне?

С показным безразличием, как бы между прочим спросила, а сама смотрела, не отрываясь, на Варвару с ожиданием.

Та неопределенно пожала плечами.

А ведь знала она, что стоит только вымолвить: «Хорошо говорят, хорошо», — и мать будет довольна.

И что для этого было надо?! Да ровным счетом ничего, никаких усилий. Улыбнуться, выставить вверх большой палец. Но руки упрямо висели вдоль тела, не желая подниматься. И не потому только, что давно уже забыла Варвара язык жестов, деревянными стали руки. Будто со стороны виделись ей собственные уродливые жесты, лицо, искаженное напряженной гримасой...

Варвара с работы плелась с единственной мыслью: что бы приготовить на обед? Она устала изобретаться. Бросив донимать себя заботами о том, где бы добыть мясо, решила достать из морозилки курицу, неделю уже сиротливо там лежавшую. Решилась — и даже забыла об усталости.

Войдя в дом, сгоряча, не переодеваясь, накинула фартук и принялась за обед. Хоть мать и молчала, третий день хлеба молочный супчик, но уже чувствовалось, что терпение ее испытывать не стоит. Варвара предвкушала, как обрадуется и удивится мать курице. Когда та, почувствовав по дрожанию половиц ее шаги, вышла из комнаты чуть разомлевшая после дневного сна, потягиваясь, Варвара и ощутила вдруг, как устала. Не глядя на мать, загремела кастрюлями, даже не пытаясь скрыть раздражение.

Мать же, не замечая ничего, рассказывала деревенские новости. Кого видела, кто баню топят, кто на реке белье полощет. А корова сегодня пасется прямо на нашей картошке. Она хотела прогнать ее, а та на нее рога наставила... Подхватила она Ника да бежать. И козлята там же, рядом с коровой. Все ведь изроют...

Варвара махнула недовольно рукой и пробурчала:

— Господи! Да ничего с этой картошкой не случится.

Тут мать и спросила: что обо мне говорят в деревне.

Варвара досадливо повела плечом:

— Не знаю!

Мать смотрела чуть смущенно, с искательной улыбкой. Не дождавись желанного ответа, хотела вспылить, но переборолла себя и опять спросила с полу-утвердительною интонацией:

— Да разве ж не говорят тебе: какая, мол, мать твоя красивая, какая ладная. Как жалко, что такая несчастная она — глухонемая? Разве не жалеют меня?

Не сдержав снисходительной усмешки, дочь лишь пожала плечами.

Но мать впилась в нее глазами и уже не умоляла, а требовала ответного:

— Да, да, жалеют. Все жалеют. Все говорят.

В напряженном ожидании готовилась злая обида, вскипали слезы. В душе Варвары слабо шевельнулась жалость. Испугавшись назревающей истерики с пронзительными вскриками и рыданиями, она с усилием растянула губы в подобие улыбки и сказала:

— Ну конечно, конечно, и жалеют, и говорят, что ты добрая и всегда всем улыбаешься, — и быстро, как показалось ей, ловко перевела разговор. — Вот я курицу тут достала. Какую ты хочешь, жареную или тушеную?

Поесть мать любила. Часто, с блаженной улыбкой сглатывая слюну, рассказывала, как, бывает, купит цыплят или рыбы свежей, хорошей, дорогой — на всю десятку с пенсии и почти сразу все и съест. Рыбы нажарит целую сковороду, а цыпленка целиком отварит в кастрюльке. Бульон наваристый — за уши не оттащишь. Так, глядишь, за день все и съешь незаметно.

Когда говорила она о еде, искренни были ее жесты. Забывшись, она счастливо улыбалась, но, перехватив дочерний взгляд, тускнела лицом. Что-то цепляло во взгляде дочери. Что-то обидно сквозило в нем. А у Варвары, как всегда, лишь мать начинала говорить о еде, тошной тоской заходило сердце.

Молчание дочери распалаяло мать и она продолжала: редко, мол, бывают на вашем столе цыплята и рыба, а если и бывают, так жалкий кусочек, будто подачка.

Мать тыкала пальцем на книжный стеллаж:

— Все говоришь: денег нет, денег нет... А сами — с мужиком своим — все носите да носите книги каждый день. Они вон какие дорогие нынче. Скоро и жить вам негде будет — все книгами заставите. Все не как у людей. Ни обстановки, ни посуды, ни тряпок — одни книги всюду... На книги деньги находишь, а мать голодом моришь. Я вон у вас всего второй месяц, а и платье-то выходное надеть стыдно, болтается на мне, как на вешалке. Так-то ты о матери заботишься?! Что люди скажут? И не стыдно тебе, не стыдно...

Варвара жалко улыбалась:

— Неужели ты думаешь — не купила б я тебе рыбы или мяса, будь они в магазине? Ведь нет ничего. Нет. Не веришь, поедем вместе в поселок — сама увидишь пустые прилавки. Я же всегда и писала и говорила тебе: плохо у нас с продуктами, плохо.

Мать смягчалась, но все еще недоверчиво косилась на нее:

— А вот и возьми. Возьми меня с собой по магазинам, я сама посмотрю, что там есть, а чего — нет.

... Услышав про курицу, мать обрадованно всплеснула руками:

— Да что ж ты молчала до сих пор, что курица есть?

Стала, довольная, потирать ладони, но потом вдруг переменялась в лице:

— А... Вот ты почему до сих пор молчала! Припрятать, небось, хотела, чтобы мужику да малому своему тайком от меня скормить. А мне под нос кукиш. Кукиш, — кривлялась она, и жесты ее были откровенно бесстыдны. Мать никогда ничего в себе не подавляла, все выставляла напоказ. Перед близкими, без посторонних глаз.

Она продолжала:

— Я знаю, знаю... Я давно догадываюсь. Спать меня уложите... Подойдешь: бедная, ах, бедная, устала, притомилась. Отдохни, отдохни. И так это все гладишь-поглаживаешь, ласкаешь, милуешь, а сама ждешь — не дождешься, когда засну. Уложишь меня, и давай вдвоем с мужиком своим пировать. И все у вас сразу есть: и бутылочку всегда для себя припасете, и мясо у вас есть, и всякие вкусности...

Варвара в растерянности смотрела на мать, губы ее задрожали от обиды. Захотелось облегчающих слез в каком-нибудь темном углу, чтобы никого рядом. На душе стало черным-черно. Со дна поднялась обычная муть, и она что было силыхватила кулаком по столу:

— Все, довольно! Вот тебе курица. Тебе! Одной! И делай с ней, что хочешь.

Мать сразу пришла в себя, и потом ходила следом, готовая тотчас помочь, принести, унести, подать. Варвара тогда еще подумала с удивлением: «Неужели обошлось?..» Куда там. И, не сумев ничего иного придумать, пересилив боль, постаралась спокойно повторить привычное:

— Разогрей себе курицу, а мальчику суп. Ужинайте без меня.

Время ужина еще не подошло, мать недоуменно вскинулась, но все же пошла покорно к плите, чиркнула спичкой. Передвинула кастрюлю и застыла неподвижно у плиты. По лицу ее гуляла неожиданная злорадная ухмылка:

— Денег-то у тебя ведь нет! На что тебя хоронить-то? На меня не надейся, не думай, что я тебя хоронить буду. Я своих денег не отдам — я себе их на похороны собрала. На книжке лежат. На все хватит, и на музыку, и на гроб, и на церковь. Да и на памятник останется. А больше у меня денег нет. Только себе на похороны, так что не надейся. У меня все по-людски будет. Вот так. Да...

Мать задумалась на мгновение, помешивая суп, с видимым состраданием посмотрела на дочь, но вдруг опять ухмыльнулась:

— А тебя, видно, так и завернут в какую-нибудь простыню драгую, да и кинут в яму за кладбищенской оградой, как нехристь какую. Как собаку зароят — и ни креста, ни памятника... Вот и мужик у тебя тоже больной, тоже не сегодня-завтра помрет. А и у него, небось, за душой ничего, долги одни. Вот и его тоже в простынку завернут да к тебе в яму и положат. Так и будете там лежать, и следов никаких не останется — все бурьяном зарастет... Вот только малого жалко. Неплохой. Конечно, если б девочка, было б лучше, мальчишки-то потом коли не бандитами, так хулиганами становятся. Да все равно, пока маленький, жалко... Ой, как жалко!

Она в тоске прижала руки к сердцу, но опять неожиданно посуровела и загрозила пальцем:

— Но я его не возьму. Не думай. И не надейся даже — сразу говорю. Куда мне?! Старая уже. Здоровья никакого. И пенсия... Хоть и не маленькая, а только-только на себя хватает. Ни в чем себе отказывать не хочу. Бутылочка у меня всегда в холодильнике стоит, стопочку перед обедом да перед ужином приму — и хорошо. Сразу на душу ляжет. Когда и пожить, как не на старости лет... Ну ничего, ничего, ты не особенно расстраивайся. Не пропадет малый твой, не пропадет! У нас интернаты, детские дома. Не дадут ребенку пропасть. Не война, слава Богу... В интернате чем не жизнь?! И накормят, и напоят, и оденут. Я и сама, хоть сейчас бы в дом престарелых пошла. Там все тебе готовенькое, ничего делать не надо, только гуляй по скверу, на лавочках посиживай, пей да ешь. Да не берут. Говорят, комнату надо сдать, тогда возьмут. А мне жалко комнату-то...

Дочь перебила:

— Выключи суп — скоро выкипит весь. Иди покорми мальчика. Иди же! — и закрыла от боли глаза.

Кол стал совсем тонким и сломился посередине, прижав сердце к самым ребрам. Боль, то возрастая, то затихая, плавала от желудка к сердцу, сдавливая их.

Опять жалобно звякнула цепь, подпрыгнула гирия. Варвара отвернулась к стене. Гирия раскачивалась прямо над виском. Представилось, как сорвется. Тяжелый удар — и финита ля комедия. А ля улю. Даже

боли ощутить не успеешь. А мать засуетится, заохает, заплешет руками, закачает головой и не вытрет своих слез, чтобы долго, долго — всю оставшуюся жизнь — блестело ими ее мокрое лицо, чтобы все жалели потом ее, такую красивую да несчастную. Каково: сама глухонемая, всю жизнь мучается, а тут дочь... Только-только на ноги встала, ребеночка завела и сразу на тот свет. И главное — как! Это как для матери будет особенно важно:

— Пошла внучка покормить. Тихо все, спокойно. Прихожу — она уж и не дышит. Прямо по виску гиря угодила. Как сорвалась — ума не приложу. Ну тут, видно, как кому на роду написано. От судьбы не уйдешь. Да...

И наполнится жизнь матери смыслом. О ней заговорят, будет она отмечена: «А это та, у которой дочь...» Долго будет носить она черный платок, так долго, пока будут спрашивать, пока не привыкнут, лишь тогда снимет. И всякий раз при встрече — будь то знакомый или случайный прохожий — подождет губы и посмотрит окрест со страданием. И все: и знакомые, и случайные прохожие — покачают соболезнующе головой и оглянутся вслед с сочувствием. И продолжится жизнь ее на высокой ноте...

Поздним вечером сидела мать в углу кухни, кусала губы, глотала злые слезы. Руку Варварину оттолкнула, взглянула мутно:

— Обрадовалась, что деньги у матери есть?! Думаешь, небось: ничего, никуда не денется — похоронит. А как деньги мне те достались — и не думаешь. А меня-то потом на что хоронить будут?.. — рот ее горько кривился.

— Господи, да не переживай ты! Не переживай. Не нужны нам твои деньги. Похоронит меня Алеша и без тебя, ни копейки у тебя не возьмет. Гробы у нас на работе своим бесплатно делают и венки еловый сплетут. А без музыки обойдусь. Не переживай. Никто на твои деньги не зарится.

Душно стало Варваре в доме — нечем дышать. Села на завалинке и подумала вдруг:

— Хорошо, что Алеши нет.

Она бы ведь не стерпела, забила бы под его ладонями:

— Алешенька, мать родная одним только мучается, что хоронить ей меня на свои деньги придется.

Алеша бы матери этого никогда не забыл. Всегда бы помнил, хотя считает, что ее по нашим меркам судить нельзя — и все равно бы судил. Не мог бы не судить. А им тут жить еще всем вместе, бок о бок тереться. Мать его и так боится, страдает, что не любит он ее, не жалеет так, как ей бы хотелось...

Где-то там Алеша ее скитается?.. Опять живет она Пенелопой. Но Варваре легче, Варварин-то срок определен. Брал Алеша раз в месяц в бюро сопровождение и тащился в душном экскурсионном автобусе за сотни километров в столицы, чтобы спустя трое суток на исходе длинного-длинного дня, когда она домывает ступеньки крылечка, встать перед нею с неподъемными сумками в обеих руках:

— Малыш, здравствуй!

Сидела Варвара не шевелясь. Мысли все распустила. Не допускала себя к обиде, к самому краю подойдя. Вспомнились ей бабушкины слова:

— Варя, недолго мне уже осталось. Недолго. Ты запомни: нельзя себя до обиды допускать. Все обиды нам за грехи наши даются.

Думала Варвара, роясь в давешнем, как сумела бабка вынести, когда ее, мыча, ненавидящим лицом, ненавидящими руками проклина-

ла дочь за то, что та ее на белый свет немой явила и мучиться оставила. И грозилась, как подойдет смертный час матери, ни куска хлеба ей не дать, ни стакана воды ей не поднести.

Бабка подкидышем была. Все в жизни ее было так же незаконно: и счастье, и несчастье — как и зачатие, и появление ее на свет Божий нежеланное . . .

Крыльцо, куда сверточек подложить, мать, зная, заранее выбрала и не ошиблась. Внесли в дом, обогрели и оставили. Семейство степенное, жизнь размеренная — обиды не приходилось терпеть.

Когда подоспела пора замуж собираться, времена наступили тяжелые, смутные. Зыбкость кругом, земля из-под ног уходит стала. Недолго перебирали, быстро просватали. Невеста молода да пригожа. Жених ей под стать. Но ни кола, ни двора, ни гроша за душой, один чуб удалой, смоляной. Красавцем был. Горбоносый с орлиными очами. Люди перед свадьбой придели, и сыграли свадьбу на славу.

После свадьбы на третий день проснулся гол, как сокол. В глаза не смотрел. Но жена безгласна была, сама глаза отводила, слабости его видеть не хотела. Знала уже, как быстро тоска и стыд злобой обернуться могут. Тогда-то и зарыл он чуб свой удалой в ее юбки. Не сразу рука робко легла на склоненную голову, он этого будто только и ждал — взглянул. И душа его, смятенная, узнавая, в нее вглядывалась. Вот тут и поняла она, что стала женщиной, когда по-матерински гладила его кудри и ощутила впервые покой в себе. Так много вдруг ее стало, что незачем и нечего больше стало ждать, искать, все разом дано было в ту минуту и на всю жизнь.

Берегла, хранила его, да так и не хватило сил уберечь. Слаб был. Во хмелю буен, с похмелья жалкие слова говорил, виноватся. Сыновья его такими же были, вот только жалких слов говорить не могли, но мычали так же жалко.

Она и это вынесла. Не заживались детки, первых двух во младенчестве схоронили, ну а те, что задержались, за слабость отца своего, за ее терпение платили мычанием вместо голоса, и в ушах их стоял вечный мерный рокот морского прибоя, никогда ими не виданного. Покоя в их душах не было. Ущербны они были, изъязвлены. Одни — добры безмерно, другие — так же злы. И добрым не хватало силы жить. Тяготились жизнью с самого рождения, пока один, наконец, не взял кусок хозяйственного мыла и обрывок бельевой веревки и не пошел в сарай, а другой ничего иного не придумал, как в воскресный жаркий день зайти на пляже городском в воду и, примерясь раз, другой, опуститься на илистое дно и держаться за него из последних сил, обламывая ногти. Она эту грязь, в ногти забившуюся, не видела, слава Богу, но знала о ней, а те, что смотрели, не увидели.

И муж ее, бедолага, как жил бестолково, одним днем, так и умер — легко, посмеиваясь. Выпил на сорокаградусном морозе две кружки душистого пивка после бани. Так и запомнила она его стоящим в дверях, в шапке набекрень, с обледенелыми усами. Таким и в снах, и наяву являлся ей.

Обернется она, бывало, а он ей:

— Варварушка, касатка, хорошо-то как, милая. Душе полегчало. Парит душа-то.

В гробу лежал — улыбался, а она с той минуты, что веки ему прикрыла, разучилась. Будто отмерло что-то в душе. Какая-то живинка, которой люди радуются. Поджала губы, втянула скулы и стала жить обуглившейся почерневшей головешкой. Знакомые при встрече не узнавали, долго вглядывались:

— Да ты это, что ль, Варвара?!

Она кивала только, губ не разлепить было.

Пришлось жить. Ради детей. Но оказалось, не в награду они — в наказание. Одни — мученики, другие — мучители... Потом, как оно от века ведется, стала Варварушка бабкой. Внуки и вовсе чужие. Она их и видела-то раз в год.

Так и жила — никакой отрады на старости лет, пока не появилась эта — страдальца со дня зачатия своего. Нарекли внучку Варькой, как обрекли. Вместе с именем силу, живинку бабкину унаследовала она. В ней бабка и увидела себе оправдание.

Вот и пришла минута та, когда внучка ее к ней обратилась. В памяти о ней искала свет, что примирил бы с миром и с матерью...

Нет, не понимала Варвара, за какой же такой грех ту страшную обиду перед смертью бабка терпела...

Утро наступило. Как всегда. Она вошла в него привычно и не благодарилась за то, что дано еще быть. Потому что невозможно думать, что утро может наступить без тебя, если сонные ручонки обхватывают за шею и уже через мгновение распускаются и обвисают беспомощно вместе с долгим тельцем, и ложится доверчиво головенка сына на плечо, чтобы задышать, засопеть в самое ухо.

Мир войдет в душу — и увидишь покой и на материнском лице. Будто впервые предстанет пред тобой разгладившееся лицо спящей женщины, которой обязана жизнью. Смотришь на разметавшиеся по подушке волосы, мягкие, пушистые, которые рука сама ласкать просится, и щемит виною сердце. Мать твоя так же беспомощна и нуждается в тебе, как и сын твой. Оба доверились тебе спокойствием своих снов.

Вспомнился Варваре недавний разговор с матерью. Выходной тогда был. Мать, как встала, сразу к ней: иди, сходи на почту, там письмо от крестной твоей лежит. Она отмахнулась: какое еще письмо?! Мало у нее, что ли, дел... Мать же все ходит, просит: сходи да сходи. Возьми письмо. Нехорошее письмо. Случилось, видно, что-то, болит душа. Варвара ей: что это ты так уверена, что там письмо? А мать опять: не могу — тревожно мне.

Пришлось бросить все и идти. На почте и в самом деле ждало ее письмо от крестной, сестры матери. Писала та, что совсем ходить не может, что-то с ногами у нее приключилось...

Мать встречала на краю деревни. Варвара ей издалека еще конвертом помахала. Мать спешила навстречу, счастливая, улыбаясь: вот видишь, а ты не верила. Узнав о болезни сестры, взгрустнула: да, вот ведь — моложе меня на десять лет, а болеет, а я еще — ничего. Ничего. Но ненадолго это омрачило ее детскую радость, что предчувствие сбылось и дочь в этом убедилась.

В тот странный день и рассказала она, что все письма Варварины заранее предчувствует, и все болезни ее, и все несчастья. Как что случится — так сразу начинает у нее в груди под сердцем ныть, ворочаться. Донимает нытье ее, пока известие не придет. Вот только тогда у нее на душе враз легко становится и она успокаивается, а так все ходит и мучается: что же это такое случилось?

Варвара слушала и понимала с горечью, что у нее этой связи с матерью нет. Она если и мучается, так виною. Тревоги же ее обычно понапрасну. И всякого предчувствия она лишена. Беда всегда наступала внезапно. Может, и бывают они, предчувствия те, шепотком, булавочным уколком, но она отмахнется от них, не желая поверить. А может, просто растравлять себя не хочет — бережет?..

Корила она тогда себя, что такой бесчувственной уродилась. И теперь, вспоминая что-нибудь из того дня, она изредка улыбалась.

Руки машинально делали свое дело, а она думала о матери... Вставало перед ней молодое ясное лицо. Мало ли что говорит

мать. Чего только сгоряча не скажешь. Слова, что вода, а вот сердце вешее не всякой матери дано. У Варвары, как ни любит она Ника своего, такого сердца нет.

Уходя, ласково тронула за плечо:

— Вставай, каша на плите, на столе гренки с молоком, — и вскинулась мать испуганно, черной тенью порхнуло раздражение по мгновенно постаревшему искаженному лицу, и уже через силу растянулись губы Варварины в успокаивающей полу-улыбке. Переплелись опять неразрешимо обида, вина, стыд и горечь в ней.

Взошло солнце, туман речной пал на травы рососою, и вместе с ним словно растаял вновь обретенный мир в душе.

Варвара шла и не видела ни леса, взявшегося вдруг желтеть и редеть, ни лившиеся сквозь кроны сосен седые столпы солнечного света, и ничто не дрогнуло в ней, когда мельком взглянула она на недвижную гладь озера, на открывшийся глазу простор под спокойными небесами.

Давно отделились они с матерью друг от друга. Особенно мучительны были первые минуты редких встреч, ставших для нее тягостной неизбежной повинностью.

Она входила в подъезд, в нос шибал никогда не выветривавшийся запах сырой затхлости... Она медленно поднималась два марша по темной лестнице, на последней площадке маета при мысли, что сейчас надо будет обнять мать, заставляла ускорить шаг. «Любящая дочь обнимает любимую мать»... Все в ней противилось этой лжи, этому объятию.

Вспоминалось, как Алеша впервые привез ее в свой родной дом. Мать его шла навстречу с миской в руке. Слабо охнула, ткнула наугад миску шарящей рукой, Алеша успел ее бережно подхватить, поставить на перила — и мать обмякла в его руках, склонилась голова ее на сыновнее плечо. Он целовал щеки, лоб, мокрые глаза и с дрожащей нежностью говорил:

— Мамочка, здравствуй!.. Ну как ты тут, здорова?..

А южным синим вечером они сидели в обнимку на обветшавшем крыльце старого дедовского дома, и мать ерошила его волосы:

— Совсем ты, Алешка, седой, сивый стал... .

Все было так обычно, как оно и бывает в жизни, а Варвара смотрела на все это такое привычное, и ее колотило, и ей хотелось кричать: «А мне-то за что?! За что... Я тоже т а к хочу, я тоже т а к умею». Но в ее жизни было совсем не так.

Она нажимала кнопку, в немой тишине раздавались шаги, за дверью слышалось тяжелое свистящее дыхание, шуршание, мать выглядывала в глазок. Затихала надолго и наконец снимала крючок. Открывалась дверь, мать неподвижно стояла перед нею с опущенными руками, стеснительно улыбаясь, и Варвара неловко обхватывала ее, прижималась безжизненными губами ко все еще упругой материнской щеке, а та точно так же клевала в ответ. Не глядя друг на друга, они входили в комнату. Дочь, облегченно передохнув, слышала сзади такой же вздох. Не сразу она оборачивалась, мать, поймав ее взгляд, поспешно начинала тереть ладони, стараясь казаться довольной, и говорила:

— Ну вот и хорошо. Хорошо. Вот и приехала. Ну и слава Богу. Хорошо, что приехала, а то я все одна, одна. Так скучно. А теперь совсем другое дело. Вот и привыкну к тебе, а ты уедешь. Ты уедешь, а я потом плакать буду, тосковать. Ну да ладно. Ничего. Главное, что приехала. И хорошо.

Дочери приходило в голову, что мать, с тех пор как получила телеграмму, только и делала, что убеждала себя: как хорошо, что приезжает дочь. И маялась, и маялась день за днем, пока не припала наконец к глазку и не увидела ее. Варвара потому и обнимала сама, что

понимала: выжидание, неподвижность, опущенные руки матери оттого, что стесняется она своей взрослой дочери. Стесняется себя, маленького роста своего и неграмотности, глухоты и немоты своей, когда видит ее, высокую, образованную, говорящую, с ее деланно радостной улыбкой на худом лице, с по собачьими тоскливыми глазами.

Боже, но отчего такие чужие?! Мать и не подозревала — насколько. Мать все надеялась и ей не раз говорила о том в злую минуту: случись что, ведь ко мне придешь, приползешь, молить будешь, рыдая. «Прими к себе», — а я еще подумаю: принять ли.

Она молчала. Потому что знала, коли уж ползти придется, то куда угодно, лишь бы прочь от родного дома...

Когда Варвара вспоминала о матери, ее всегда изводила одна и та же мысль. Мысль о долге. И не каком-нибудь фигуральном, а о самом что ни на есть натуральном. В рублях. В тех рублях, что мать несла сначала в бухгалтерию интерната, потом на почту...

Давно ей уж пора было стать поилицей-кормилицей матери на старости. Думалось все, как счастлива была бы мать, если хотя бы десятку в месяц посылала ей Варвара на гостинцы. Как гордилась бы, как ходила к соседям, будто бы за тем, чтобы прочли ей, что же это за извещение, да от кого, хотя сама сразу же, несмотря на свою безграмотность, разглядела бы десять рублей и цифрами и прописью, и фамилию отправителя сразу бы разобрала. А что самое главное: копила бы эти десятки и носила в сберкассу на книжку, чтобы потом, после смерти ее, дочь бы их получила и была благодарна. И стало бы это для матери настоящим счастьем. Тем, которое так редко в жизни ей выпадало.

Но не было десяти. Не было... Хотя ложь. Ложь. Самой себе не хочется в том признаться. Можно было бы эту десятку, подобрать, поджатым слегка, но найти. Только не считала, что стоит поджиматься ради этого. Оказывалось легче мучиться своим долгом. Оправдание же находила в том, что десятка казалась необходимой именно сейчас, когда в новеньком дешевом пальтеце ощущаешь себя королевой, идешь, не касаясь земли; когда, не задумываясь, последний трояк тратишь на пластинку с печальным перебором струн и высокими словами о любви и разлуке.

Уплывали бестолково деньги из рук, и бралась она за ручку, выводила душевные слова, и коржило ее от стыда, и наконец получала по почте от матери ту же десятку.

В музее ни одной группы. Четверг был пустым днем, коротким затишьем перед людским валом конца недели.

Варвара подумала с облегчением: «Вот как раз и время будет выяснить все, как следует. Нечего сидеть и голову пеплом посыпать!»

Вошла во флигель и следом за «Здрасте»: кто знает, выплачивают ли страховку в случае смерти по болезни? И никто не знал: платят ли наследникам по страховке в случае естественной смерти...

Естественной! Если задуматься, то было от чего придти в ужас. Но Варвара не задумывалась, а переходила от одного к другому: именно естественной смерти, а не от несчастного случая. В конце концов она напала на сведущего человека. Ей сказали: нужно смешанное страхование. Она обрадовалась и остановилась.

Села у распахнутого окна: мимо торопились люди, и никто из них не знал, какая смерть его постигнет — естественная или от несчастного случая. И, наверное, мало кто из них знал о смешанном страховании. Потому что смешно страховаться от естественной смерти.

А та, что знала, рассказала: муж ее как-то льготно застраховался на тысячу. Там надо доплачивать еще какой-то процент. Льгота в том, что «в случае чего» получаешь две тысячи. Муж очень обрадовался, а она ему и скажи: чего радуешься, дурачок, эти две тыщи уже

не тебе получать в случае чего. Он чуть не расплакался: змея ты и есть змея, а никакая не киса, даже порадоваться не дала. Так расстроился, что собрался и пошел на следующий день расторгать страховку, но его турнулу от одного окошка к другому, от другого к третьему. Он и плюнул: а-а, ладно, говорит, я не порадуюсь, так хоть киса моя меня добром вспоминать будет, пока тыщу эту дармовую не пустит по ветру.

Значит, смешанное страхование.

Господи, но почему же никто ничего не знает?! И она б никогда не узнала, если б не мать. Так бы жила и думала: а на что ее хоронить будут в случае чего? Легко Варваре стало жить, как никогда до этого. Как тем старушкам, которые на похороны уже успели деньги собрать.

Все было хорошо целый день, пока не ступила нога ее на дорогу домой. К матери и сыну. Дорогу вокруг озера. Такую долгую, что как ни стараешься не думать ни о чем, все равно непременно о чем-нибудь да задумаешься...

Она шла по дороге, а дорога шла по земле. Но не знала Варвара, где же та земля, в которую ей лечь. Не было той земли, которую она бы для себя откупить захотела, чтобы навсегда в ней упокоиться.

Вся земля чужая. И ты чужая даже и той земле, где родилась. Где и земли-то, в сущности, нет.

Где они — кресты наши родные?

То кладбище, на котором бабку хоронили, закрыли. Закрыли навечно. А то, что нынче, на Мыльной горе, так лучше по полю пепел развеять, чем на тот пустырь, в ту глину лечь.

А здесь — хорошо. Сухо, песочек. Дух сосновый, янтарный. Мила земля сердцу, мила. Но ты ей чужая. Пришлая. Ничья. Ни митькина, ни ношкина. А так — легла в землю, ну и лежи, земли много — и взгляд равнодушный скользнет по холмику, не задерживаясь.

Алеше легче. У него местечко есть — в ноги к бабушке. Федору Исидоровичу. А у Варвары и того нет. Потому, как услышала в первый раз, сразу просительно: и я с тобой. В ноги. А куда ж еще?! Больше некуда. В бабкины бы ноги, но уж и сама дорогу к тем ногам не найдет Варвара.

Когда же впервые подумалось о том? А давным-давно... Она тогда только из Ленинграда уехала и тосковала еще по его промозглым вечерам, туманным площадям и проспектам. Тянул еще этот город, где место ее было расчислено и определено в каком-нибудь общежитии на окраине, что росли, как грибы, то там, то сям. Благоустроенные, со всеми удобствами, точечного типа, в которых уже не молодость проживать, а что-то такое — неназываемое — после прозябать у еле дышащих батарей-листочков центрального отопления. Листочков, неслышных, недвижимых, уж таких тонюсеньких, что и не понять, где в них тепло-то держаться может, которым согреться.

И вот в Ленинграде, давным-давно, в чей-то день рождения собралась она своим кругом. И не бабьим, и не девичьим, а и не поймешь — каким — кругом. Вышли в коридорчик покурить. Под стеночкой стояли и тихонько, спокойно говорили. Вели свой нескончаемый, обычный, то ли бабий, то ли девичий разговор. Зоя тогда так же тихонько, прямо перед собой в никуда глядя, с сигаретой на отлете и сказала:

— Со всем вроде смирилась. Уже не то, что вслух, а и сама с собой думаю: «Никто ты, и звать тебя никак». Все, — говорит, — терпела, терплю. Все, казалось, уже было, и стерплю. Но как подумаю, что потом, после смерти никто никогда не придет и цветочки не посадит — потому что не то, что цветочки посадить негде, а и придти-то некуда — так и жить не хочется. Как жизни не было и нет, так и смерть такая же

несуразная ждет... Вот это, оказывается, стерпеть не под силу. Потому что впереди, оказывается, и не смерть, а так: фюить — и так оно и было. Ни тебя, ни холмика. И что там с телом твоим бесхозным сотворят — одному Богу известно. Еще хорошо, коли урночка бесхозная останется. И ни тишины тебе, ни покойников, что вдоль дороги с косами стоят...

Они молчали, а Зоя все постукивала указательным пальцем по сигарете, хоть пеплу там и не успеть было скопиться, чтоб столбиком вниз рухнуть, чтоб взглядом следить, как на лету этот столбик развалится.

Они все молчали, а в глазах их стояли те коробочки с пеплом, те урночки, что после них останутся. И ни земли у них под ногами, в которую лечь, ни человека рядом, что оплакал бы, обмыл, одел и где-нибудь упокоил, а потом бы еще пришел, тоскуя, цветочки на холмике посадить, с землей поговорить. Никого у них рядом ни при жизни, ни после смерти.

Зоя тогда и сказала чтоб совсем уже добить:

— И родительско: субботы никогда нам не дожидаться. Не для нас она.

Так это все Варваре в душу запало. Гвоздем ржавым. Время шло: после смерти вроде пристроилась; с Алешей — в ноги. Но вот родительская суббота... Не верила она, не хотела верить, что родительская суббота может стать не для нее.

И права была, что не верила.

Случилось это опять в Ленинграде, который никогда, за всю ее жизнь в нем, не принес Варваре счастья, кроме разве что одного из вечеров, когда призрачно светилось над Невским розовое небо, отзвякал, печально прозвенев по Садовой, последний трамвай, забилась с плеском, нервно облизывая камень, вода в Лебяжьей канавке, а в углу притихшего, запертого на ночь Летнего сада две сильные руки подхватили Вареньку на лету и понесли вдоль пустынных аллей...

Они остановились у заколоченной скульптуры — уже была поздняя осень. Задохнувшись, еле шевеля распухшими губами, она проговорила:

— Ты думаешь, ей не обидно, что ты меня, а не ее целуешь?

И все богини, вознесшиеся над ними, приникли в тот миг к щелочкам, не в силах воспротивиться извечному женскому любопытству, и подматривали ее первое свидание и первые ее поцелуи...

Только вечер тот оказался таким же мороком болотным, как и сам город...

Однажды Алеша сказал:

— Если что случится с тобой, я себе этого никогда не прощу. Я не хочу сходить с ума, если скорая застрянет по нынешней непролазной грязи в какой-нибудь деревне. Что я буду делать с тобой, если больница за шесть километров? В Ленинграде у меня роддом в пяти шагах, я тебя туда и на руках могу отнести.

Варвара усмехнулась:

— Я теперь неподъемная стала.

И она поехала с ним в Ленинград, где ему за нее было спокойнее...

Кругом крик. Кровати скрипят. Перед глазами раскачивается баба простоволосая в задравшейся на животе рубахе, сжавшая ладонями чрево свое. Варвара видела, как вонзает она ногти в кожу чуть ли не до крови, чтобы знакомой болью отвлечься от той душу выматывающей.

Варвара лежала пластом, изредка осторожно шевеля затекшей рукой, — боялась, что выскользнет нечаянно иголка из вены, прихвачен-

ная слегка пластырем, уже отлепившимся с одной стороны. Она вся на вене своей сосредоточилась и гнала вместе с нею жизнь тому, который беспомощно бился в ней, в ее потемках, силясь явиться на свет Божий, но вдруг ослаб и затих.

Тот, которого она так хотела еще и для того, чтобы было кому осветить ее кончину родительской субботой. Господи, о чем это она! Не думала она тогда ни о какой субботе, а только знала, что не для того носила, чтоб, не пожив, уже умер.

Она проглатывала комковатый крик, стоявший в ней, потому что пожилая акушерка сказала кому-то невидному у стены:

— Что ж ты делаешь, родительница? Что ж ты так надрываешься? Ты думаешь: только тебе больно? Ему-то еще больней, еще страшней, а ты ему и вздохнуть не даешь. Как дышать ему, если ты в крике заходишься? Ты стони, голубушка, стони поглубже. Стоном-то не зайдешься — и ему легче будет.

Но та, у стены, ничего уже не слышала и не понимала и продолжала кричать, а Варвара думала: что же с нею будет, как ее настоящие муки начнутся...

Она кусала до крови губы, сжимала левой рукой, свободной, холодящее железное ребро кровати и постанывала. О, если б она могла сесть, скрючившись, с наслаждением обхватить живот обеими руками...

Приходя в себя от собственного прорвавшегося в полный голос сто-на, чувствовала, что дышит часто, прерывисто, и опять кусала губы:

— Мамочка, родненькая... Господи, да что же это такое!

И дышала глубоко, глубоко. Как можно глубже.

Она всегда знала, что он жив и умереть не может. Даже когда настигла предательская мысль: отчего же она не кричит? Значит, ей не так больно, как тем, что кричат; неужели он мертв?!

Но она говорила себе:

— Им так больно потому, что они боятся боли и не знают еще, каково это, когда ребенок умирает, не родившись. Они боятся боли, а я нет. У меня совсем другой страж. Страшнее...

Она делала все, как велено. Она вся была сплошное послушание. Она преданно заглядывала акушерке в глаза и старательно тужилась на счет, потом отдыхала и снова тужилась. Раз за разом. А конца не было. Свет его не приближался, а отделялся. Опять готовили капельницу, искали вену и не могли найти. Она не позволяла себе отчаяться и отчаивалась, что потуги все слабее, а они ищут вену. Что и он все слабее и слабее от ее неумелости, бессилия и от чего-то еще в ней, в чем она и не виновата, но это есть, и она его мучает еще и этим. А они искали вену...

Они так и не успели ее найти, потому что она все же сумела ему помочь, поняв наконец, что ей надо сделать для этого.

И они родили его вместе со старой акушеркой.

Стало легко и пусто, и все сразу отошли...

Он был жив! Но совсем не такой, каким представлялся. Сморщенный, синеватый, сучил худенькими ножками и кричал не басовито, как другие, а обиженно.

Руки старой акушерки были ему велики.

Теперь и ей можно было закричать тоже:

— Боже, какой он смешной!

Нет, он был совсем не таким, которого она ждала увидеть. И этот был лучше. Она и не думала и не надеялась, что он сразу может быть таким родным.

Она кричала и смеялась:

— Но это же надо, до чего смешной!

Врач оторвалась от записей в журнале и сказала:

— Странные эти мамы! Они воображают, что на свет явят сразу же ангелочков. Нет уж, голубушка, сначала помучайся, покорми, это уж потом он у тебя ангелочком станет.

Она попыталась объяснить, что и счастлива-то так потому, что он не ангелочек. Но слов не хватало, или она их просто все перезабыла. И Варвара смеялась.

Врач сказала:

— Конечно, всякое бывает. Если выбирать: так пусть лучше смеются потом, как эта.

И спросила:

— Ты что так радуешься, сына, что ли, хотела? У меня вон пятый за этот час и опять парень.

Она счастливо кричала в ответ, не переставая смеяться:

— Нет, девочку. Но муж хотел сына...

Она еще продолжала вздрагивать от смеха, когда появилась, вознесясь над головами, вся в крови, шестая — девочка. Звонкие шлепки — и плач. Не кричала она, но плакала. Жалобно, пробирая до слез. Она так же сучила ножками, но ручонками обхватила голову и разносилось сверху страдальческое уа-уа.

Внизу кто-то монотонно бубнил:

— Раньше надо было думать. Раньше, а не сейчас кричать: «Зачем же вы так, зачем?!» Тебе говорили: не будешь сама рожать, щипцы придется наложить. Говорили ведь? Говорили... Так что — сама хороша. Дождалась!.. Нечего было орать вместо того, чтобы рожать. А теперь что?! Сама вся как кошка драная и ребеночек с травмой. Хуже нет, когда вот такие рожают. На вид — детина, верста коломенская, а ей в пору в куклы играть. Вот и играла бы, чем с мужиком барахтаться.

Ей слабо слышалось в ответ:

— С каким мужиком? Муж у меня. Муж законный.

И опять скрипело:

— Знаем мы ваших законных. Сегодня законный, а завтра — поминай как звали...

Перед Варварой будто сквозь туман вставало что-то разодранное, расплосованное, сплошь залитое кровью, и над все этим бессильно дрожали разведенные ноги.

Она не хотела смотреть — переводила взгляд, но и там было то же самое. То же самое.

Они лежали на столах истерзанные, беспомощные и сотрясали свои столы крупной дрожью. О них словно забыли. Но и они сами о себе забыли. Не отрываясь, они следили, как быстро и ловко обмывают их младенцев, как мелькают пальчики, судорожно за все цепляясь, пока не окольцуют эти ручки и ножки, и тогда уложат, затихших, туго запеленутых, рядом за стеклом в боксе.

А девочка все жаловалась, не умолкая. Выпростала не подвластные еще ей ручонки, и, обученные болью, обхватили они вновь головку. Удивлялась тому молоденькая сестричка, сочувственно вздыхая и охая...

Им на столах долго пришлось ждать, когда дело дойдет и до них, рожениц. Они рожали в час смены, в дежурном роддоме. Их везли и везли друг за другом, а тех, в чистеньких, беленьких халатиках, в накрахмаленных шапочках было всего трое. И на смену им пришли тоже трое.

Каблочки раздраженно выстукивали по кафелю: сумасшедший дом, сумасшедший дом, работа на износ.

И мелькали между столами шапочки, халатики, завитки волос надо лбом. Во всем легкость. Легкость, давно забытая. Эта их отстраненность от потных опорожненных тел, от слипшихся волос, космами ле-

жавших на клеенке. И стыд, что они, такие чужие и далекие тебе, брезгливыми... или привычными? да, да, конечно, привычными, безразличными, в резиновых перчатках, руками залезут в тебя, в опустевшее лono, в твоё сокровенное на глазах у всех. Мгновенный мучительный стыд и — неожиданно — равнодушие, и даже жалость, что им, таким хорошеньким, таким молоденьким и чистеньким, каждый день среди нечистых, измученных тел, криков. Среди сгустков крови, плоти и всего того, что она не хотела знать и видеть. Она только хотела явить на свет человека.

Но таинства не было. Был конвейер, поточная линия. Это можно было назвать чем угодно. Роды были. Явления не было...

Показали издали — ничего не разглядеть — и... забрали. Вдруг что-нибудь случится, вдруг перепугают. Пока их там не окольцевали, они так и лежали — вперемешку. Ей никакой другой не нужен был, только свой.

И подумалось:

— Никогда не скажу ему: вот на этом самом — черном кожаном диване — ты родился, на нем когда-нибудь родятся и твои дети... Диванов таких больше нет, на которых рожали.

У Варвары все мешалось в голове. Она убеждала себя, что счастлива. Но не знала, была ли она счастлива на самом деле даже и в тот миг, как услышала крик, или потом, когда заходила в истерику от счастья.

Да, у нее не было шипцов. Она была умницей. Алеша ей так и сказал: «Будь умницей». Уже стемнело, а он там где-то все кружит и кружит по улицам и ничего не знает. Не знает, какая она умница.

И теперь он ей скажет:

— Умница, умница моя. Я же всегда говорил тебе, что ты у меня талантливая. Ты все, все делаешь талантливо. Не зря же мне говорили, что у этой девочки все будет хорошо... И сына ты мне родила талантливо. Наследника.

Варвара не хотела смотреть, но отвести взгляд было некуда. И та, напротив, у которой были шипцы, ей улыбнулась слабо и одними белыми губами прошелестела:

— Вы так смеялись. Он у вас и вправду такой смешной? Я-то свою даже не разглядела. — Она закашлялась сквозь слезы:

— Очень.

Девочке было от силы лет восемнадцать, и она опять спросила женщину — Варвару:

— Вы слышите, моя-то все плачет. Неужели это у нее на всю жизнь?

— Глупости какие, и не думайте об этом! Шипцы — они у каждого второго. Она у вас очень хорошенькая, крепенькая. И голосистая. Не то, что наши.

— Правда?.. — и детское лицо явило тайную смущенную улыбку матери.

Варвара пыталась видеть просветленное лицо. Но лицо было вдали. Там, на самом краю. Рядом же, перед глазами ее — истерзанная плоть. И ржаво запекалась липкая кровь меж отверстых ног. Врата жизни подрагивали.

Чрез них вошел в мир человек...

Они лежали обессиленные, еще не отойдя от животного страха, криков, боли, и сквозь кровавую пелену выступило слово и начало все яснее выстукивать молоточками по кафелю. Часто-часто. Между халатиками, каблучками, шапочками, между громоздившимися бесформенными окровавленными грудями. Скотобойня, скотобойня...

Минуты тяжеловесно выпадали из жизни. Наконец Варвару переложили на коляску и выкатили в коридор. Она ощутила блаженное тепло. И не мыслилось, что простыня способна согреть. Ее бил озноб, и счастье представлялось так: на тебя одно за другим кладут гору одеял... Но положили тонкую простынку.

Она лежала под ней, не шевелясь, и живое — все еще живое! — тело нагрело ткань, а ткань облепила, обтекла его. И даже и щелочки не осталось, в которую смог бы пробраться налетавший порывами ветер из распахнутого в ночь окна.

Коляски выкатывались и выкатывались в коридор, пока не осталась последняя — шестая. Девочка-мать. Подошла ее очередь, и ей стала метать-сметывать кровотокающую плоть. И взвился детский ее пронзительный голос:

— Ой, мамочка родненькая! Прошу вас! Ну пожалуйста же, не надо так! Не надо... Больно же, больно. Что же вы делаете?!

Нет, это уже невозможно было слышать. У Варвары все было кончено. Больно, конечно. Но терпимо — ведь сделали уколы. И сколько можно в конце концов. Крик навязал в ушах. Стало жаль бездумного покоя.

Варвара не выдержала:

— Боже, да что же они с нею делают в самом деле? Почему она так кричит? Не рождает же она опять?!

Соседка сказала:

— Разве ты не видела, как она порвалась? Жуть... Ну а если сама порвешься, если не они разрезают промежность, то зашивают так — на живую нитку. Без уколов.

Ей показалось, что она гложет. Выдохнула:

— Почему?..

Все молчали.

Она наконец заплакала:

— Почему, почему?..

Потом много чего надо было вытерпеть. Стиснуть зубы и терпеть. Но пока еще ничего такого не придумали, чего могла бы не стерпеть Варвара, притерпевшаяся ко всему с младых своих ногтей.

Она терпела, потому что он жив и совсем скоро станет совсем ее, лишь бы дожить до того дня, когда запеленутый сверточек, перевязанный голубой лентой (где теперь Алеша ее найдет?! все надо голубое для мальчика, а она, чтобы заговорить судьбу, покупала розовое — для девочки), положат Алеше на руки. Подхватить его и прочь. И забыть. Забыть все.

А оно не забывалось. Ничего не забывалось. Ни этот длинный коридор, по которому, раскорячившись, брела от стены к стене на трясущихся от слабости ногах, удерживая саднящей располосованной внутренней стороной бедер тяжелые, свисающие до колен заскорузлые тряпки-пеленки, сложенные в несколько раз. Ни эти диванчики, кресла и все те процедуры, которые в очередь.

С тобой можно все. Тебе объявят, что швы снимают на четвертый день и тогда же ставят клизму, а до того исключить всякие позывы. Чтобы ни-ни, иначе неминуемо швы разойдутся. И ты исключаешь то, что исключить невозможно. С природой ведь как? Ее — в дверь, она — в окно... И уже на третий день каждую минуту воображаешь, как подходишь наконец к сестричке и съешь зелененький трояк в карман халатика, — вот оно — блаженство. Есть трояк, есть сестричка в халатике, но есть и еще что-то, чего не переступить. Не потому что «против», очень, очень «за». Потому что сестричка одна на весь этот длинный-предлинный коридор, и трояк — плата за услугу, за то, что делать

она не обязана. Но сунуть у к р а д к о й трояк — выше сил. Если б можно было просто подойти и оплатить...

И наступит день четвертый, но окажется, что именно в этот день практика студентов медтехникума.

Сказать себе:

— Ну что же делать, им же надо перенимать опыт, на ком-то практиковаться, — неуклюже взобраться на кресло, стать подопытным кроликом и не выдержать вдруг взятой роли. Вспомнить, что уже стала матерью, а с тобою... на тебе... Страхнув с ресниц непослушные слезы, увидеть оловянные пустые глаза юнцов.

Терпишь же все, потому что шесть раз в сутки на полчаса привозят его, ради которого и пошла на эти муки. Но как в страшном сне катят коляска за коляской, а в них ряды младенцев с орущими зелеными ртами, с торчащими поверх одеялец бирками и возглас вслед:

— Триста семьдесят первого на кормление не привезли. У мамыши в прошлый раз не были намазаны соски зеленкой.

И из раза в раз мажешь и мажешь соски зеленкой. Тонкая их кожа ссыхается, и трещины вгрызаются в нежную мякоть груди...

Но надо мазать их спиртовым раствором бриллиантовой зелени, потому что иначе ребенка не дают и кормят его глюкозой и какими-то смесями, а ты часами сцеживаешь молоко, покрываясь холодным потом от слабости, грудь же горит все жарче, и не грудь уже, а горяч камень из адава пекла...

Варвара стонала в голос, когда он жадно хватал сосок и начинал терзать его, но боль скоро притуплялась и можно было задавить свой стон. Только однажды бросил он вдруг грудь и закричал отчаянно, горько. Мукой звенел его голос. Он подтягивал туго спеленутые ножки и надрывался, натужно, покраснев. Капельки пота выступили у него на лбу. Она стеснительно шептала что-то неумелыми губами, крепко прижимала его, дышащего млечной сладостью, трясла. Все было напрасно, и по-прежнему страдальчески морщилось личико его.

Она подумала:

— За что же ему, невинному еще совсем, муку терпеть? Ему-то за что уж страдание?! Мало того, что с мукой рождался, так и жить, ничего не смысля еще, и уже — страдать?..

Потемнело в глазах у Варвары, не мил стал ей белый свет. Не умела она найти в себе понимания, согласия с тем, что и это нужно, и тут ей тоже надо терпеть.

Сказала она себе:

— Как ты смела его на муки явить?

Легла с ним рядом и заплакала безутешно. А соседка, у нее мальчик ее уже вторым был, подошла, посмотрела на них и засмеялась:

— Ну и дурочка же ты! Да он у тебя, может, так теперь с утра до ночи будет кричать, что ж и ты с ним все время плакать будешь?! Ты лучше возьми-ка да поставь его столбиком. Вишь, как он ножки тянет, может, воздуха наглотался и у него животик пучит. Вот так, вот так — пряменько — поставь. Может, отрыгнет — и ему легче станет.

Варвара держала его с т о л б и к о м, уже затихшего, слезы лились из глаз — никак не остановить — и нашептывала ему не слышно сквозь всхлипы:

— Родненький, кровиночка моя, какая мамка у тебя глупая. Ну, до чего же глупая... Сил нет. Но ты не думай ничего плохого, я все еще пойму, всему научусь, и не будет в жизни твоей больше страдания, пока это в моих силах.

Отступал родильный туман, его жар и дрожь, его вязкая слабость, и ясен был осенний прозрачный воздух, пробившийся из-за наглухо за-

пертых окон, через заляпанные стекла со следами и ее рук, и ее носа, лба, которыми она прижималась к ним близко-близко. Чтобы холод их остудил тоску одиночества без любимого, что топтался, нелепый, жалкий и такой же беспомощный, как и она, внизу на асфальте. И трепыхались они по обе стороны замусоленных стекол навстречу друг другу подранками, разевая бессмысленно свои клювы.

Она шептала:

— Подожди, подожди, милый, уже совсем недолго осталось. Главное, что он уже есть и живет. Наследник.

Шла Варвара одна-одинешенька под высоким небом — никого вокруг, и шелухой никчемной спадали все те оправдания, которыми ей доводилось тешиться и утешаться. Впервые за много лет предстояла вновь она этому небу. Но если тогда, в детстве, муки раскаянья налетали внезапно и скоротечно, то теперь эта мука скрутила и не отпускала, а облегчения даже и не мерещилось на ее краю.

И думала Варвара: нет, что бы там каблучки ни выстукивали, когда она Ника своего в крови, в поту рожала, явление все же случилось. Не забыть ей, как вознесся он над нею на руках старой акушерки, и этого своего удивления перед ним вовек не избыть: как, откуда, чьим соизволением? Оно еще и теперь нет-нет, а возникало вдруг. Она тогда, как и бабка ее в свое время, говорила себе: «Бог дал».

Подумалось тут Варваре: а ведь и ее мать, видно, о родительской субботе не забывала, если отказалась под нож идти, решив жизнь ей сохранить вопреки всему. И прежде всего вопреки мужу. Каково же матери было те муки терпеть: нежеланную рожать?!

Они редко с матерью когда говорили, не бывало такого за всю жизнь, а в это лето в деревне Варвара как-то сама и попросила мать:

— Расскажи, как ты меня рожала. Как это у тебя было? Все расскажи.

Мать сначала рукой махнула:

— Да что рассказывать, рожают-то все одинаково — мучаются. Только мужья у всех разные.

— Вот и расскажи, какой у тебя был.

Мать криво усмехнулась и с вызовом сказала:

— А и расскажу, ты сама теперь мать. Я вот все смотрю, как твой-то с малым нянчится... Как твой сына милует — и не всякая мать приласкать может. А малец так и липнет к нему. Смотрю... Иной раз так тяжело станет, как увижу, так зажжет все внутри, что впору заплакать от зависти да от обиды. Да, да, и не смотри ты так на меня — завидую. Ты-то моего лиха и не знала никогда... И этому тоже завидую. Но, слава Богу, что у тебя все по-другому. Я и вспоминать-то никогда не вспоминаю, как тебя носила. Как подумаю: неужто это у меня одной такое было?! Чем же Бога я так прогневила, что не только языка не дал, но и счастьем бабьим обошел?.. Ведь уж жизнь прожила свою бабью, а назад оглянешься: ничего в ней, одна мука. Я вот думаю все: коли так, пусть бы уж с языком вместе тогда и всего того, что от бабы у меня, лишил. А то — вот оно, пожалуйста — а и не пригодилось никому.

Вот ты, только честно, положи руку на сердце, скажи, твой-то бьет тебя?.. Ну пусть не очень сильно, а бьет? Поднимает на тебя руку?.. Молчишь. Не хочешь и матери родной открыться. Все так и живешь — молчком да молчком, будто не я немая, а ты. Да бьет, небось, бьет! Я что ж, не вижу, какая ты смурная ходишь все. На тебе, что ни день, и лица нет, ты и улыбаешься-то раз в неделю. Кабы не бил, разве б ты такая была? Молчи — не молчи, а я про тебя все наперед знаю: побивает он тебя иногда, побивает. Только ты молчишь из

гордости. Никому не говоришь. А я не горжусь! Меня мой так бил, как редко, наверное, бьют. . .

Первое-то время, как сошлись, не очень бил. Я его тогда пропи-сала, уж как перед бабкой ползала, она все не хотела. Видеть она его не могла. Но я уж выползала. Сначала-то изредка бил, только по пьянке. Это вот как я аборт не стала делать — тебя оставила — вот тогда все и началось.

Я ведь как тебя из роддома домой нести — в слезы. Не возьму, говорю, пока мне и бабке всю ее, как есть, не покажете, пока бабка всю ее не перешукает. Сама-то я тебя и тронуть боялась. А что там увидим мы, пока тебя на наших глазах пеленают?! Несли домой тебя и не знали: обманули врачи или нет. Им что, им бы только из боль-ницы выписать, а как оно потом будет — все равно. Я-то была увере-на, что ты калекой родишься. Я им каждый день говорила: посмотрите, все ли в порядке у дочери, может, калека она все же, так уж в боль-нице оставьте, тут лечите, куда ж мне еще с калекой мучиться.

Я плачу, а они головой покивают: да не расстраивайтесь, не вол-нуйтесь, все в порядке. А как тут все в порядке может быть?! Может, если б я им все рассказала, они б тебя и полечили, и оставили в боль-нице. Да я боялась. Если что с тобой случилось бы, стали бы они раз-бираться! Так двоих и засудили бы нас, с отцом твоим. Он ведь тебя не хотел. Очень не хотел.

Что пьяный, что трезвый, а все норовил по животу ударить. Ну а как уж напьется, да в доме никого нет, все. . . Где я только не скрыва-лась тогда. Все ждала, пока бабка с работы придет. Без нее уж дома и не появлялась. А бабка в три смены работала, и я тоже. Смены у нас разные были, никак в одну не попасть. Я и к начальнику цеха ходила — плакала. Просила: переведите в другую, а он — ни в какую. Так когда бабка в третью, я дома и не ночевала.

Только не всегда угадаешь, и вот уж тогда он сполна за все но-ченьки сразу надо мной и наизмывается. Сначала свое возьмет, а по-том начнет живот мять. Рот зажмет и кулаком, кулаком садит, пока сам из сил не выбьется. И все говорил мне:

— Терпи, дура, терпи. Раньше думать надо было. Мне он, я тебе это с самого начала говорил, не нужен. Лучше сейчас прибью, мало ли мертвых рожают. А ты терпи да молчи.

А как наизмывается всласть — по голове гладить начнет:

— Ну что ты, что ты. . . Не плачь, я больше не буду так, не бу-ду. Очень больно было? Ну а теперь, как ты чувствуешь, жив он там, шевелится еще? . .

Я ему раз и скажи:

— Знай, помирать буду: все матери (бабке твоей, — кивнула она Варваре) расскажу. Не думай, что так это тебе все с рук сойдет. Она-то уж тебя засудит.

И как это черт дернул меня такое пьяному сказать?! Что он со мной тогда сделал, и вспоминать не хочу. Думала: и жива уже не бу-ду. Как там извернулась — не помню — прокусила ему руку чуть ли не насквозь, так что и зубы самой не разжать. Кровь ручьем хлыну-ла. . .

Он перепугался, побледнел и ко мне, изверг:

— Сделай, сделай что-нибудь, дура! Ведь так и помру!

А я и встать не могу, сама еле дышу. Плюнула ему в морду и говорю тогда:

— Вот и хорошо. Вместе и помрем, мне хоть не обидно будет од-ной помирать.

Я и никогда-то его не жалела, а тут даже и обрадовалась:

— А как, и в самом деле, помрет, я тогда все всем расскажу, что

он, зверь такой, сотворял надо мной. А не будет ребенок жить — кто ж меня-то осудит. Не посадят же меня за то, что мертвого родила.

А отец твой тогда совсем ошалел, забегал по комнате, заплакал, завыл. На коленях прощения просил, только бы ему живым остаться. Совсем рассудок потерял. Чего это он тогда так испугался, я и сама не знаю. Наверное, крови своей видеть не мог. Так бывает. Сел в углу и начал руку лизать, сосать, так и зализал, как пес, в конце концов.

После долго не трогал. А как родила, вот уж тогда смертным боем бить начал. Головой об стену колотил, ключьями волосы рвал. Раз и тебя за ноги ухватил да об стену. Если б не бабка, так бы и расшиб. Много ли младенцу надо. . .

А знаешь, ты ведь на него больше похожа. Лицом-то. На меня меньше. Но все равно ты ему не понравилась. Ты же должна помнить, как отец твой приходил. Тебе тогда лет четырнадцать было. Он и говорит мне: мол, совсем она несимпатичная. А я ему: так на тебя похожа. А он: ну и что, чего в ней хорошего, ее, такую, никто и замуж не возьмет, ты-то была гораздо красивее. Это он мне так сказал. Ну ты помнишь? — она умокла, взглянув на Варвару.

У той дрожали губы. Отвернувшись от матери, она уставилась в окно:

— Опять черемуху собрать не успела. Который год все собираюсь. Каждое утро, как поспеют ягоды, думаешь: ну вот сегодня приду с работы — сразу и соберу. А в какой-нибудь вечер глянь — а черемухи уж и нету. Одни кисточки торчат общипанные — все птицы склевали. Они всегда так — стайкой налетят — и через какой-нибудь час голый куст. . .

Слеза сползла в уголок рта — Варвара ощутила ее соленый вкус.

Еще бы ей не помнить тот день в августе, еще бы забыть. . . Никто никогда на нее так за всю жизнь не смотрел. Она уже и не Варька была, а так — муравей. Жидконогая козявочка, букашечка. . . Раздавить — раз плюнуть.

Он тогда матери сказал о ней, о Варьке, словно ее и не было здесь рядом, в комнате. Он сказал:

— Вот уж не думал, что у меня дочь такая страшная. — И лицо его перекошилось презрением.

А потом и говорит матери:

— Мне жить нигде. Я к тебе пришел. Мы хорошо жить будем — я клянусь тебе. Бить тебя не буду — только пусти.

Мать ему отвечает:

— Не верю я тебе, уходи. И куда я тебя пушу? . .

Глаза у него большие, воспаленные были, кровью залитые. Взглянул он на Варьку мутно и говорит матери:

— Это ты из-за нее меня выгоняешь. Если б не она да эта ведьма — мать твоя, мы б с тобой так и жили. Я б тебя не бросил никогда. Все бы у нас было хорошо. . . Ведьмы теперь уж нет, слава Богу. . . Ну хочешь, я сделаю так, что ее, — он, не оборачиваясь, ткнул в Варькину сторону грязным желтым пальцем, — больше не будет. Никто ее никогда нигде не найдет и никто об этом не узнает?

Мать молчала, а он погладил ее по волосам и говорит:

— А где же твои волосы? У тебя красивые были, густые, кольцами вились. Я тебя любил по волосам гладить. Пальцы в них запущу — тепло, мягко, как в гнездышке. . .

Мать и говорит:

— Не гладить ты меня любил, а за волосы таскать. Вот все и вытаскал. С тех пор не растут больше. Уходи — не пушу тебя. А девчонку тронешь — все равно, найдут ее потом или нет — все поймут, что ты это. Больше некому.

Долго после разговора того Варвара у окна сидела. Уж стемнело, а ей и не двинуться.

Она тогда, как и мать, твердила: чем Бога-то я прогневила, что отец родной одного лишь для меня хотел — смерти, и сам готов был жизни лишиться, только бы ему жить не мешала; что мать одно лишь видеть хочет и в том утешение себе найти, что не счастлива я с мужем своим, ей со счастьем моим никак не смириться, а так, коли и я страдаю, хоть и при мужике вроде — оно и ладно.

Обо всем Варвара тогда забыла, никого и ничего кругом, только она да мир, к ней не ласковый. И тосковала она взыскующе:

— За что в такой нелюбви, в такой ненависти на свет белый судил явиться? ..

И материнскую боль не то, что в себя не приняла, а не пожалела даже.

Когда та, истязаний не стерпев, в руку мучителя зубами впивалась, Варвара не с нею вместе на ней повисла, а с той, невинной, нерожденной еще, боль и ужас познавала. Изводилась, что уже и тогда ей защиты негде было искать.

Каждая из них — мать и дочь — своим мучились. С самого начала врозь, каждая о своем. И жалости в них друг к другу не было. Какая жалость у мученика?! Какая жалость, когда боль терпишь? Уж одно в тебе только — как бы перемочь ее да отмучиться.

Это лишь однажды Варвара о себе, о своем забыла и только о чужой муке помнила, когда сына рожала, матерью становилась. Так то природой в тебя заложено. Материнский инстинкт, инстинкт сохранения рода. Он во всякой твари заложен, что в разумной, что в неразумной.

Но сейчас, перебирая все, что оставляет она, Варвара, на земле, если, и в самом деле, конец вот он — рядом совсем — за ближайшим поворотом, как в горочку поднимешься, думала она о матери и вина дочерняя впервые всей тяжестью легла ей на душу. И не в том вина была, что мать не любит она, как должно, а в том — что судит.

Как она ее, страдальицу такую, судить смеет? Каждому мера своя отпущена. И любви, и жизни, и терпения. Той мерой и дается. И мать ее своей мерой ей, дочери, любовь меряла. А Варвара одним лишь, знай, мучилась, что недодано ей матерью. Недодано любви, подарков, денег. Все с тем сравнивала, как оно у других бывает, и все ей сравнение не в свою пользу казалось.

Так и прожила она жизнь с пеленой на глазах. А тут провел словно кто по глазам — и прозрела она. Может, Господь Сам и провел в эту минуту, как на землю ступила и под небом пошла.

— Боже мой, — сказала себе Варвара, — ведь будь моя воля, я бы мать родную у позорного столба выставила, сама бы рядом стояла да говорила: «Вот она — мать, которая дочь собственную не любит, как должно». Боже мой, ее-то, у которой и счастье было ли когда?! Было ли его у нее хоть немного, хоть с ноготок?

Что же это было с нею все эти годы? Почему кого угодно жалеть, прощать могла, но на мать родную жалости и не хватало? А ведь была та жалость в ней, та любовь истинная, без мысли о долге, а Богом данная, когда слезы материнские она унимала по-матерински же. Тогда это было в ней, когда она себя только-только помнить начала, когда она еще в куклы, в дочки-матери играла. А как куклы бросила, так ничего в ней не осталось уже, одна обида. Все годы лишь обида и жгла, и сушила.

Подходя к дому, Варвара говорила себе:

— Вот открою дверь и скажу: «Мамочка моя, как вы тут?»

Но не сказалось.

— Не сказалось — и ладно, — Варвара быстро утешилась, — не

это важно сейчас. Еще скажется. Еще научусь говорить. Время придет — само скажется.

— Как вы тут?

Мать улыбнулась и заторопилась, замелькала со своими новостями, со свою жизнью, которая здесь ей нравилась. В которой все было важно: и кто мимо прошел, и кто не только «здрате» сказал, но и еще о чем-то спросил. . . Хоть так и не поняла она, о чем. Ты уж потом узнай, а то неловко, подумают, что гордая я такая, что и ответить не хочу. А вот с того края деревни старушка. . . У нее, видно, ноги большие: лето, а она в валенках ходит. Так она Нику конфеты сунула и яблоч полные карманы наложила. Я ей говорю: мол, не надо конфеты, нельзя ему, не разрешают, зубы болеть будут. А та рукама замахала: ничего, не будут, их у него и нет еще.

А Ник конфеты сразу в рот. Не углядела я. Как отошли — я стала отбирать, на глазах-то совестно. Он в слезы. В рот их быстрее засунул и так — с фантиком прямо — и съел.

— С фантиком?! — Варвара засмеялась.

— Да, вот еще что, — лицо матери осветила детская ясная радость. — Соседка целый тазик яблоч принесла. Белый налив. Мягкие. . . Я уже себе две штучки натерла. . .

Варвара смотрела на мать:

— Вот в чем истина, вот в чем мудрость: яблочку наливному сумеешь возрадоваться, вкусить его, будто в первый раз. Так вот оно в чем счастье. . .

Шаг за шагом возвращалась она к свету детства своего, когда обиды слезами вымывались, а сердце легким оставалось; пока вдруг, испугавшись, не заспешила, торопясь все успеть, ничего не забыть, не оставить на потом, которое может не наступить:

— Ты не бойся Алешу моего. Не бойся. Он никогда никого не бил и не ударит. Ты не бойся. Ему все нравится, как ты делаешь. Все. И картошку ты жарить лучше меня, он сам говорил. А щи у тебя какие вкусные! Я вкуснее за всю свою жизнь не ела. Ты только не думай, что он тебя не любит, что ты ему мешаешь. А что хмурый часто, редко улыбается, так у него сейчас куча неприятностей. То одно, то другое, я тебе просто не рассказывала. . .

И с Ником ты очень хорошо играешь. Он тебя полюбил. А что не слушается иногда, так что же — он мальчик, ему характер тоже иногда показать нужно, на своем настоять.

Вот видишь, и соседка тебя за лето полюбила, сама тебе яблоч принесла. Я и не просила, она сама. А когда ты болела. . . Простудилась когда помнишь? . . Так другая, та, у которой на крыше флюгер, меда тебе передала. Я тогда захлопоталась совсем и забыла сказать, что это она специально для тебя дала.

Мать улыбалась смущенно:

— А там, в той баночке, на донышке меда не осталось? Я так мед люблю. . .

Нашлась та баночка в дальнем углу холодильника. Нашлась.

И мед на донышке был. . .

Ник поднимался ей навстречу: мама. Путался спросонья в длинной рубашончке, радостно лепетал. Обвился, приник. . .

Она вдыхала родной запах мягких, младенческих еще волос, и все отошло, перестало быть, а длилось, протянувшись в вечность, одно: невесомое тельце, прижавшееся к ней, и этот запах еще млечный, еще сладкий. Что бы так остаться навсегда: объятий не разнять, дышать — не надыхаться, и тем быть живую?! Как бы это так суметь, чтоб не притерпеться, а вновь и вновь сначала и будто впервые: об-

нять, вдохнуть и понять — счастлива. Так еще не было и уже не будет. Но так было всякий раз, если это было с Ником...

— Дитя мое, солнышко ненаглядное, радость моя, — говорила она.

Легко и свободно давались ей сегодня слова. Текли, исполнясь любовью, и долго не стихал их след. А в ней так и не возникло обычного стеснительного чувства при мысли, что преследовала всегда: кто-то словно прислушивается к ее неуверенным словам, вдруг этот кто-то не поверит их искренности, и тогда самой начинают казаться они высокопарными, выпренными. Нежность и близость сходят на нет, все мучительно, но собой не овладеть.

Сейчас же она и думать не думала, о ком-то, что смотрел, требовательный, проницательный, со стороны.

Все, что делала она потом, все эти привычные, будничные дела и заботы обретали значительность, все ощущалось остро, западало в душу. Как тот клец, который загорелся жарко на ее глазах, когда спускалась она по лестнице, преодолевая боль, и горел прощально до того самого мгновения, пока она не поняла наконец, что они живы оба: она, ставшая матерью, и он, оказавшийся сыном...

Всю дорогу она не выпускала Никину руку из своей, и он все жался к ней, как встревоженный жеребенок, не отходил ни на шаг. Они уже возвращались, когда на краю деревни встретили этого мальчика...

• Что-то было в нем, в соседкином племяннике, приехавшем в гости... Что-то было в этом голубоватом мальчике, в болезненной бледности его стриженной головы... В шишковатости черепа с еле различимым пухом волос было что-то уже совсем не младенческое, не детское... А будто скопческое. Что-то от тех вечных мальчиков с пожизненным пушком над верхней губой, с их странным ускользящим взглядом. Странен его брезгливый, безразличный взгляд. И чудилась в нем тайная порочность.

Когда Варвара впервые увидела его, когда встретила сумрачный неулыбчивый взгляд исподлобья, ей сразу и пришли на память бледные мальчики-скопцы. Никак она не могла избавиться от этой мысли и с трудом отводила глаза, их притягивали синеватые пульсирующие жилки над лбом, выпуклые кости черепа. Она внушала себе: ведь ему всего четыре года. Но не справиться ей было с неприязнью, которую вызывал в ней этот ребенок.

Смотреть сверху было особенно мучительно и стыдно, ей вдруг подумалось: что, если он, сидящий перед нею на корточках, напряженно поджавшийся, возящий с резкой угловатостью взад-вперед машину, все понимает?! Она мгновенно в том уверилась: он вскинул голову — и ее пригвоздил к месту тяжелый взгляд неподвижных глаз. Она тогда ощутила ужас.

А теперь мальчик тот с застывшей на губах улыбкой смотрел на гроздь рябины в руках у Ника.

В это лето все опушки краснели издали — рябины было много, как никогда. Ветки ломились под ее тяжестью чуть ли не до земли. И Ник не мог равнодушно пройти мимо: требовал ягоды, сосал, морщился — но не хотел верить самому себе. Они были такие красивые, обещали наслаждение. В конце концов он отыскал прелесть в их терпкой горечи и уже с удовольствием жевал их.

Мальчик перевел замороженный взгляд с ягод на Ника, и презрение промелькнуло на этом смутном, неоформившемся еще лице. Он, чуть помедлив, обратился вновь к Нику.

— Иди. Иди сюда.

Ник безмятежно улыбался и не двигался.

— Ты, ты, — он ткнул в Ника пальцем, — иди сюда, поиграй с нами.

Они стояли за забором с соседской девочкой, Сонечкой.

Варвара вдруг суетливо залопотала:

— Ну что же ты, Ник? Иди, иди к ребятам. Поиграй с ними, они же тебя зовут. Иди, не бойся.

Он послушно повернулся и пошел, доверчиво улыбаясь, слегка подталкиваемый ею в плечо...

А те вдоль забора пробирались ему навстречу. Мальчик крался опасливо, будто остерегаясь спугнуть Ника неверным движением. Растерянная Варвара следила за ними, не смея и желая обрадоваться наконец и поверить ласковому голосу и зовущим рукам. В калитку она так и не вошла, боясь помешать детям, стеснить их своим присутствием.

В деревне детей не было. Только трехлетняя Сонечка. Но она давно уже говорила, ходила в садик. Ник был ей неинтересен. Варвара же о садике и слышать не хотела и, конечно, чувствовала себя виноватой перед сыном. Ник не умел дать отпора, покорно терпел обиды, поспешно отходил в сторону и только недоуменно вскидывал бровки, сосредоточенно взглядываясь в обидчика.

И теперь она отмахнулась от неясного беспокойства, исподволь овладевавшего ею. Пусть Ник будет там один. Сам, без нее. Ему надо привыкать. Надо... И она осталась за забором.

Мальчик стал осторожно щипать по яголке, бормоча:

— Ну, ну, не бойся. Не бойся. Я только немножечко, совсем немножечко возьму. Ты ведь не жадина, правда? Ты же добрый мальчик. Ну что тебе какие-то две-три яголки?! Я только попробую и все. Вот так. Только еще одну. И еще. И все, все... — Варвара поняла: он просто никогда не ел рябину.

Мальчик жадно засунул щепоть ягод в рот и... затих. На лице его попеременно чередовались недоумение, обида, растерянность. Сморщившись, он выплюнул ягоды, бледное лицо его неровно покраснело. Он зло просипел:

— Фу, какие противные ягоды ты принес. Это же гадость. Как ты посмел дать их мне?!

И он визгливо закричал стоящей рядом Сонечке:

— Выгони! Выгони его отсюда сейчас же. Он гадкие ягоды принес. И сам такой же гадкий, как эти ягоды. Да что же ты стоишь?! Вытолкни его отсюда, я не хочу больше его здесь видеть.

Соня, пыхтя, принялась толкать Ника:

— Ну же! Уходи, уходи отсюда. Это не твой двор.

Ник даже и не упирался, а только пятился, не догадываясь повернуться. Как всегда, забывал обидеться и улыбался.

Улыбался!.. Варвара остолбенело переводила взгляд с Сонечки на не перестающего вопить мальчишку. А тот все заходил в крике и топал ногами:

— Да вытолкни же ты его скорее!

Варвара опомнилась, закричала тоже, и слезы брызнули у нее из глаз:

— Соня, не смей! Не смей его трогать. Как тебе не стыдно, он же маленький. Если ты его сейчас вытолкнешь, больше никогда, слышишь, никогда! не приходи к нам играть.

Девочка, не обращая на нее внимания, продолжала выпихивать Ника, пока не закрыла калитку. Мальчишка успокоился и тут же пружинисто развернулся и удалился в глубь сада, независимо засунув руки в карманы. Сонечка поспешила за ним, так и не обернувшись к Варваре. А та подхватила на руки Ника и с тревогой всматривалась в него.

Он, поверх головы, глядел им вслед. В невозмутимом лице не было обиды. Спокойствие неведенья еще длилось, не сейчас ему суждено было оборваться. Но печальные глаза по-стариковски были глубоки. Он обратил их на мать с немым укором:

— Как же так?!

Варвара прижала его и, пряча лицо у него на груди, быстро пошла прочь. Рыдание рвалось наружу, она не смогла его сдержать. И бессвязно заговорила, все крепче прижимая к себе Ника:

— Не бойся, не бойся. Я никому не дам тебя в обиду. Никому. Я и с того света приду.

Он, перепуганный, молча, со всей силой отталкивал ее лицо.

Она потонула в отчаянье. Переставляла слабые, чужие ноги, забывала о них — и они, подгибаясь, оступались в пропасть... Но их сторожила беспокойная мысль о том, что надо идти, спешить, бежать. Куда-нибудь, куда глаза глядят. Где никто ее не увидит... И опять подкашивались ноги. Хотелось рухнуть вниз — на близкую траву. Но на руках был Ник. А с ним вместе нельзя. Ему будет больно, и он совсем перепугается...

Ноги пронесли мимо дома. К реке. Ник наконец вырвался и замер, как обычно, в восторге перед водой. Она же сломилась рядом, зарылась в колени и разбухла рыданьем.

Нет, никогда ей не освободиться. Никогда. Это же не Ник... Не Ник — она покорно торопилась к тем манившим недобрым рукам. Всю жизнь ей ползти на хозяйский зов. Всю жизнь. Она из тех, что ползут. Огрызаются, скалят жалкие свои клыки и ползут, волоча брюхо по земле. В жизни оно так устроено: одним свистеть, другим ползти, а третьим стоять с палкой. Чтобы вовремя прибить тех, кто ползет недостаточно усердно.

Как смела она родить, зная это?.. Как смела? Она ведь не хочет, чтобы он свистел, а уж тем более, чтобы держал наготове палку. Значит, желает, чтоб выпало Нику — ползти!

И не надо теперь говорить, что не знала. Все надо было знать...

Но как же легко оказалось подчиниться... Как покорно вошла она в калитку, с какой готовностью протянула ягоды... Не просто с готовностью услужить, а еще и очастливленная тем, что странный этот мальчик наконец-то обратил внимание на нее и подозвал. Она не то, что ягоды, а все готова была отдать, лишь бы он, с властными руками, ее приблизил.

Она со стыдом вспоминала, морщась, будто от зубной боли, и то, как покорно шла, и то, как одновременно она — Варвара — хотела и боялась обрадоваться, что сына ее, Ника, все-таки свистнули, кликнули, приняли. И сразу мальчик тот голубоватый, недавно вызывавший неприязненное чувство, может быть, оттого только, что упорно не замечал Ника, льнувшего к нему, преобразился в ее глазах, и она мгновенно поверила улыбке и отмахнулась, сочтя наваждением, от того выражения брезгливого презрения, вдруг мелькнувшего перед ней.

Он крался, по-кошачьи собранный, а она — своими руками — подводила ему Ника...

Ей ясно припомнился интернат. Гнетущее чувство беззащитности, когда хочется приткнуться хоть куда-нибудь, хоть к кому-нибудь. Лишь бы ткнуться, лишь бы зарыться. Укрыться... Хотя бы ночью под одеялом...

Варвара сидела на берегу, сжав руками голову, а Ник стоял боком в спальне с паркетными полами, плакал и молил, забывая себя, чтобы утро наступило и мама пришла. Спасла, прикрыла. Но никто не внимал той мольбе, потому что мама, узнав, что есть смешан-

ное страхование, согласилась со всем, даже и со смертью своей, и еще гордилась, что кровиночку свою на земле оставит — и будет кому придти к ней или, на худой конец, вспомнить о ней в родительскую субботу.

Зубная эта боль становилась совсем невыносимой, и зубы хотелось растереть в порошок, и твердила она:

— Как же я могла...

И повторяла:

— Нет, нет...

Невидящими глазами Варвара смотрела на реку, по ней медленно расходились круги. Все глуше они становились, пока не смыкалась наконец вода недвижно, хороня волнение, и проступал все яснее покой под покойными вечерними небесами.

Утоли мои боли и печали...

За спиною у Варвары стоял дом. В нём ей жить и сына растить. Стоял на той земле и под тем небом, меж которыми Ник прошлым летом обрел равновесие. Оттолкнув материнские руки, выставил перед собой согнутые локотки и пошел вперевалочку. А вот Варваре долго пришлось брести, спотыкаясь, пока ступила она на эту землю, но теперь уж ногам ее отсюда не сдвинуться. Здесь все: и дом, и земля, и всего много — на долгую жизнь станет. И Нику ноги не надо обивать, ему земля дана от рождения. А если и уйдет куда, ноги сами назад приведут...

• Ник, озабоченно бродивший по песку, вдруг радостно воскликнул, нагнулся, потом взмахнул неуверенной еще рукой, как-то сбоку, неловко вывернув кисть, и — камешек пал в воду. И закачалось небо, заволновались недоступные величавые облака.

Под руками тепло дышала отогревшаяся за день земля. Варвара, вытянувшись в струнку, следила, как расходятся, набирая силу, круги, и, когда уж невмочь стало от любви и боли, от внезапно открывшегося света, упруго вскочила и подкинула Ника над землей, над рекой — ближе к небу. И разошелся вокруг, разлился и раскатился смех.

Смех, который умеет так расходиться только летом над водой.

с. Михайловское, 1991

Лариса Миллер

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Не надо этой блажи —
Напевных строф и строчек.
Нужнее репортажи
Из всех горячих точек.

Вносить посильной лепты
В поэзию не надо.
Уместнее рецепты
Спасения из ада.

И неуместна читка
Сонетов с рифмой дивной,
Коль это не попытка
Программы перспективной.

И коли ты идиллик —
Не деятель, не практик —
Ищи, несчастный лирик,
Совсем других галактик.

октябрь, 1992

А ты в пути, а ты в бегах,
Ты переносишь на ногах
Любую боль и лихорадку,
И даже бездна в двух шагах
Есть повод вновь открыть тетрадку.

И близкой бездны чернота,
И неподъемные лета
Вдруг обнаруживают краски,
Оттенки, краски и цвета
И срочной требуют огласки.

И, Боже правый, тишь да гладь
Способны малого не дать
Душе гроша на пропитанье,
И дивной пищей может стать
В потемках нищее скитанье.

июнь, 1991

Ангел мщения дует в трубу
Так, что тошно и мертвым в гробу,
А живым и подавно — хана:
Тяжела и безмерна вина.
Каждый грешен и в том виноват,
Что земля превращается в ад.

Наступает возмездия час.
Лишь одно утешенье у нас,
Что, живя и в тоске, и в беде,
Мы уже, как на Страшном Суде.

декабрь, 1991

Но все притязания наши — нелепы:
Всевышний безмолвствует, ангелы слепы,
Никто никогда — ни далекий, ни близкий —

Придти и спасти не давал нам расписки.
И каждый второй уязвим и зависим,
Как узник, давно ожидающий писем.

И все мы в пожизненном здесь заточенье
У века безумного на попеченьи.

сентябрь, 1992

Роберт Штильмарк

ГОРСТЬ СВЕТА

Роман-хроника

* * *

... Еще несколько раньше, в апреле 1933 года, произошел в работе Рональда Вальдека один, но очень значительный и почти случайный эпизод, имевший много позднее не очень приятные для него последствия...

Из-за кратковременного заболевания товарища Шлимма Рональду пришлось ненадолго заменить его по Германскому сектору. Было это в первые месяцы после прихода к власти нового рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера. В Берлине спешно восстанавливали монументальное здание рейхстага — творение зодчего Пауля Валлота в духе итальянского ренессанса, утяжеленное немецкой основательностью... Это здание, построенное в конце XIX века и ставшее символом крушения Германии в 1945-м, тогда, в феврале 1933-го, сгорело по тайному приказу Геринга, чтобы послужить сигналом для расправы с коммунистами. Их лишили парламентских мандатов, Тельмана посадили в Моабит, а рядовых коммунистов — в концлагерь.

С 1939 года начались и кое-какие взаимные авансы. Несмотря на основные положения книги «Майн Кампф» и ежедневные порции антифашистского материала в «Правде» и «Комсомолке»!

... Учреждение получило письмо из Берлина от вновь созданной фашистской полунаучной-полупропагандистской организации с просьбой прислать обстоятельный материал («книги, брошюры, плакаты, газеты, кинофильмы») о советском опыте воспитания фюрерства, то есть вождизма, среди пионеров, комсомольцев, коммунистов и беспартийных. Немцев-пропагандистов интересовало, как выращаются в Советском Союзе пионервожатые, комсомольские ораторы, секретари первичных партийных организаций, вожди покрупнее, каков их жизненный и партийный путь, как движутся они по эскалатору карьеры, каковы их моральные требования, как они воздействуют на массу «ведомых» и с какого, примерно, возраста выявляются их фюрерские качества...

Однажды Рональда вызвали во Второй Западный отдел и вручили ему текст небольшой речи, написанной на русском языке. Текста было странички на полторы. Рональда попросили к завтрашнему дню сделать очень точный и притом литературно безупречный перевод речи на немецкий.

На другое утро Рональд Вальдек по дороге на службу заехал в НКВД и оставил на имя заместителя Наркома Н. Н. Крестинского пакет с переведенной речью: А перед обедом сам Крестинской вызвал к телефону Вальдека. Он похвалил перевод, назвал его «элегантным», велел исправить одно слово и выучить текст наизусть. А нынешним вечером про и з н е с т и эту вычурную речь на небольшом приеме в доме германского посла фон Дирксена. Прием приурочен к одиннадцатой годовщине Рапальского договора от 16 апреля 1922 года.

Смысл приготовленного и переведенного текста заключался в том, что, мол, политические перемены в Германии, вызывающие глубокий

интерес и пристальное внимание у нас и у соседних стран, не должны препятствовать продолжению полезного и плодотворного сотрудничества наших стран во всех областях экономики и культуры. Задача состояла в том, чтобы уловить тональность и окраску ответной реакции немецкой стороны. Скромная должность и не вполне дипломатический статус оратора придавали этому пробному шару характер как бы неофициальной и почти частной инициативы, поэтому ни в коем случае нельзя было пользоваться шпаргалкой!

Прием был очень узкий, шел несколько натянуто и продолжался недолго. Кстати, на пригласительной карточке стояло чернилами слово: «Штрассенанцуг», то есть переодеваться и принимать парадный вид не нужно. Реакция германской стороны на заигрывания и авансы была холодной. Как говорится, квод эрум демонстрандум! Пробный шар встретил холодные струи политической метеорологии! . . .

На этом приеме Рональд Вальдек узнал и господина Мильгера, дальнего родственника Стольниковых. За столом они обменялись кое-какими незначительными любезностями, но в беседу не вступали. Рональд разговаривал весь вечер с каким-то пожилым журналистом, хорошо знавшим Москву и москвичей.

Вечер этот относился к разряду «мальчишников», когда отсутствие дамского общества компенсируется обычно двойными или тройными количествами спиртного и веселящего. После своей маленькой речи и прохладного ответного слова Первого советника Рональд предложил еще тост, посидел с полчаса и счел уместным откланяться.

Господин Мильгер провожал его до порога вестибюля. Как бы мимоходом, без посторонних ушей, он осведомился, как поживают те или иные солисты, музыканты и хористы «Лидертафель», не будет ли повторена оратория «Манфред», как чувствует себя господин Вальдек-старший и пишут ли ему Стольниковы из Польши (они тем временем обосновались там, близ здания собственной текстильной фабрики в Лодзи).

Рональд Вальдек отвечал, что, мол, все прекрасно и восхитительно. Стольниковы пишут минорные письма, а все моквичи — в неизменном мажоре, «Лидертафель» процветает, а насчет оратории . . . пока, как будто, повторение не планируется (часть исполнителей уже пребывала в ссылках и нетях, о чем Рональд Вальдек, естественно, умолчал дружественному дипломату).

. . . Затем, в соответствии со своими привычными инструкциями, Рональд на приеме у Зажепа обстоятельно изложил своему негласному патрону события и встречи, равно как и все прочие подробности посольского приема, и вскоре, в гуще дел, совсем позабыл о нем.

* * *

Отношения с церковным органистом тем временем укреплялись. Слушатель Баха отблагодарил исполнителя тем, что доставал ему билеты на выступления иностранных музыкантов, а органист постепенно знакомил слушателя со своими коллегами и товарищами. Среди них Роне понравился молодой певец-бас Денике. Тому показалось лестным Ронино присутствие на семейной вечеринке. Собрались почти сплошь московские немцы Рониного поколения. Эти молодые люди оказались хорошо воспитанными, весьма музыкальными, вежливыми, воздержанными и, по-видимому, технически образованными и при всем том — веселыми и общительными. Вечеринка была организована превосходно — четко шла обдуманная программа, столь же неприметно, быстро и споро работала кухня. Снявши переднички, молодые, хорошенькие девушки и дамы мгновенно преобразились из кухарок и горничных в хозяек, мило танцевали, весело пели, проявляли интерес к рассказам

и анекдотам, смеялись в положенных местах и просили продолжать... У Рони сразу возрос круг московских знакомств в этой, почти забытой им, среде, к тому же возраста не родительского, а весьма близкого к его собственному. Последовали новые приглашения ко дням рождения, к «Вайнхатен» и Сильвестерабенд, то есть к Новогодней встрече...

К одному крупному архитектору немецкого происхождения Роня получил приглашение вместе со своими родителями. За огромным столом оказалось не менее шести десятков людей, преимущественно старшего возраста. Это были старинные московские интеллигенты XIX века, специалисты во всех областях — музыканты, инженеры, врачи, архитекторы, математики, педагоги. Рональд узнал многих старых папиных друзей: молчаливого профессора Вихерта, инженера Коппе, органиста Гедике, профессора Ауэра, автоконструктора Бриллинга; иных он знал в лицо, но запомнил имена. То были руководители научных кафедр в институтах, проектировщики известных зданий, технические руководители крупных производств. Один из известных московских врачей, доктор Кроненталь, произнес на вечере большую вступительную речь.

Оратор сравнил московских немцев кукуйского происхождения со средневековой швейцарской гвардией. Дескать, в некотором роде мы, кукуйские немцы, тоже наймиты у здешних коренных властителей, ибо мы — нацменьшинство. Но советские власти, которым мы служим как бы на правах ее преторианской гвардии, подобно гвардии швейцарской на службе у иноземных, например, французских королей, никогда не будут иметь повода к неудовольствию!

Можно сомневаться в правильности и оправданности тех или иных практических шагов правительства, — говорил доктор Кроненталь, — но вины за эти события не несем. Любому из нас надо честно и любовно делать свое дело на порученном участке. Честно работать — наш девиз! Приносить пользу этой стране, где мы родились и выросли, где многие из нас учились, довершив образование в иностранных университетах или у лучших русских профессоров, — таков наш долг и наша радость! Если же мы бываем поставлены в плохие условия и видим, что наши силы тратятся впустую, — тогда надо заявить об этом хозяевам громко! Мол, требуем человеческих условий, либо — открывайте нам ворота из страны!

... Когда Роня пересказал эту речь Зажепу, тот пожал плечами и буркнул:

— Что ж, так оно и есть. Форменные наймиты!.. Неглупый медик!.. Однако ничего интересного в этой речи нет. Вот если бы вы, Вальдек, в отчете немножко повернули бы текст, переставили акценты, то могло бы зазвучать острее. Впрочем, как знаете!

Но чем дальше длились встречи Рони с Зажепом, тем нетерпеливее тот становился. Он опять делался грубым и придиричивым.

— Слушайте, Вальдек, вы совсем не способный к нашей работе человек. При вашем-то происхождении, ваших связях, встречах, обязанностях — могли бы горами двигать! А вы ничего существенного не делаете для нас, не помогаете нам. Ну, консультации... Для этого есть и специальные ведомства. Получили бы и без вас! Ну, мелкие фактические справки, кое-какие рекомендации. А где организация? Где разоблаченные враги-антисоветчики? Эх, Вальдек, Вальдек! А еще хотели быть острием кинжала, входящего в грудь врагу! Вот ведь и Максим Палыч вами давно недоволен. Да проснитесь вы! Я вам разрешаю несколько стимулировать ваши объекты в направлении большей откровенности.

Зажеп любил выражаться замысловато.

— Объясните, что значит «стимулировать»?

— Ну, завести, скажем, осторожный наводящий разговор... Показать свой интерес к внутригерманским проблемам. Пусть мелькнут, в конце концов, будто невзначай, какие-нибудь портретики в вашем блокноте или бумажнике... Ну там, Гитлер, Гинденбург или хоть Николай Второй, что-ли... Пусть где-нибудь будет наклеена крошечная свастика. Да слушайте, неужели вы сами ничего не можете придумать, чтобы расположить к доверию тех, кто всерьез мечтает о свастике и фюрере! А таких около вас — ого-го! Вот увидите, еще как клюнут! Крючок без наживки — плохая надежда. А с наживкой — оглянуться не успеете, почувствуете интерес врага.

— Иоасаф Павлович, поймите, что все это — не для меня! Я ношу портрет Сталина, и притворщик из меня — никудышный.

— И все же, прошу вас, не принижайте значения вашей работы. От нее зависят прямые государственные интересы. Мы с вами еще поговорим об этом подробно. А пока — исполните то, что я вам посоветовал. Вас и Максим Павлович просит быть поактивнее.

В свежем номере «Гамбургер Иллюстрирте» Рональду попался снимок фюрера при очередном выступлении. Его физиономия вызвала у Рони чувство, близкое к тошноте. Одутловатая, мешанская физиономия, свиные тяжелые глазки, косо подрезанная челка на низком лбу... Держать при себе такую вырезку было мерзко, но он положил ее в блокнот. Назвался груздем — полезай в кузов!..

При следующей же встрече с друзьями церковного органиста, во время танцев, Рональд стоял поодаль вместе с певцом Денике. Органист, вальсируя, как бы вручил Рональду его партнершу по танцам в ту минуту, когда он записывал в блокнот новый телефон Денике. Из блокнота выпала вырезка из «Гамбургер Иллюстрирте». Органист и Денике так и кинулись: «Покажи! Покажи!» Органист так и затрясся от восторга, довольно, впрочем, искусственного:

— Ах, фюрер, фюрер! Какой это великий германец! Главное, хорошо, что я теперь тебя понял, Рональд! Ведь я не был в тебе уверен. Думал, что ты — искренний коммунист.

— А кем же ты считаешь самого себя? — насмешливо спросил Роня.

— Себя? Я — вот! — И собеседник, органист, изобразил быстрым движением руки невидимую свастику на своей груди. Роню передернуло от отвращения.

А певец? Который тоже сочувственно улыбался восторгам органиста по поводу портрета? Неужели и этот Денике тоже сочувствует фашизму?..

* * *

... Интриги и междоусобица так разделили весь состав Учреждения, что каждая группа боролась за своего босса. У Рони была уйма служебных дел и забот, он барахтался в них, отбиваясь от интриганов, тянувших то в одну, то в другую «партию», от нудных посетителей, от собственных невеселых мыслей, от Зажепа, от текущих кампаний и сезонных праздников, всегда осложненных всяческими обязательствами «по выполнению и перевыполнению»...

В такую пору приехала в Москву молодая шведская журналистка Юлия Вестерн. Вскоре она оказалась соседкой Рональда на каком-то банкете. Ее муж был знаменитым архитектором, а сама она — левонастроенной, предприимчивой и любознательной особой, стремящейся все познать, испытать и описать. Была очень хороша собою.

При очередной встрече с Зажепом выяснилась его необыкновенная осведомленность о Рониных делах и знакомствах. Он важно спросил:

— Вы принесли мне докладик о встрече с Юлией Вестерн?

— Это еще что такое? — возмутился Рональд. — Когда я вам обя-

зывался докладывать о любом пустяке? Тогда мне работать некогда будет. И вообще, я давно хочу просить вас, Иоасаф Павлович: увольте вы меня от этой вашей опеки! Не сработаемся мы с вами! Я не согласен со всей вашей линией моего использования, а вы меня терпеть не можете! Это у нас взаимно. Право же, увольте!

— Эт-то мне нравится! Только начинают разворачиваться перспективные дела, только шагнули через порог — и уже «ах, до свиданья, я уезжаю, кому что должен — тому прощаю»?! Не пойдет так, Рональд Алексеевич! Но вернемся к Юлии Вестерн. . . Вспомнили ее? Вашу банкетную собеседницу с красивой мордашкой? Имейте в виду: это разведчица. И вы должны. . .

Роня уже привыкал к этим характеристикам. Они больше не ошарашивали его. И он начинал думать, что при его участии происходит тихая охота за призраками, тенями и фантомами. Пока это безвредно для объектов — пусть! Но если Зажеп, при своем честолюбии, возьмет и раздует кадило? Как бы тут чужими судьбами и головами не рискнуть! Поэтому Рональд Вальдек очень тщательно выбирал выражения в своих докладах и донесениях. Все, что он писал, было правдиво и покамест никого не омерняло, не ставило под удар. . . Ибо членов тайных обществ, участников заговоров или активных антисоветчиков, лазутчиков и контрреволюционеров пока в Ронином поле зрения еще не бывало. . .

— Эх, какой мелочью вы занимаетесь, Вальдек, — вздыхал Зажеп, читая очередной доклад, связанный с Рониной служебной деятельностью: как функционирует техника книгообмена, степень интереса получаемой литературы, какова пресса о тех или иных сторонах советской жизни, какие антисоветские кампании ведутся в западных и северных газетах, как на них реагируют те в стране, кто эти газеты читает. . .

Если такой материал был особенно обилен и трудоемок, стоил многочасового труда, Зажеп кряхтя лез в денежный ящик, доставал конверт с небольшой денежной суммой, велел расписываться в ее получении и приговаривал хмуро:

— Все это. . . фигня! Фекалики! А могли бы давать нам ценный, подлинно оперативный материал! И получали бы настоящие суммы! Были бы вам и автомобили, и радиоприемники, и такая жратва, что закачаешься! Послушайте, серьезно: я говорю про эту Юлию Вестерн. Вот, сумейте подойти к ней так, чтобы она вас завербовала! И будет вам. . .

— Автомобиль?

Зажеп презрительно усмехается:

— Не верите? Плохо вы понимаете, по какому золотому дну ходите. . . в обшарпанных брюках! Нехорошо, товарищ дипломат, кстати говоря! Короче, Вальдек, я вам приказываю, в порядке нашей дисциплины, которая построже воинской, армейской, обратить самое пристальное внимание на Юлию Вестерн. Она приехала под видом редакционного задания от газеты «Стокгольмс дагбладет». Почтенный буржуазный орган. . .

— Я смотрю, вы неплохо усвоили мой материал. . .

— Не шутите, Вальдек! Я продолжаю. Возможно, именно она обратится к вам за помощью. Ни в чем ей не отказывайте и держите меня в курсе ее малейших пожеланий. Постарайтесь сблизиться с ней покороче. . . Это сулит многое! Вы сами скоро в этом убедитесь, если войдете к ней в доверие!

Словно по тайновидению Зажепа, Юлия Вестерн буквально на другой же день пришла в Рональду на прием. Говорила, мешая шведские, немецкие и русские слова:

— Я очень много хочу сделать в интересах Советского Союза. На-

пример, делать интервью с некоторыми писателями: Вера Инбер, Исаак Бабель, Никита Огнев, кое-кто из близких Сергей Есенин, Владимир Маяковский. . . И еще я хочу делать очерки Москвы. Хочу работать сама субботник! Могу водить грузовик! Пусть это будет материал не глазами гостя, а изнутри! Как оно делается для себя! Для этого мне, главное, надо получше выучить русский. Посоветуйте мне, пожалуйста, кто знал бы немного шведский и немецкий. . .

Всего часом позже Роня имел уже распоряжение Зажепа взять эти уроки самому. Занятия начались на другой же день.

* * *

. . . Она делала быстрые успехи. Он находил, что для языковой практики полезно после занятий слушать в театрах современные пьесы. Актерская дикция отчетлива, а смысл он будет ей подсказывать, когда не все будет ясно. После очередного урока они пошли на «Чудесный сплав» Киршона, на Малую сцену МХАТа. . .

В эти самые дни Роня был днем занят работой со знаменитой северной писательницей, что побывала на приеме у Н. К. Крупской, поэтому в его распоряжении с утра до вечера был интуристовский «Линкольн» — семиместный лимузин с борзой на радиаторе. Он велел подать машину к театру и лихо доставил свою ученицу домой, в Самотечный переулок. Наверху, в квартире, остался его рабочий портфель — он не захотел таскаться с ним в театр. Шофер «Линкольна» уже перерабатывал свои часы, Роня отпустил его и решил ехать на Курский автобусом. Семья жила на даче в Салтыковке.

Лифт в доме не действовал. Они поднимались на пятый этаж пешком.

— Отдохните минутку, — предложила она. — Хотите стаканчик хорошего белого вина? «Барзак», говорят, — полусухое, к десерту. Интересно попробовать, но одной — не хочется. А вот яблоки — ведь русские должны обязательно что-то съесть после вина, будто боятся его аромата! По-моему, это равносильно умыванию после того, как надушишься. . .

Рональд откупорил бутылку, и, под разговор, они как-то незаметно ее выпили. Только тут он как следует разглядел, что у собеседницы очень красивые длинные ноги, белые плечи и синие, синие глаза, а губы улыбчивые, чудесно вырезанные и манящие. . . Яблоки кончились. . .

— Как это слово: закуска, да? Вот вам немножко закуска к последнему глотку «Барзак-вина». . .

Она шутливо протянула ему губы для легкого, мимолетного поцелуя: Но поцелуй не получился легким. Он. . . затянулся. . . и. . . преврался. . . лишь на другой день, под утро.

* * *

Возвращение домой было ужасно. Встревоженная Катя ночью не сомкнула глаз. Спали только дети — семиклассник Ежичка и трехлетний Маська — так между собой родители называли Федю.

Он обнял жену, старался выдержать ее взгляд и. . . не мог. Не мог он и приласкать ее по-прежнему: весь опустошенный, выпитый, он выпустил Катю из объятий и всячески делал вид, будто смертельно заработался.

— Вальдек! Как у вас дела со шведкой? Учтите, что она. . .

— Знаю. Агент всех разведок мира и его окрестностей.

— Послушайте, Вальдек, уж не шутить ли вы со мною вздумали?! Не зарывайтесь! Мы с вами — на службе таких органов, где. . .

— ... Дисциплина прежде всего! Повторенье — мать ученья! Я усвоил.

— Вы что-нибудь принесли важное? Что-то уж очень многозначительны...

Роня пока решил повременить с признанием, что отношения между учителем и ученицей изменились. Пусть эта перемена не будет расценена как «самотек». Пусть вообразят, будто это произойдет по их «плану».

Зажеп бросил бумагу на стол.

— Слабо, Вальдек! Тоже мне... Кинжалин! Так вот вам приказ: если вы не хотите крупных неприятностей от Максима Павловича, давайте работать со шведкой серьезно! Вы должны ее уконтропупить, подчинить себе, сделать послушной и раскрыть!

— Уконтропупить? Позвольте, я женатый человек...

— Бросьте, Вальдек! Вы — на службе революции, Вальдек! Наши оперативные дела не касаются ни семейных, ни сердечных обязанностей, поскольку мы исполняем государственные. Война, наша война, — все спешит. Жена про это ничего не узнает, что ее не коснется. Повторяю: тут служба и приказ! Я вам приказываю — эту шведку...

Последовало грязное матерное слово.

— Знаете, Иоасаф Павлович, служба — службой, но даже при наших с вами служебных отношениях я требую давать указания не поскотски. Задача овладеть женщиной — не самая простая. Она требует хотя бы симуляции определенных чувств и эмоций, не совместимых с вашими словечками. Я вам не жеребец, а вы мне — не конюх!.. Женщина, о которой идет речь, умна и, как мне кажется, скорее доверчива, чем коварна. Кроме того, она — жена очень крупного и важного для нас человека. Поэтому прошу вас доложить Максиму Павловичу мои соображения и получить от него прямое указание: добиваться ли мне этой связи. Одного вашего распоряжения мне, признаюсь, мало!..

Глава двенадцатая

НЕ ИУДИН ЛИ ГРЕХ?

1

Вот когда жизнь моего героя воистину раздвоилась!

Через день он ездил в Самотечный переулочек, час занимался уроком, а два-три часа — безумной, страстной любовью.

Женщина эта становилась ему все более необходимой, желанной, своей, неотвратимой. И она привыкала к нему. Знала его привычки, ждала нетерпеливо, встречала в легких, просвечивающих платьях, поила, кормила, целовала, гладила ему руки еще во время урока, под конец занятий пересаживалась на широченную застенную тахту, просторную, как футбольное поле. Квартиру эту она сняла у друзей, уехавших в Сибирь на полгода.

Однажды, утомленные и разомлевшие от июльской жары и бурных ласк, они сидели, обнявшись, на этой тахте, разметаив постельное белье. Попивали сухое вино, пока на кухне грелся чайник и бифштекс для Рони.

— Есть у меня к тебе маленькая, но деликатная просьба, — устало сказала любовница. — Деликатная потому, что попросил меня об этом наш военный атташе.

Роня насторожился, но не показал виду. Военный атташе — это, в его представлении, откровенный, официальный разведчик, имеющий

дипломатический иммунитет, пока... не провалится на попытке добыть нечто официально запретное. Иметь дело с военным атташе — значит быть причастным к его делишкам! Неужто она и в самом деле с начинкой?

Он с беспечным видом продолжал обнимать ее, но внутри все словно напряглось. Ее шелковистая, очень нежная кожа стала вдруг противной ему, лицо — чужим и ненужным, голос — лживым, обманным. И в один миг он понял, что спал с нею и мог ласкать ее, только доверяя ее дружеским чувствам к себе и ко всем русским людям. Если же она и впрямь враг — никакая необходимость не заставит его даже дотронуться до нее. Оказывается, оперативные, служебные задания такого рода он совсем не сможет решать. Вероятно, это еще увеличивало его вину перед Катей... Все это несло и крутилось в мозгу, и руки делались липкими. Собственный голос ему уже казался фальшивым:

— О чем же он просил тебя?

Уже становилось трудно скрывать быстро нарастающую неприязнь к возлюбленной. И как потянуло домой, к Кате! Зачем он здесь на этой тахте, с какой-то чужой и нечистой бабой!

А Юлия, не замечая в партнере никакой перемены, уточнила просьбу.

— Понимаешь, ему очень нужна фотография одного русского танка.

Роня испугался, что она различит, как тяжело бухнуло его сердце. Вот оно что! Значит, прав не Рональд Вальдек, а его руководитель, Иоасаф Павлович. Лоб горел, спина холодела, немели пальцы. Неимоверный стыд душил давил горло. Шпионка! Вражеская лазутчица... А ты, Рональд Вальдек, простофиля и нюня! Сколько нежностей отнял, украл у Кати ради этой... Но служба — так служба! Сразу ли делать вид, будто ради твоих прелестей родину продам? Нет, надо сперва поломаться, дать себя уговаривать, цену набивать...

А вслух, не глядя ей в глаза, тихонько ослабляя объятия:

— Какого танка? Я ведь не военный, и таких фотографий у меня нет. Кроме того, ты ведь знаешь, что это — темное и опасное... нечистое дело.

— Нет, нет, не думай ничего дурного. Что ты! Разве я толкнула бы тебя на противозаконное действие! Однако фотоснимок очень нужно достать. Ты спрашиваешь, какого танка? Того, который шел на последнем майском параде в самом конце... Это новый танк, наверное, последней конструкции... Но, поскольку его вывели на парад, он уже не может считаться особенно секретным? Правда, милый? Поэтому уж ты постарайся, мой дорогой, достать такой снимок... Тут, может, окажется подходящий кадр у ваших газетных фоторепортеров, что снимали парад? У них, наверное, можно будет за не очень высокую цену купить такой снимок... Мне очень важно задобрить этого атташе. Он, кстати, старый друг моего отца.

— Твой отец был военным?

— Да, военным. В чине генерала. Теперь уже в отставке. Они с нашим атташе вместе кончали военную академию.

— А зачем ты так хочешь задобрить его?

— Он может подействовать моей следующей поездке.

— Хорошо. Я подумаю, как это сделать.

* * *

Может, это и есть шпионская вербовка?

Во всяком случае, нужно немедленно поставить в известность обо всем руководство. Положение осложняется бунтом против Зажепа. Но ведь другого руководителя у Рональда пока нет, Максим Павлович позвонить не соизволил, формальной жалобы Рональд пока подать не со-

брался; не исключено, что начальник отделения еще ничего и не знает о конфликте с Иоасафом... Ситуация же слишком серьезна...

Прошлый раз Максим Павлович просил более не пользоваться его служебным телефонным номером. Значит, остается одно: звонок к Зажепу.

— Есть важные новые обстоятельства. Сообщение очень срочное! Я вас прошу связать меня непосредственно с Максимом Павловичем!

— Его сейчас в Москве нет. Временно замещаю его я. Что там у вас случилось?

— Это не телефонный разговор.

— Хорошо. Стретимся в гостинице «Метрополь».

— В таком случае потрудитесь пригласить еще кого-нибудь. Например, хоть Василия Николаевича. Ум — хорошо, два — лучше.

... После этой беседы втроем ясности у Рональда не прибавилось. До возвращения начальника надлежало вести по-прежнему занятия русским языком с Юлией, проявляя при этом всемерную осторожность и бдительность. Оба чекиста заявили единодушно, что заказ фотографии танка — бесспорный шпионаж. А вот исполнять ли просьбу, добывать ли такой фотоснимок — все трое решить не могли. Рональд высказал предположение, что снимок найти надо и именно у газетных репортеров или, может быть, даже в фотовитрине ТАСС. Зажеп колебался и ничего решить не мог, Василий Николаевич высказался против: зачем, мол, сами будем помогать врагам?

Беседа продлилась час и шла «под кофе». Рональд покинул метропольский номер первым и вышел на Никольскую. Здесь, в каком-то невзрачном помещении, в первом этаже, находился Отдел распространения фотохроники ТАСС. Он вошел в эту убогую контору, попросил снимки последнего Первомайского парада и перебрал их все. Было там несколько сотен фотографий, многие повторялись, очень полно был представлен военный парад. К оборотной стороне каждого фотоснимка на папиросной бумаге была подклеена надпись с обозначением цены. Тяжелые танки были сняты в строю, неразборчиво. Двух самых тяжелых, шедших на параде отдельно и вызвавших интерес атташе, в этих наборах не было. Рональд на всякий случай осведомился у сотрудницы, был ли здесь снимок самых тяжелых машин,

— Был, был, да раскупили! Если хотите, можно заказать. Вот какой был снимок...

И она указала на фотовитрину, висевшую в простенке и не замеченную Рональдом. Внизу, крупно, был показан мощный многотонный танк с открытым люком, откуда, придерживая флаг, выглядывали два человека в черных шлемах.

— Да, это как раз то, что нужно. Можно его заказать?

— Пожалуйста. Платите шесть рублей. Зайдите дня через два-три...

... Черт возьми, если можно купить снимок на улице за шесть рублей и он выставлен в уличной витрине!.. В самом деле, шпионаж ли это? Однако Рональд не имел при себе и шести рублей. Неловко, что заставил сотрудницу зря перебирать такую кучу фотоснимков.

— Так будете заказывать снимок?

— Благодарю вас... Пока не буду.

Отдохнуть бы от всей этой пакости! Завтра воскресенье. Надо будет пораньше встать, забрать с собой Федю и поехать в Кучино, на большой пруд, взять там лодку, прихватить винчестер старенький на случай встречи с каким-нибудь ошалелым селезнем... А к обеду — домой!

С вокзала он позвонил Юлии. Та заявила, что давно хочет посмотреть его дачу.

— Что ж, приезжай. Адрес ты знаешь, представлю тебя под каким-нибудь соусом своей жене... Не испугаешься? Ведь она — человек умный и наблюдательный!

Нет, она не из пугливых — и сумеет держать себя, как надо.

Рональд не придавал значения этому разговору. Думал, шутит, рисуется.

Вечером Катя учинила ему профессиональный допрос: отчего он так заметно переменялся в последнее время? Что его гнетет? Что он скрывает, притом с определенного дня, вернее, с определенной ночи — 23 мая? Он отнекивался все слабее. молчал, не глядя в глаза, и в конце концов совсем уж было признался, но снова отрекся от своих полу-признаний, испугался за ее надорванное сердце, отвернул в сторону и... оставил ее утром в слезах и почти уверенной в беде.

На пруду в Кучино они с Федей взяли лодку и поплыли вверх по реке Пехорке, среди лесной чащи. Он — в охотничьей своей кожаной куртке, Федя — в черном пальтишке по случаю прохладного утра. Плыли до тех пор, пока коряги и мелководье вовсе преградили им путь. Здесь побродили по лесу, послушали птиц, нарвали цветов, попобовали винчестер: Рональд, не слишком-то педагогичным образом, использовал в качестве мишени толстую лягушку. Часа три он ни о чем не думал, будто пребывал в некоем отпуске от совести и тревоги... Когда в послеобеденный час они вернулись домой, Рональд увидел свою Катю, в домашнем, у садовой клумбы под терраской, в живейшей беседе с Юлией Вестерн... Он, кинув винчестер и куртку, устремился к гостье, а Катя, заметив Федины мокрые ботинки, взбежала с ним на терраску и, на ходу, вполголоса бросила мужу:

— Спровадь ее побыстрее! И до калитки! Эта дурища призналась мне во всем и даже просила... уступить тебя годика на два, порезвиться! Если ты с ней удержишься хоть на лишнюю секунду... ты меня живой в доме не найдешь!.. Иди, но дай слово, что... больше эту тварь не увидишь!

За ночь она как бы продиктовала ему условия безоговорочной капитуляции:

во-первых, немедленно доложить руководству, что он влюбился в шведку и не может продолжать исполнение своих «азных» обязанностей;

во-вторых, никаких встреч и прощаний. Может написать краткую записку и вернуть уплаченные вперед деньги (на этот раз, по Катиной просьбе, он взял с ученицы советскими деньгами за пять уроков вперед, для покупки велосипеда Ежичке);

в-третьих, пока эта женщина в Москве, он должен уехать подальше, либо взяв на работе отпуск, либо даже пожертвовав и службой, и своей деятельностью у «азов».

Утром он проводил жену на работу в Международный конъюнктурный институт и немного опоздал в собственное Учреждение. Там, в Отделе Приема иностранцев, уже сидели ранние гости — северная писательница со своей компаньонкой. Председатель правления, случайно приехавший рано, заметил Ронино опоздание и очень грубо, в присутствии обеих дам обругал его, заодно указав на невнимание к столь драгоценным посетителям.

На тех это произвело действие обратное — они очень долго извинялись перед Рональдом за то, что нечаянно навлекли на него начальнические громы, ибо приехали они без всякого предупреждения и с чисто личной просьбой, чуточку даже... щепетильной.

Дело в том, что, бродя утречком по соседним с гостиницей магазинам, писательница заметила в Мосторге роскошный соболий палантин ценою в десять тысяч советских рублей. У нее примерно такая

сумма уже накопилась — из гонораров за статьи, интервью, радиорасказ и договорные книжные переиздания. В своей стране она с советскими деньгами ничего предпринять не может, поэтому покупка чудесного мехового палантина была бы наилучшим выходом, если бы... не въездные северные пошлины. Облагаются меха такими суммами в долларах, кронах и прочих валютных единицах, что обходятся едва ли не дороже, чем купленные в стране. Так нельзя ли отправить эту покупку... каким-нибудь неофициальным способом, минуя таможенные рогатки? Например, с выставкой какой-нибудь или просто со знакомым дипкурьером?

Разумеется, по закрытым каналам Учреждения сделать это можно было без труда, однако только с разрешения Председателя. Рональд, предчувствуя очередные осложнения, скрепя сердце отправился к нему. Тот долго и нудно выговаривал Рональду, что такая операция не имеет ничего общего с задачами Учреждения, что нечего вмешивать его, Председателя, в частные делишки какой-то иностранки, что закрытые каналы существуют для совсем иных, высших целей... Долго молчал, колебался, мял в руках бумажку, в которой Рональд изложил дело, наконец, скривив лицо, начертал слово «разрешаю». С этим разрешением Роне предстояло идти в Особую часть и предупредить, что вечером будет готов не совсем обычный пакет в адрес нашего северного уполномоченного. С пометкой: для г-жи Н. ...

Обе дамы сидели еще в Зале приема. Услышав, что разрешение получено, писательница просияла и на радостях бросилась в кабинет Председателя — выразить ему личную признательность. У того мигом исчезла с лица вся мрачность. Он расцвел в улыбку, изобразил на лице подобие смущения: мол, стоит ли вообще говорить о таком пустяке! Пожимая обе протянутые ему руки, сказал:

— Для наших искренних друзей мы во всем готовы идти навстречу! Не стоит благодарности! Мы рады, что доставили вам небольшое удовольствие!

Рональд Вальдек уже давно перестал удивляться начальническим метаморфозам. Если бы «искренняя подруга СССР» слышала бы все слова по ее адресу, сказанные тем же вельможным Председателем пять минут назад, она, верно, решила бы, что в председательском кресле сидели два разных лица!

Вместе с писательницей Рональд отправился в банк, снял деньги с ее текущего счета, отвез их в магазин и купил ей вожеленный палантин. Вещь действительно была уникальной — темных, самых дорогих баргузинских соболей с серебряно-седоватым отливом. Покупку отвезли в Учреждение.

Пожилая писательница трогательно радовалась обновке, как умеют радоваться только дети или самые высокие духом, самые умные взрослые. Их интуристовский «Линкольн» двигался по Воздвиженке к гостинице «Метрополь». В небе полыхали зарницы близкой грозы. Все потемнело и полило вело над крышами и Троицкой башней Кремля. Первые капли грозового ливня разбились о стекла автомобиля. И вдруг Роня увидел Катю. С потеряннм лицом она шла по тротуару.

— Вон моя жена, — сказал Роня дамам.

— Так давайте ее скорей в машину! — закричала писательница. — Она же намокнет сейчас ужасно!

Дождь уже хлестал, по улице понеслись потоки. Писательница в машине обняла Катю.

— Мадам! Вы сейчас — как лучшее русское вино: вы — полусухая! Немедленно едем в гостиницу пообедать и вспрыснуть нашу покупку!

Обед заказали в номер. Катя позвонила на работу, что промокла и пошла домой переодеться.

К концу обеда писательница призналась Кате, что влюбилась в нее по уши.

— Знаете, — говорила она проникновенно, — ведь я давно наблюдаю тех русских, кто походит на вас своими манерами и воспитанием, но страстно ненавидит все, что сейчас творится в вашей стране. Я — не идеалистка. Я видела у вас много прекрасного и много отвратительно-го. Видела прямые остатки крепостничества, рабства и нищеты, но и реальные победы во всех решительно областях. Не понимаю, зачем вы так старательно уничтожаете остатки старины, церкви, башни, стены, защищавшие ваших предков и вдохновлявшие их на отпор татарам, полякам, французам... Вероятно, вы сами потом об этом горько пожалеете. А вместе с тем вы столько создали замечательного, что о вас безумно трудно писать, не возбуждая в западном читателе чувства недоверия и не вызывая подозрений, будто я куплена коммунистами для пропаганды их идей... Вы, госпожа Вальдек, для меня — первый в России человек, в ком эти идеи так благородно слиты со всем тем высоким, что было всегда присуще русской дворянской интеллигенции...

Катя пила вино, улыбалась хозяйке и с легким смущением слушала ее речи. А за окном «Метрополя» становилось все сумрачнее, грозовой ливень перестал, но сеял неотвязный, скучный дождичек, превращавший июль в подобие позднего сентября...

— Вам невозможно ехать под таким дождем в одном костюме! — заботливо сетовала хозяйка. — Я привезла с собой этот легкий плащ-дождевичок. Накиньте его сейчас, смотрите, как он вам к лицу! Это ваш цвет! И, пожалуйста, не присылайте мне его с мужем обратно, оставьте себе в знак моей сердечной симпатии к вам. У меня было тайное намерение подарить его самой милой женщине, какую здесь встречу. Значит, он по праву — ваш! Милее вас в России я никого не знаю!

Плащик был ну будто по заказу изготовлен для Кати. Сидел ловко, а в нынешнюю погоду прямо-таки выручал. В продаже таких не было, а с рук, из-под полы на черном рынке они стоили очень дорого, как все заграничные изделия, весьма ценимые московскими спекулянтами.

— А чтобы вы, Рональд, не ревновали меня к своей чудо-жене, — повернулась она к Катиному супругу, — примите в дар от меня вот эту мою рабочую самопишущую ручку. Она мне хорошо послужила, побывала в Америке и теперь — на Волге, пусть-ка отныне послужит и вам...

... На следующее утро Рональд в вестибюле столкнулся с Юлией Вестерн. Она быстро подошла к нему, сунула в руку записку и вышла из подъезда. Записка гласила: «Сегодня, в 17 часов, платформа Никольская». Это была остановка перед Салтыковкой. Они там однажды уже встречались: ей тогда захотелось побывать в сельской церкви...

Служебную нуду он кое-как протянул до обеда. Потом придумал себе служебное поручение в городе, исполнил его и отправился на Курский.

... Юлия Вестерн расхаживала по платформе с дорожной сумкой через плечо. Светловолосая, коротко стриженная, рослая, не по-нашему одетая — она здесь очень бросилась в глаза в убогом окружении граждан с клеенчатыми портфелями и огородниц в мужских пиджачных обносках.

Они пошли вдоль линии в сторону Москвы. Рональд заметил, что два молодых человека следуют в отдалении по их пятам. Свое открытие он решил покамест утаить от собеседницы, чтобы зря не волновать и дать ей возможность высказаться. У них были уже свои «традиции»

при встречах: сперва говорить о самых важных по работе событиях, неудачах или успехах. Она рассказала, что в эти дни дважды или трижды виделась с писателем Исааком Бабелем и уже работает над интервью с ним. Получилось очень интересно! Виделась она и с немецким писателем-антифашистом и коммунистом, который очень помог ей здесь своими рекомендациями и связями... Она собирается в Баку, ей там обещан очень интересный для прессы материал об Азербайджанской республике. Там мало кто бывал из иностранцев, это обещает стать сенсацией... И единственное черное пятно среди всех этих удач — ее глупый, неумелый просчет при салтыковской встрече...

— Конечно, твоя жена — необыкновенна, — тихо каялась она Рональду, — она до того проникательна, что я не продержалась с моими тайнами и пяти минут. Она моментально поняла все, что между нами произошло и что я влюблена в тебя до ужаса... Притвориться равнодушной и деловой я не сумела. Но я все равно не могу поверить, будто мы из-за этого должны потерять друг друга. Ты для меня слишком много значишь!..

Ох, как они не похожи на нас, русских, эти наши милые гости!

Они дошли до густой рощицы на полпути к станции Реутово. Забрались в самые заросли и уселись на крошечной лужайке, окруженной плотной стеной елок и кустарников. Роня пытался проверить, где та пара молодцов. Будучи сам невидим, он смог различить эту пару в некотором отдалении. Оба терпеливо сидели и курили, дожидаясь, по-видимому, выхода «объектов наблюдения» из зарослей, которые извне совершенно не просматривались, но выйти из кустарника неприметным образом не могли.

Юлия обняла собеседника, заглянула ему в глаза. Он забыл обо всем на свете и прижался к ней.

Получасом позже они покинули укромную рощицу и начали было прощаться уже на виду у наблюдателей. Теперь и она заметила их. Рональд, путаясь, попробовал втолковать ей, что их близость отныне может навлечь на нее беды, ибо он не свободен и не волен собою распоряжаться. Она же ничего не сумела сообразить! Ничего не поняла!.. И эта наивность подтвердила ему, что у самой-то у нее особой подкладки нет! Иначе, будь она сама невольницей некоей разведки — разве не разгадала бы она причины его несвободы?

Шел седьмой час. Он обещал позвонить жене после работы. Оглянулся, ища телефон — автомат. В этот миг к ним подошли штатские...

— Не подавайте виду! Гражданин и гражданка! Пройдемте с нами. Садитесь в электропоезд. Надо проехать одну остановку. Постоим на площадке.

Сошли в Кускове. Их завели в какое-то помещение сбоку от станционного строения. Роня вспомнил, что бывал здесь некогда с Заурбеком в бытность того Уполномоченным ОРТОЧЕКА Курской железной дороги...

— Ваши документы!

Очень удивились, что гражданка — шведская журналистка!

— А ваши, гражданин?

Сотрудник Учреждения... Журналист и дипломат... Так, так... Очень приятно! Документы, извините, зафиксируем в журнале... По какой вы здесь надобности?

— Мы просто гуляем, дышим воздухом. Это что, тут у вас запрещено?

— Никак нет, дышите себе на здоровье! И просим нас извинить! Мы обознались. Приняли вас, знаете, за одну пару рецидивистов, очень опасных, работающих в поездах. Еще раз просим прощения. До свиданья! Вы свободны.

* * *

— Все кончено, Кити! — сказал он Кате дома.

— Что кончено?

— То, что тебя тревожило. Мы с нею расстались...

Он все ей рассказал.

— Значит, она — под постоянной слезкой? Что ж, жди событий! Эта встреча тебе даром не пройдет.

— Так ведь никаких формальных приказаний прекратить работу я не получал еще!

— Они знают главное: ты умолчал о том, что изменил к ней отношение, влюбился в шпионку и не можешь делать порученное тебе дело!

— Я не верю в ее шпионство!

— Да и я не очень верю! Просто дура и... прости господи... На Западе полно таких барынек, взбесившихся с жиру!

— Звонят к нам. Кто бы это так поздно?

Баба Поля пошла в прихожую открывать. В следующую минуту в столовую быстро вошли трое незнакомых, решительных и четких... Позади маячило испуганное лицо управдома — он жил в соседней квартире, на той же лестничной площадке.

— Рональд Алексеевич Вальдек? Ордер на арест и обыск. Приступайте, товарищи. Оружие есть? Документы? Валюта? Запрещенная литература?..

2

...Его привезли на Лубянку. Оставшись в одиночестве, в тесноте каменного мешка, озаренного негаснущей лампочкой, Рональд гадал: сколько предстоит провести здесь времени? Часы? Дни? А может, годы?..

Через несколько часов его повели в баню. Пока мылся под холодным душем, его одежду подвергли строгому обыску. Срезали почти все пуговицы, петли. Отобрали ремень.

Он как-то приспособился ходить, не держась за пояс брюк. Выдали ему после бани соломенный тюфяк и постельные принадлежности, повели коридором с одинаковыми дверями. В каждом — глазок и окошечко, плотно прикрытое. Одну из дверей надзиратель отомкнул, пропустил арестанта с матрасом и постельными принадлежностями вперед, в камеру, и закрыл снаружи дверь. Роня очутился среди полутора или двух десятков человек.

Его спросили, с воли ли он. Стали требовать новостей. Он же весь внутренне напрягся, ошетинился: ведь это — преступники собраны, враги Родины, схваченные, обезвреженные, но все еще опасные и, конечно, темные, скользкие... Боже упаси о чем-то проговориться, чем-то помочь им в обмане следствия и суда... Он молчал и затравленно озирался.

Состояние его, видимо, поняли безошибочно.

— Дайте парню в себя прийти, опомниться, — сказал кто-то мягко. — А который сейчас час, не знаете, товарищ?

— Спать, спать, — раздалось с нескольких коек. — Утро вечера мудренее!

И вновь прибывший быстро устроил себе постель на пустующей койке, разделся и лег. Безо всякой надежды уснуть, но с решением прийти, наконец, в себя и обдумать положение...

Быстрее, чем он ожидал, Рональд Вальдек сблизился с двумя-тремя соседями. Еще двенадцать часов назад он пришел бы в ужас от

такого соседства: врач-убийца, злостный троцкист, антисоветчик... Подумать только!

Однако он уже достаточно познал жизнь, чтобы сознавать: не бывает у убийц, даже непредумышленных, столь ясного взора голубых глаз! Злостный троцкист оказался командиром взвода в артдивизионе, был добродушен и не высокоинтеллектуален, а москвич-антисоветчик имел от роду неполных 16 лет, звался Юрка Решетников и проникновенно читал пастернаковского «Лейтенанта Шмидта». Большая часть сокамерников считала тюремный срок неделями, некоторые — месяцами, и лишь «харбинцы» — а их в камере было четверо — сидели дольше. Но у всех уже выработалась неуловимая, а порою и явная ирония при упоминании обвинительных статей и сроков по ним...

— Вам, Рональд, обвинение предъявили? — спросили у новичка.

И даже не получив еще ответа, но узнав от соседа, где новичок служит, дружно и определенно заявили хором:

— Шпион! Определенно шпион! Натуральный шпион!

— Может быть, КРД, — тоном утешения всказал кто-то.

— А что это такое?

— Запоминай, парень: КРД — контрреволюционная деятельность, КРА — соответственная агитация. Ежели через пункт 17 — значит, намеренно. Ежели через пункт 19 — значит, попытка... Учись, учись, парень!

Так и пошел Рональд Вальдек перебирать костяшки тюремных дней на невидимых четках неволи. Томили его и чужие трагедии, и свои размышления. Думал все о том же — отрицает ли всеобъемлющая коммунистическая идея основы христианской морали? Зажеп сказал: безусловно! По-Катиному, выходит, что нет, одно другого не исключает. Кто же прав? Не являлся ли он сам, человек с гордым старинным именем Рональд Вальдек, желавший быть острием кинжала, входящего в грудь врагу, пустым доносчиком и стукачом, о которых здесь, в камере, товарищи говорили с таким невыразимым презрением? Ибо каждый из этих людей, честных и добрых, приведен сюда стукачом-доносчиком, как правило, трусливым, подлым и лживым провокатором (а может быть, «стимулятором»), тоже бегавшим к какому-нибудь Зажепу? Эта мысль была ужасна, невыносима, самоубийственна! Нет, нет, нет! «Товарищ Кинжалин» не предавал, не лгал, не доносил! Он лишь и н ф о р м и р о в а л органы о том, что их интересовало! И никто, никто от этого не пострадал!

Действительно, истории про стукачей, услышанные в камере, ничем не напоминали собственный опыт. Вот артиллерист-троцкист. Вел во взводе политзанятия, рассказывал про гражданскую войну. Один из бойцов спросил, кто был Троцкий. Командир сразу же сказал, что это — злейший враг революции, изгнанный из страны, пробравшийся некогда на руководящий пост в Красной Армии, чтобы подрывать ее изнутри, и имевший некоторое влияние на красноармейскую массу благодаря своему краснбайству. Через несколько дней командира арестовали за злостную троцкистскую агитацию. Предал его запуганный стукач-еврейчик с девятью классами школы, очень боявшийся нэпманского прошлого своих родителей и завербованный полковым уполномоченным ОГПУ.

Врач-убийца служил в детском приюте. В часы его ночного дежурства возник пожар. Во главе всего немногочисленного дежурного персонала врач выносил детишек из двухэтажного корпуса. При проверке двоих недосчитались. Предполагательно, они ночью бегали в уборную, потому что постели их в спальне пустовали, когда поднялась тревога. Врач разбил окно в нижнем этаже и пытался искать пропавших там, но в огне и дыме чуть не погиб сам. Потом, в обгоревших развалинах,

следы двух тел обнаружены не были — возникло предположение, что эти двое сбежали. Но эта спасительная версия отпала, ибо одна из медсестер дала показания против врача, обвинила его в антисоветских высказываниях. Ему инкриминировали вредительство, поджог и убийство по халатности. Медсестра была известна как старый сексот и давнишний стукач. В ночь пожара в спасении детей она не участвовала вовсе, хотя дежурила и даже вынесла из канцелярии какие-то служебные бумаги.

Юрка Решетников, еще школьник, прочитал товарищам цикл стихов, составленный им самим из опубликованных произведений Павла Васильева, Бориса Корнилова, Пастернака, Ахматовой, Гумилева и Мандельштама. Об этом чтении узнала учительница его класса, ненавидевшая Юрку именно за любовь к поэзии и за недоуменные вопросы при классных занятиях. Отец другого ученика служил в органах и учительница пошла к нему, получила указания и подала куда следует бумагу с цитатами из стихов, читанных Юркой ребятам-одноклассникам. Арестовали Юрку за контрреволюционную агитацию, хотя стихи были, по его мнению, именно революционные.

Самого Рональда Вальдека никуда не вызывали больше недели. Он втягивался в камерную жизнь, жертвовал хлебный мякиш из пайки на изготовление шахмат, освоил азбуку для перестукивания и, перебравшись на другую койку у стены, принял первую «стукограмму», которая гласила: «Есть у вас харбинцы?» В ответ он передал четыре фамилии своих однокамерников. «Дело харбинцев» было в те месяцы одним из самых модных. Это были русские служащие КВЖД. Всеми способами их агитировали за репатриацию, особенно с 32 года, когда японцы заняли Манчжурию. Уговорами, угрозами и посулами русских служащих сманили в СССР, а саму железную дорогу уступили чуть позднее за бесценок японцам. Привычные к усердному труду харбинцы быстро освоились, устроились и ценились как отличные специалисты. Утверждают, что Сталин лично приказал отыскать по всей стране этих выходцев из Манчжурии и посадить всех до единого как потенциальных японских шпионов. Началась беспримерная акция — только в Москве, где осело их мало, все тюрьмы переполнились этими пасынками двух стран. Настроение этих людей было беспросветным: старшие уже не сопротивлялись следователям и подписывали все, что те требовали, младшие, в том числе и Ронин сосед — Петя-физкультурник — энергично противились произволу и шантажу следователей (Петя все грозился «дойти до самого товарища Сталина»), теряли силы и здоровье в бесплодной борьбе и в конце концов выходили из нее сломленными, полуживыми, окончательно разуверившимися в государственной справедливости. . . Под конец Рониного пребывания в камере Петя почел за лучшее подписать признание в преступной деятельности и в тишине ночи глухо рыдал в подушку, видимо, окончательно хороня свои бывшие честолюбивые мечты о комсомоле и дальнейшем росте на партработе. . .

По доносившимся звукам Рональд Вальдек уже читал и расшифровывал простейшие ритмы тюремной жизни. Думал он при этом, сколько сотен книг он переслал в подведомственные ему страны о преимуществах пенитенциарной системы в СССР в сравнении со странами буржуазными! Теперь ему открылась неожиданная возможность самому, на личном опыте, познать эти преимущества! . .

Сначала Рональд сориентировался на пространстве внешнем и определил, что их камера выходит на улицу Малая Лубянка. Через каждые четыре-пять минут часовой прохаживается по тротуару как раз на уровне самой верхней части зарешеченного камерного окна у притолоки. Значит, потолок камеры находится примерно на уровне уличного

тrotуара. Если бы кто-нибудь из прохожих вздумал бы лечь на тротуар — то смог бы заглянуть через мутное стекло в Ронин подвал и увидеть всех сокамерников на койках. Теперь Рональд знал и значение букв ППМО: Полномочное представительство Московской области в ОГПУ СССР. Это «представительство» имеет собственную областную тюрьму на Малой Лубянке для государственных уголовных преступников, то есть — политических, если пользоваться буржуазной терминологией. Терминология же социалистической страны в таком термине не нуждается: свободы ее граждан столь обширны, что преступления политические здесь просто немыслимы. Их не бывает! Бывают лишь антигосударственные уголовники. Непонятно лишь одно: зачем при такой благодати внутри страны еще надобно Объединенное Государственное Политическое Управление? Эту несообразность впоследствии учли и переименовали зловещее учреждение в безобидное Министерство, а затем даже в простой Комитет Государственной Безопасности. Словом, чистейший гуманизм последовательно прогрессировал в стране победившего социализма! . . .

Вышеупомянутое ППМО вспомнило, наконец, об арестанте Вальдеке и вызвало его из малолубянского подвала наверх, на допрос к следователю.

Напуская на себя суровость, непреклонность и глубочайшую осведомленность обо всех грехах арестанта, следователь долго записывал Ронины ответы на пункты анкетного порядка и перешел к устным вопросам о друзьях, знакомых и родных. Про служебные дела, о шведке Юлии Вестерн — ни звука! Интересовали следователя лишь Ронины связи с немецкой церковью, хоровыми обществами, органистом и кругом немецкой молодежи, куда ввели Роню органист и певец.

— Расскажите, при каких обстоятельствах вы попали на вечеринку в доме певца Денике и как она проходила?

Роня пояснил, что подробностей не помнит, ибо все это детально известно Иоасафу Павловичу и Максиму Павловичу. Следователь же изо всех сил старался как бы вовсе исключить из своих записей факт . . . недобровольного появления Вальдека на этой вечеринке! И лишь с крайней неохотой записал он телефоны, адреса и служебные координаты Рониных «азных» начальников.

После составления этого протокола Рональд Вальдек уже не долго пробыл в стенах на Малой Лубянке. Однажды, поздно вечером, его вызвали из камеры «с вещами». Никто из товарищей и опомниться не успел, как Роню уже ввели в коридор и проводили в дежурку. Тут ему дали подписать бумагу о неразглашении, обязательство не поддерживать связи с сокамерниками и не выполнять их поручений, просьб и пожеланий.

Рональд больше всего жалел, что действительно вынужден будет соблюдать эту инструкцию: слишком быстрым и неожиданным было его освобождение и никаких поручений от товарищей он и вправду взять не мог!

В летнем сумраке шагал он по знакомым улицам со свертком своих камерных пожитков и размышлял о причинах своего ареста и освобождения. Выходило, будто история со шведкой никак не повлияла на арест «по немецкому делу». Может быть, две азные инстанции не сговорились и ведомство Максима Павловича и Зажепа просто не ведало, что ППМО ведет параллельную работу и получило ордера на аресты? Судя по документам в руках следователя, одновременно с Рональдом было арестовано еще несколько человек из церковной среды. Или же, наоборот, учитывая строптивость и недисциплинированность своего консультанта, Зажеп и Максим санкционировали органам ППМО арест Вальдека, чтобы принудить его к покорности на будущее, припугнуть и показать, почему бывает фунт лиха? А может быть,

Рональда посадили, чтобы отвести от него подозрение насчет сотрудничества с азами? Все это было туманно и тревожно. Жизнь скособо- чилась. Из прямой и ясной она становится все более похожа на нечи- стый, путаный бульварный роман. Жанр низкопробного детектива Рональд органически ненавидел и про себя решил положить «всему этому» конец.



... Максим Павлович принял его с веселой непринужденностью. Рональд явился на эту встречу с намерением сделать ее последней. Он принес сухое, краткое заявление на одной странице с претензией против примененной к нему политики кнута и пряника, вместо разум- ной и неторопливой тактики использования всех его служебных воз- можностей. Устно он попросил принять свою полную отставку.

Начальник в мягком тоне стал его отговаривать.

— Вы сейчас раздражены, а ведь мы вами очень дорожим! По- жалуйста, Иоасаф Павлович, — обратился он к сидевшему поодаль Рональдovu шефу, — продумайте хорошенько такое применение сил и знаний товарища Вальдека, чтобы он почувствовал от сотрудничества с нами полное удовлетворение. А как сейчас ваши дела в Учрежде- нии? Ведь вы, Рональд Алексеевич, как будто задумывались о перехо- де оттуда?

— Пока, после такой паузы, я ничего сказать о работе не могу. Я не уверен, что еще числюсь в штатах своего Учреждения. Я там еще не был.

— Не тревожьтесь. Там ничего не известно, где вы пробыли этот месяц. Вашей супруге, Екатерине Георгиевне, мы передадим зав- тра больничный лист. Дадим вам, сверх отбытого месяца, недельку полного домашнего отдыха. А потом подумаем, как пойдет ваша даль- нейшая служебная... и... иная деятельность. Ваше заявление, Ро- нальд Алексеевич, я еще перепроверю, но говорю заранее: отпускать вас совсем мы отнюдь не намерены. Вы сами понимаете, что арест ваш был сделан отчасти в целях оперативных, отчасти же по... недо- разумению. Не огорчайтесь лишнему опыту, мы его еще используем вместе с вами!..

Глава тринадцатая

РАСПУТЬЯ

1

А посох нам, и нищенства обеты!
М. Волошин

Летом 1935 года Рональд Вальдек перешел из своего Учреждения в Правительственное агентство информационной службы («ПАИС») на должность литсотрудника, совмещая журналистскую работу с учебной в экстернате педагогического института. Впрочем, всерьез готовиться к экзаменам ему приходилось лишь по дисциплинам педагогическим и историческим. Как раз в области истории кое-что новое со времен Брю- совских все же появилось. За учебный год он держал экзамены по шести-семи дисциплинам и практически смог закончить все четыре

курса за несколько месяцев напряженных занятий на протяжении двух лет. Даже неутомимая Катя дивилась его выносливости в те месяцы. Иногда от напряжения у него пошаливало сердце — он подпортил его на воинских сборах чрезмерной спортивной подготовкой и тяжелой работой на тушении пожаров...

Деятельность в агентстве была ему по душе, сплошные разъезды и по городским окраинам, и по соседним областям, и по всей стране. Главными объектами его заботы были: советская наука, реконструкция Москвы, литературный календарь, отчасти спорт и авиация. Разумеется, как и любого журналиста, Рональда бросали и на всяческие кампании, и на прорывы, и на праздничные парады, и на правительственные похороны с лицемерными речами и некрологами. Так он проработал больше года, до тех пор, пока однажды Рональда Вальдека не вызвал к себе новый ответственный руководитель ПАИС и объявил журналисту, что «в порядке освежения аппарата ПАИС он, Вальдек Р. А., увольняется и может сам выбирать формулировку увольнения: либо как несправившийся с работой, либо по собственному желанию». Обычно после такого увольнения человека сажали уже через несколько дней, а то и часов. С такой новостью он и воротился домой, к Кате.

Но у той были свои свежие новости: в Ленинграде арестован профессор Волжин, в Москве — профессор Винцент. Оба были друзьями покойного Валентина Кестнера, а Винцент считался главной научной опорой Екатерины Кестнер.

Довольно скоро после ареста Рониного отца, профессора Винцента, Волжина, Вадима Григорьева и многих других людей, близких дому Вальдеков, Катю Вальдек пригласили в Большой дом.

Катя вошла в Приемную залу, где слева была дверь с табличкой «Народный Комиссар Внутренних Дел», а справа от входа подобная же табличка оповещала, что за нею пребывает и священнодействует «Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел». В эту дверь, правую, Катю, в конце концов, и ввели.

За письменным столом сидел товарищ в штатском, но рядом с ним, в позе готового к услугам денщика вертелся и сгибался другой человек в чине генеральском. Стало быть, сидящий был важнее генерала! Хозяин кабинета отослал генерала, остался с Катей наедине... В эти напряженные для нее часы Рональд Вальдек ожидал жену на скамейке Сретенского бульвара. Катю он провожал до этой скамейки от трамвая и сказал, что дождет ее, сидя на скамье за чтением Островского.

Одну за другой он прикуривал все новые папиросы от догоравших, загадывал по-тюремному, вернется Катя или не вернется: сядет воробушек носиком к Рональду — вернется! Сядет хвостиком — дело дрянь! Воробы сиделись как попало, а время стояло.

И вдруг, как-то сзади, неслышно подошла к нему Катя. Ее лицо было обтянутым, бескровным, белым, как утренняя луна. И — неживые, негнущиеся пальцы.

Он взял ее под руку и повел вдоль бульваров к дому, со Сретенского на Яузский, и этого расстояния как раз хватило для Катиного рассказа.

... Хозяин кабинета начал издали. Кратко подтвердил, что Катинь начальники характеризуют всю практическую деятельность собеседницы положительно.

— Я имею в виду дела в научных институтах и... работу вашу с японцами...

Тон его был, однако, холодным и сдержанным.

Выслушав ее ответы насчет покойного мужа и мужа нынешнего, он осведомился совсем уж ледяным тоном, как могло случиться, что

научную и деловую рекомендацию дал ей не кто иной, как гнусный вредитель, подлый враг народа и разоблаченный японский шпион, злобный контрреволюционер, бывший профессор и член-корр. Академии наук Винцент.

Катя спокойно пояснила, что рекомендация Винцента — это самая высокая и самая почетная характеристика для любого советского японоведа. Она, Екатерина Кестнер-Вальдек, счастлива, что удостоена такой оценки, надеется оправдать ее и гордится дружеским расположением к ней профессора Винцента.

Собеседник поднял на нее тяжелый взгляд.

— Так вы, уважаемая Екатерина Георгиевна, считаете государственные органы некомпетентными и глупыми? И доверяете врагу народа больше, чем чекистам-сталинцам? Вам известно, что мы считаем товарища Сталина своим учителем, самым первым и самым лучшим чекистом?

— Если бы я сомневалась в вас и в вашем аппарате, то едва ли... очутилась бы в этом кабинете. Тем не менее, считаю арест Винцента огромной ошибкой. И надо ее исправлять незамедлительно, ибо он слаб здоровьем.

— То есть, по-вашему, надо вернуть волка в овчарню? Мы пригласили вас сюда не для того, чтобы слушать подобные советы. Именно вы, Екатерина Георгиевна, обязаны всемерно помочь нам разоблачить матерого шпиона. Вам придется проанализировать для Следственного отдела кое-какой японский материал, разоблачающий вредительскую работу Винцента. От вас, как советского патриота, мы ждем соответствующей оценки. Ну, а также и ваших личных... свидетельских показаний. О тайных связях Винцента, Волжина и еще кое-каких сообщников этих шпионов. Что вы на это нам скажете?

— Скажу вам одно: если бы японская разведка ассигновала миллионы на подрыв советского востоковедения, все эти миллионы ей следовало бы истратить на... уничтожение Винцента. Отнимите Винцента у советской японоведческой науки, и — она будет окончательно обезглавлена. Было у нас три японоведа мирового класса, и они удачно делили между собою сферы деятельности: Винцент преимущественно исследовал историю и культуру Японии, Кестнер — экономику и сельское хозяйство, вооруженные силы и военные доктрины, начиная с эры Мейдзи, Волжин изучал коренное население, этнографию, языки и все то, что Пильняк метафорически назвал «корнями японского солнца»... Кестнер умер, Волжина вы обвинили в смертных грехах, не берусь судить, на каком основании, а теперь рубите последний сук под советским японоведением. То, что никак не удавалось японской разведке, сделали за нее... вы!

... Катя и Рональд уже подходили к своему переулку.

— Послушай, Кити! Ты... малость не преувеличиваешь? Это... сказано было... прямо ему в лицо?

— Ронни! Я передаю тебе нашу беседу с ним **СТЕНОГРАФИЧЕСКИ ТОЧНО.**

— Кити! Хочу сказать, что ты... великий человек. И я ужасно тебе горжусь! Сам, верно, так бы... не сумел, не нашелся и не сдюжил бы. Но... почему же он сразу не... посадил тебя?

— В ту минуту я была к этому готова. Ибо лицо его сделалось...

— Мрачным?

— Не то слово! Просто... черным. Со стиснутыми зубами он спросил: «Вы отдаете себе отчет в том, что сейчас сказали?».

— «Вполне», — подтвердила я.

— «В таком случае нам с вами разговаривать больше не о чем. Можете идти!»

Через несколько дней после беседы с высоким азным начальником Екатерина Георгиевна Кестнер-Вальдек пришла на работу в свой академический институт с небольшим опозданием. В эту минуту курьерша крепила кнопками к доске приказов очередное начальственное распоряжение. Екатерина Георгиевна, никогда раньше служебных приказов не читавшая (теперь их жадно ожидали все, чтобы узнать, кого коснулась за прошедшие сутки железная формула: «Исключить из списков института»), подошла к доске. Только что вывешенный приказ был краток и касался одного лица: Екатерины Георгиевны Кестнер. Правда, формула была чуть-чуть иной: «Отчислить из состава научных сотрудников института». Сотрудники смотрели не в лицо ей, а будто сквозь него, словно оно вдруг сделалось стеклянным.

Ей запомнилось, что только китаист Константин Павлов, задержав ее руку на миг дольше, чем следовало, в своей, тихо сказал ей несколько ободряющих слов. Но даже ей самой почудилось, что этот хороший поступок отзывался вольнодумством и непартийным отношением к зачумленной. Руководитель института, старый академик В., дружественно относившийся к покойному Кестнеру и всегда очень внимательный к Кате, принять свою научную сотрудницу не смог: к нему в кабинет, церберски охраняемый, она и не пыталась проникнуть без приглашения.

Лишь уходя, холодно распрощавшись со всеми, кто еще вчера заискивал и старался услужить, Катя вдруг случайно или неслучайно, увидела директора почти на пороге отдела, ею покидаемого. Уж она было открыла рот высказать что-то укоризненное своему давнишнему шефу, но он сам быстро подошел к ней, поцеловал в щеку и сказал, почти со слезами на глазах:

— Майн либес кинд, абер вас канн их денн дафюр! Едех, нихт фервайфелн, майн кинд! Ес вирд зих мал видер вас умдреен!

А еще через несколько дней Николай Иванович торопливо говорил ей по телефону, чтобы она «свернула» занятия с японцами.

— Скажите, что вы очень сейчас заняты. Или больны. Это пока, временно. Будьте здоровы. Если понадобится, позвоню сам.

Однако «надобности» в ней, по-видимому, больше ни у кого не было, и длилось это долго. Супруги Вальдек взяли детей, увезли их в глухой уголок Ивановской области, и прожили они там, в деревне, на грибах, ягодах, лесной дичи, рыбе и дешевом молоке долгие месяцы.

Как-то перетерпели и зиму... Пошел 1939-й. Кто-то доставал переводы, их оформляли на подставных лиц.

... В какое-то весеннее, довольно хмурое утро прозвенел телефон. Совершенно будничным, скучным тоном заговорил с Екатериной Георгиевной шеф ее институтского отдела:

— Товарищ Кестнер, а почему, собственно говоря, вы так упорно игнорируете ваши служебные обязанности?

Готовая ко всему «товарищ Кестнер» все-таки несколько опешила и не сразу нашлась, как держаться.

— Короче, товарищ Кестнер, прошу вас прекратить это дезертирство и завтра к 10 утра быть на вашем рабочем месте. Это приказ директора института академика В.

— А... как насчет... прежнего приказа?

— Послушайте, не надо задавать лишних вопросов руководству. До завтра, Екатерина Георгиевна!..

Пошла было обычная, не слишком напряженная, привычная и даже чуть скучноватая (после всех головокружительных взлетов и захватывающих дух падений) полоса бытия, но с осени стало очевид-

ным, что Европа стремительно движется к войне за перекройку и перелицовку карты нашего полушария...

А однажды в «Вечерке» снова появилось объявление: «Корреспондент японской газеты «Токио синбун» нуждается в уроках русского языка». В тот же вечер позвонил, как ни в чем не бывало, Катин старый знакомец Николай Иванович. Катя сделала вид, будто не узнает его. Тот был вынужден даже напомнить, откуда он...

— Мы просим вас, Екатерина Георгиевна, позвонить этому корреспонденту и назначить... наиболее приемлемые для вас условия. И когда пройдет несколько занятий, мы с вами... увидимся. Там же, где обычно... В беседах с ним постарайтесь коснуться, как... в тех кругах оценивают... события вокруг Финляндии.

...А Рональд Вальдек неожиданно был вызван к декану Института усовершенствования. Ему было предложено провести курс в очень ответственной группе, точнее в двух группах факультета Особого назначения для работников НКВД СССР. Рекомендует Вальдека сам Институт усовершенствования. Факультет дал предварительное согласие на эту кандидатуру преподавателя. Предмет — особый курс русской литературы и вспомогательный курс русского языка.

Групп было две. Первая состояла из четырнадцати ответственных работников ГУЛАГа НКВД СССР, включая двух прокуроров, вторая группа — поменьше, для среднего звена.

Программу утверждал сам Берия. Рональд был приглашен в Большой Дом. У него взяли папку с двумя экземплярами программы, продуманной им вместе с Катей, ибо они примерно догадывались о степени подготовки и уровне учащихся. Это были очень ответственные, высокопоставленные и весьма низкограмотные руководители, выдвинутые смолоду на важные посты и не обладающие даже средним образованием. А институт давал им сразу высшее, так сказать, «гуманитарно-производственное» образование, типа Промакадемии, с выдачей на руки вузовского диплома при успешном окончании всего трехгодичного курса... После короткого ожидания Рональда пригласили в кабинет слева.

Весь прием продлился считанные минуты и был чистой формальностью, по-видимому, имевшей целью подчеркнуть внимание Наркома к учебным делам его высших кадров.

Берия стоял у окна. Тучный, маленький, весь отглаженный, будто лакированный. Очки с очень тонкой оправой напоминали пенсне прежних времен и придавали ему интеллигентность. Лицо округленное, холерное, без улыбки, во взгляде — порочность, холодный цинизм, наигрыш. Человек с таким лицом может притвориться кем угодно, стать вдруг обаятельным и ласковым, веселым и общительным, вежливым, даже добрым. А в следующий миг обернется он хладнокровным палачом, с глазами как пистолетные дула, и они будут с пристальным вниманием следить, как жертва извивается в муках... В этом лице легко читалось хищное пристрастие к любым физическим утехам, от сладкой пищи, тонких вин и до юного женского тела... «Сладострастник» — назвал бы его автор «Братьев Карамазовых».

Лаврентий Павлович положил на подоконник папку с учебными программами. Делал, просматривая их, видимо, уже повторно, какие-то легкие пометки цветным карандашом. В кабинете был еще кто-то (кроме большого портрета Сталина в полный рост), но говорил с вошедшим один Нарком.

— Товарищ Рональд Алексеевич Вальдек? .. Простите, что другие дела мешают нам обсудить подробнее программу по вашим дисциплинам. Но я программу нынешнего курса уже прочел, нахожу ее интересной и полезной. Есть, правда, у меня и некоторые вопросы, неясности...

Он еще раз пробежал глазами первую страницу, перевернул ее и опустил карандаш на краткий раздел о Достоевском на следующей странице. Рональд знал, что Нарком резко отрицательно относился к этому писателю и отвел в программе на лекцию о Достоевском очень мало места.

— Нужно ли вот это? — проговорил, взблескивая очками, хозяин кабинета. — Вы, товарищ преподаватель, очень уж его любите? Не можете без него обойтись? Ведь как мыслитель это — мрачный юродивый реакционер, а как художник он совершенно чужд нашей эпохе. Не так ли?

— Но это величина мировая. Здесь нельзя руководствоваться симпатией или антипатией к его сочинениям, ибо они слишком многое определили в последующих поколениях... Если несколько схематизировать картину, то после Толстого и Достоевского мировая литература находится под влиянием обоих этих русских гениев и делится на учеников того или другого из них. Одни, вслед за Толстым, больше интересуются социальными проблемами общественного человека, другие, следом за Достоевским, углубляются в тонкости человеческой психологии.

— А вы, что же, отказываете Толстому в психологической тонкости?

— Отнюдь нет, конечно! Но психологизм Толстого иной. Его в первую очередь интересует именно общественный человек и пути к всечеловеческому братству. А Достоевского волнует всегда отдельно взятый человек и ущерб, нанесенный обществом его личности...

— Спорно, но... небезынтересно. Главное, очень прошу вас, товарищ преподаватель, избегать школярства! Чтобы люди большого практического опыта, ценные наши руководители не ощутили себя опять какими-то приготовишками, понимаете? Чтобы им было интересно и чтобы они быстро поняли, как нужны им эти знания даже в ежедневной практической работе!..

Он протянул руку, подчеркивая этим жестом свое расположение к преподавателю. Пальцы были прохладны, чисто вымыты и вяловаты.

— Итак, программу вашу я в целом утвердил. Можете начинать по ней ваш курс. А в будущем примите во внимание мои пожелания, главное же, необходимо заинтересовать, увлечь аудиторию. Я надеюсь, что это вам вполне удастся. Желаю вам полного успеха! Может быть, в ходе занятий возникнут какие-то проблемы — тогда поставьте в известность меня. И, возможно, я побываю у вас на занятиях или на экзаменах. Будьте здоровы, товарищ преподаватель!

* * *

В стенах той самой церкви Воскресения на Покровке, где венчался Достоевский, размещалось, оказывается, целое гулаговское управление. Его начальник, старший лейтенант государственной безопасности, был старостой основной, или первой группы. Занятия шли в его кабинете. Начальник командовал: «Встать!» и докладывал вошедшему преподавателю, что группа готова к занятиям.

Вторая группа была числом и чинами помельче, занятия шли в какой-то невзрачной конторе на Покровском бульваре, против длинного строения казарм; выделялся своими успехами в учении один слушатель из этой группы — мл. лейтенант госбезопасности товарищ Ц. Серьезный, вдумчивый, очень спокойный чиновник средних лет, с бритым черепом, хорошей памятью, здравым умом и натурой, не склонной к фанатизму. Он составил замечательные конспекты по Рониным предметам. Впоследствии экзаменаторы ставили его всем в пример, а Рональду Вальдеку он запомнился на всю жизнь среди нескольких тысяч учеников, слушателей и курсантов...

Занятия шли регулярно, строго по расписанию, задания выполнялись со школьной добросовестностью — все знали, что за работой факультета следит сам Нарком. Обе стороны — преподаватель и слушатели — постепенно привыкали, притирались друг к другу. У Рональда Вальдека уже начинало исчезать первоначальное ощущение цыпленка, нечаянно влетевшего на кухню к обедающим поварам...

Часто случалось, что в момент лекции о Тургеневе или Чехове тихонько звякал телефон ВЧ. Начальник взмахом руки водворял в аудитории тишину, преподаватель умолкал на полуслове, а хозяин кабинета и вертушки принимал телефонные указания сверху. Иногда трубка говорила так отчетливо что слова высшего начальства явственно разносились по всему кабинету:

— Приготовьтесь принять завтра две с половиной тысячи... С Окружной... Нужна будет и санобработка... Контингент частично не наш... Разнарядку на этапирование получите послезавтра, а покамест надо разместить компактно, не разбрасывать... Тесновато будет? А? Ну, создавать удобства мы им не обязывались! Что вы так тихо?...

— У меня... занятия, товарищ Комиссар первого ранга...

... В то утро Катя и Рональд рьяно переводили какой-то срочный заказ от редакции «Иностранной литературы». И не ведали, что Москва, услышав первые тревожные вести, уже штурмует продовольственные магазины, ларьки и лавки. Когда включили радио, товарищ Молотов, слегка заикаясь, говорил слова, падавшие камнем на сердце...

Ничего друг другу не высказав, они без всяких слов постигли вмиг, что распутья, сомнения, колебания — улетают, как дым, куда-то далеко назад, в небытие. Теряют всякий смысл и значение. Сейчас для обоих одно дело жизни — спасти детей и отечество от злой общей беды... И Рональд Вальдек, в чем был, побежал в Бауманский райвоенкомат проситься на передний край войны...

Рональда взяли не сразу. На него была подана «бронь», то есть временная отсрочка призыва. Один месяц он еще дочитывал свои курсы, принимал экзамены, выдавал, подписывал дипломы. Гулаговский начальник, староста его первой группы Особого факультета, дал ему отличную характеристику и помог снять бронь. Еще несколько суток Рональд дежурил на крыше Академии, тушил зажигательные бомбы и был легко ранен в первую бомбежку Москвы осколком зенитного снаряда. Катю Вальдек эвакуировали куда-то в Башкирию вместе с институтом.

Еще день спустя Рональда вызвали в военкомат, отобрали паспорт, выдали предписание и послали на формирование новой московской дивизии в город Рыбинск... 8 августа 41 года, под селом Войсковицы, он участвовал в первом смертном встречном бою на Ленинградском фронте.

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

Антуан де Сент-Экзюпери ЦИТАДЕЛЬ

Перевела с французского Марианна Кожевникова

СXXXIII

— Стихотворение я написал. Осталось его поправить.

Мой отец возмутился:

— Ты написал стихотворение и теперь собираешься его поправлять? Но что значит писать стихотворение, как не поправлять его? Что значит лепить статую, как не поправлять ее? Ты видел, как работают с глиной? От поправки к поправке все явственней выявляется лицо, и первая вмятина на коме глины — уже поправка. Закладывая город, я поправляю пустыню. Перестраивая, поправляю город. Поправки и есть мои шаги к Господу.

СXXXIV

Ты открываешь себя, связывая в целое дробность. Ударяешь в колокол, заставляя отозваться других. Неважно, что послужило тебе колоколом. Любое творение — только возможность уловить, хотя по облику ни одно из них не сходно с ловушкой. Я уже говорил тебе: все ищет быть связанным, все взаимопроникает друг друга.

Танец, музыка длятся, ты даешь мне время вникнуть в смысл твоего послания. Повторяешь, медлишь, поднимаешься, опускаешься и, наконец, я улавливаю эхо — отзвук твоей сущности.

Но вот передо мной статуя, готовая целостность, мне нужен ключ, чтобы заглянуть в тебя. Если бы не нос, рот, уши, мне бы не понять, что ты подчеркнул, а без чего обошелся, чему придал вес, а что облегчил, что возвысил, а что принизил, что опустошил, а что наполнил. Если бы не заранее сложенное представление о лице, я бы не понял твоего послания, не уловил эха твоего голоса. Но у меня есть ключ, я знаю, какое лицо совершенно, а какое заурядно.

Но показав мне совершенно заурядное лицо, ты ничего не сообщил мне, оно только код, точка отсчета, классическая модель. Пойми, не потрясений я жду, — сообщения о тебе. Посылая мне безликий образчик, ты умолчал о себе. Так измени его, сомни, но постарайся, чтобы я все-таки догадался, от чего ты ушел. Нос посреди лба не смутит меня.

Другое дело, что я упрекну тебя в неискренности, в грубой прямолинейности: начинающий музыкант трубит во всю мочь, лишь бы его услышали; поэт доводит свой стиль до гротеска, лишь бы заметили, что у него есть стиль.

Храм построен? Убери леса. Зачем мне знать, как ты его строил. В совершенном творении не заметны швы и стыки. Не нос главное, и

не стоит привлекать к нему все мое внимание, поместив его на лбу. Не стоит выбирать самое яркое слово, оно заслонит образ. И образ не должен быть чересчур броским, иначе он нарушит стиль.

Я жду от тебя того, что ничуть не похоже на материал, из которого ты ладишь ловушку. Ожидаемое сродни молитвенной тишине в храме, сложенном из камней. Ты твердишь, что презираешь материал, что доискиваешься до сути, и, обуреваемый похвальным стремлением донести до меня свое труднодоступное послание, громоздишь такую необычайную мышеловку, что я, подавленный ее величиной, пестротой и причудливостью, уже не различаю маленькой мышки, ради которой ты ее громоздил.

Пойми, если я признал, что ты красноречив, остроумен, что сыплешь парадоксами, — значит, я не получил от тебя письма, ты просто выступил жонглером на ярмарке. Ты потратил силы впустую, выставил себя, превратив в товар, но я не покупатель. Не важнее ли завоевать мою душу? А пока я посмотрел, как ты размахиваешь цветными тряпками, пугая воробьев, и пошел дальше искать себе пристанища.

Вожатый покажет мне путь, но пройду его я сам, он оставит меня в одиночестве, уверив, будто я сам открыл Вселенную. Я шел за ним, но нашел свое.

Однако не думай, что сделаешься ненавязчивым вожатым, протянув мне гладкий шар с едва намеченными носом, губами, подбородком, — если ты так презираешь средства, которыми пользуешься, не навязывай мне тогда и мрамора, глины, бронзы, они еще материалнее, чем форма губ.

Ненавязчив тот, кто не навязывается мне со своим видением, а помогает увидеть мир таким, каким увидел сам. Ты обошелся без носа, я сразу увидел это, потому что видел за свою жизнь много лиц, но зачем мне знать о твоей нелюбви к носам? И если свою статую ты поставишь в темный угол, я тоже не сочту тебя ненавязчивым.

Единственная и впрямь невидимая картина, от которой нечего взять, — стертый образ.

А вы огрубели, вам кажется, что надо орать во всю глотку, чтобы вас расслышали.

Не рисуй мне пестрого ковра, он одномерен, красноречив для глаз, нем для души и сердца.

CXXXV

Твой блаженный остров — мираж, я хочу, чтобы ты это понял. Тебе кажется, что на воле, среди рощ, лугов и пестрых стад, на просторе, возвышающем душу одиночеством, в горении безграничной любви, ты устремись вверх, будто дерево. Знай, самые стройные деревья, которые я встречал, выросли вовсе не на вольном просторе. Свободные не торопятся расти, они медлят, ощупывая пространство, и вырастают причудливыми и узловатыми. Растущие в девственном лесу, окруженные соперниками, крадущими у них свет, рвутся к солнцу вертикалью, похожей на крик о помощи.

Остров не усилит в тебе чувства освобожденности, не поощрит рвения, усердия и страсти.

Если ты жаждешь уединиться в пустыне — я не имею в виду мечту об отдыхе, что баюкает тебя в городской суете и спешке, — пустоту пустыни нужно оживить, чтобы она питала душу и сердце, чтобы питала усердие и рвение, — твою пустыню нужно пронизать силовыми линиями. Их может напрочь природа, может — царство.

В твоей пустыне я размещу колодцы, но скупю, очень скупю, чтобы путь к каждому из них стал ощутим. Чтобы на седьмой день ты начал беречь в бурдюках воду. Чтобы мечтал добраться до колодца. Чтобы добирался и ощущал себя победителем. Хотя, может быть, дорогой терял одного или двух верблюдов — слишком долг путь по бесплодной пустыне. Однако принесенные жертвы делают колодец еще драгоценней. Караваны, что не сумели до него добраться и погибли в пути, осеняют его особой славой. Белеют кости на твоём пути, и вдали светится колодец.

Ты готовишь караван в дорогу, проверяешь вьюки с товарами, подтягиваешь веревки, укрепляешь кладь, смотришь, сколько запасено воды, ты обращен к лучшему в самом себе. И вот ты отправился в дальнее селенье, твое желание попасть в него сделало воду в колодцах благословенной драгоценностью. Колодцы посреди раскаленных песков, которые ты преодолеваешь, — ступени лестницы; пески — твой враг, ты его побеждаешь, ибо танец начат и ты должен станцевать его до конца. Потому что тебя подчинил себе уклад пустыни. Потому что я ращу не только мускулы, но и душу.

Но вот я захотел, чтобы ты стал еще богаче, чтобы колодцы, будто магниты, притягивали и отталкивали, а пустыня лепиды тебя, словно руки скульптора, придавая форму душе и сердцу, и я населил ее врагами. Я отдал врагу все колодцы, и для того, чтобы напиться, тебе понадобится хитроумие, мужество и умение побеждать. Ты будешь идти по чужой земле, завися от племени, которое живет на ней, жестокого или не очень, сходного с тобой в обычаях или чуждого тебе, и шаги твои будут то громче, то тише, то осторожнее, то беззаботнее, а пройденный путь каждый день будет иным и особым, хотя все та же пустыня тянется перед твоими глазами. Все вокруг намагнитится, напряжется, однообразная бескрайняя желтизна окажется многоцветней благодатных краев с голубыми горами, зелеными долинами, пресными озерами и травой на лугах.

По своей пустыне ты идешь, как приговоренный к смерти, а потом как отпущенный на свободу, то приготовившись к любой неожиданности, то избавленный от всех неожиданностей, то как преследователь, а то с болезненной осторожностью, будто в спальне любимой, сон которой боишься нарушить.

И хотя твои странствия чаще всего будут мирны и благополучны, окружающее потеряет для тебя свою монотонность, неукоснительно будешь следовать ты распорядку, к которому принудила тебя пустыня, а танец твой будет щедр на выдумку, богат и разнообразен. И вот что еще примечательно: если я отправлю с твоим караваном путешественника, который не знает твоего языка, твоих опасений, надежд и радостей, который увидит только, как похлопывают верблюдов твои погонщики во время нескончаемого пути по однообразным бесплодным пескам, он почувствует лишь томительность нескончаемого пути и будет звать всю дорогу и ничего не откроет для себя в моей пустыне. Он увидит не колодец, а дырку в песке, которую нужно бы расширить. Враги? Откуда ему догадаться о врагах? Враг невидим, он подобен пригоршне семян в руке ветра, для знающего эта маюсть преобразила всю округу, как щепотка соли воскресную похлебку.

Если я сумею подчинить тебя правилам игры моей пустыни, власть ее над тобой будет так велика, что какой бы ты ни был в городе себялюбёц, пошляк или циник, какой бы ни был бездельник и лентяй в оазисе, достаточно будет одного-единственного странствия, и в тебе расцветут душа и сердце. Ты вернешься ко мне, сбросив старую кожу, и захочешь жить жизнью сильных. Если я сумею приобщить тебя к

языку пустыни — не пустыня главное, главное — напрягающий уклад жизни — то пустыня, будто солнце, заставит тебя выпустить росток и расти.

Ты пройдешь через нее, словно через сказочные кипящие котлы, и когда выйдешь на другом берегу, то радостно рассмеешься, ощутив свой силу и мужество; женщины сразу признают в тебе того, кого ищут, и твоего пренебрежения будет достаточно, чтобы приручить их:

Разве что сумасшедший понадеется осчастливить людей, исполнив их желания, он увидел: они в пути, он поверил: цель для них главное. Будто есть у людей какая-то цель.

Еще и еще повторяю тебе: всего важнее для человека — туго натянутые силовые линии, они держат его в напряжении, рожают рвение, усердие, одухотворенность, важны эхо, отзвывающееся на каждый шаг, нужда в колодцах и трудность горного подъема. Тот, кто вскарабкается на вершину, ободрав колени и локти, не сравнит свою радость с умеренным удовлетворением оседлого, который в воскресный день втащил свои одряблые тела на пригорок и разложил их на травке.

Все размагнитится, стоит тебе уничтожить Божественный узел, связующий все воедино. Видя, что человек силится дойти до колодца, ты решил, что главное — колодцы, и накопал их великое множество. Видя, как дожидаются люди воскресного отдыха, ты сделал воскресеньем каждый второй день. Видя, как люди жаждут бриллиантов, ты раздал каждому по блестящему камешку. Видя, что люди боятся врагов, ты изничтожил врагов. Видя, что люди хотят любви, ты построил веселый квартал величиной с добрый город, где все до единой женщины продаются. И вот тут стало ясно, что ты круглый дурак. Ты похож на моего игрока в кегли: он думал, что чем больше кеглей собьют его рабы, тем ему будет веселее.

Но не подумай, что главное для меня — неудовлетворенные желания. Конечно, желать необходимо, без этого не напрягаются силовые линии. И колодец, даже если он рядом, нужен тебе тогда, когда тебе захотелось пить. Но если колодец недоступен и ты никогда не ходишь к нему по воду, то его словно бы и нет для тебя. Как нет случайной прохожей на улице, она для тебя невидимка. Она идет с тобой рядом по тротуару, но дальше от тебя, чем та, что живет в другом городе, потому что вышла туда замуж. Но вмиг все изменится, если я расположу связующие нити так, что ты сможешь мечтать, как ближайшей ночью придешь с лестницей к окну незнакомки, похитишь ее и помчишь, перекинув через седло, в свой охотничий домик. Или сделаю тебя — солдатом, а ее — королевой, и ты сможешь мечтать, что погибнешь ради нее в сражении.

Нет проку в искусственных нитках, что связывают все вокруг по-нарошку. Но если ты в самом деле жаждешь бриллианта, то почему бы тебе не приближаться к нему не спеша, год от года замедляя шаги, чтобы воодушевление страсти озаряло тебя до конца твоих дней? У тебя самого сил на это не хватит, рано или поздно иссякнет твое рвение, о нем должен позаботиться я. Неторопливость должна диктоваться укладом жизни, он свяжет тебя и запретит торопиться, а ты изо всех сил будешь ему противиться. Ты спешишь, я препятствую твоей торопливости. Я не запрещаю тебе иметь бриллиант — недоступный, он потеряет для тебя всякую цену: посмотрел и прошел мимо. Я не дарю его тебе, мне нужны твои усилия, но всамделишные усилия; искусственные препоны — жалкая пародия на жизнь. Обогащаться ты, только преодолев мощное силовое поле. Дать тебе сильного врага — вот моя главная забота. Только так я помогу тебе. И нечему удивляться: силовое поле всегда создается двумя полюсами.

Ты обогащаешься, копая колодец, ожидая отдыха, добывая алмаз, завоевывая любовь.

Ты нищаешь, если у тебя уже есть колодец, дссуг, бриллианты, возможность любить, когда хочешь. Или если ты мечтаешь об этом, не пошевелив и пальцем, чтобы добиться.

Но не думай, что желание иметь и обладание — антиподы, их противопоставили друг другу слова. В жизни есть еще ты сам — человек, ты снимаешь все противоречия. Если жажда заполучить в тебе и впрямь смертельна, и мешают тебе не досужие выдумки, а сама жизнь, если она твоя соперница и напарница в танце, — ох, как ты заплывешь! Но если ты возвращаешь в себе хотение, запрещая себе брать с полки пирожок, то скажу тебе прямо: ты маешься дурью. Много ли проку от игры с самим собой в орла или рещку?

Если в моей пустыне слишком много колодцев, пусть Господь наведет порядок, уничтожив лишние.

Силовые линии должны тяготеть над тобой, напрягать, направлять, толкать вверх и вперед, всякий раз они будут явлены тебе как некие обстоятельства, отнюдь не всегда благоприятные, но не оценивай! Их языка ты еще не постиг. А я, пытаясь объяснить тебе суть этого языка, рассказал тебе о пустыне, о пути от колодца к колодцу.

Так не уповай на чудесный остров, похожий на запасенное впрок благо, блага в нем не больше, чем в обильной жатве деревянных кеглей. Ты на нем превратишься в сонного вола. Сейчас сокровища твоего острова кажутся тебе нетленными, но как скоро ты перестанешь их замечать! И, чтобы сделать их опять сокровищами, мне придется придумать для тебя пустыню, натянуть силовые линии, сотворить картину, драгоценную своей цельностью, но далекую от вещественности.

Если я захочу сберечь для тебя твой остров, я подарю тебе уклад жизни, в которой он будет главным сокровищем.

CXXXVI

Если ты хочешь рассказать мне о беспомощном, бледном солнце, скажи: «октябрьское солнце». Солнце в октябре, холодея, делится с нами угасанием старости. Но солнце ноября, декабря еще ближе к смерти, и ты начинаешь толковать мне о нем. Я отвернулся — ты мне больше не интересен. Ибо теперь ты делишься не предчувствием смерти, а своим удовольствием предчувствовать смерть.

Если слово гордо вздыбит голову посреди фразы, отруби ему голову. Для чего показывать мне слова? Фраза — ловушка, она должна что-то уловить. Зачем же привлекать мое внимание к ловушке?

Ты ошибаешься, если думаешь, что передаваемое тобой возможно уместить в слове. Будь это так, ты сказал бы: «печаль», — и я бы опечалился. Но не слишком ли это просто? Конечно, мы пользуемся своеобразной мимикрией и подделываемся под услышанные слова. Я сказал: «разыгрался шторм», — и ты ощутил легкое покачивание. Я сказал: «воину грозит смерть», — и ты слегка обеспокоился судьбой моего солдата. Такая у нас привычка. Мы это делаем не всерьез. Единственное, что можно сделать всерьез, это привести тебя туда, откуда ты увидишь, каким мне представляется мир.

Стихи, поэтические образы — вот моя возможность воздействовать на тебя. Я не объясняю тебе то или это и не внушаю это или то, как полагают, говоря о трудноуловимых образах, потому что важно не то и не это, — важно, чтобы ты стал вот этим, а не другим. В статуе при помощи рта, носа и подбородка я создаю некий лад, заманивая тебя в сети; заманиваю и поэтическими образами, ясными и неясными, желая тебя изменить.

Если в моем стихотворении мерцает лунный свет, не подумай, что я назначаю тебе свидание только при луне. Нет, и при солнце, и дома, и любящим. Я хочу встречи с тобой. Лунный свет я выбрал как условный знак, желая, чтобы ты меня заметил. Воспользоваться сразу всеми знаками я не могу. Зато может случиться чудо: мое творение может разрастись, измениться, оно может стать подобием дерева, хотя сначала было очень простым, — было семечком и ничем не напоминало кедр, — но из семечка возникли корни и ветви, когда оно распространилось во времени. И в человеке может что-то распространиться. Я могу дать человеку что-то очень простое, что уместится в одной фразе, но мало-помалу наберу в нем силу, пушу ветви, корни и изменю его изнутри, и он станет другим и при луне, и любя, и дома.

Вот почему я говорю тебе, что картина, если она воистину картина, — это путь просвещения и облагораживания, путь цивилизации, на который я поставил тебя... Но ты не сумеешь сказать, чем эта картина в тебе распорядилась.

Может случиться, однако, что сеть моих силовых линий окажется для тебя слабой. Воздействие ее иссякнет вместе с концом страницы. Бывают семена с ослабленной всхожестью, бывают люди без творческого порыва. И все же ты мог бы постараться и прорастить это семечко, чтобы построить мир...

Когда я говорю: «солдат королевы», то, думаю, всем понятно, что речь не идет об армии или власти, но о любви. Особой любви, что ничего для себя не ищет, стремясь прикинуть к неизмеримо большему, чем ты сам. Любви, которая облагораживает и возвышает. Солдат королевы сильнее, чем просто солдат. Посмотри, как чтит он свое достоинство, чтя свою королеву. Он никогда не предаст, хранимый любовью к королеве, царящей у него в сердце. Ты видишь, каким гордецом он вернулся к себе в деревню, но смутился и покраснел, когда его спросили о королеве. Ты знаешь, его позовут воевать, он оставит жену и дом, но воюет он совсем не так, как солдаты короля, — те кипят ненавистью и готовы вколотить своего короля врагу в кишки. Солдат королевы любит, даже сражаясь, и учит любить других. И вот еще что...

Но, продолжи я говорить, я пойму, что метафора исчерпала себя, — в общем, довольно слабая метафора. Я не смогу тебе сказать, что отличает солдата короля от солдата королевы, когда они сидят за столом и едят свой хлеб. Образ, картина, зажженная лампа светит во Вселенной, но освещает ничтожную ее часть.

Однако все, что стало для тебя очевидностью, обретает силу зерна, из которого ты можешь взрастить свой мир.

И я повторю: если ты заронил зерно, тебе нет надобности в толкованиях, теориях, догмах, поисках путей и средств воплощения. Зерно укоренится в земле людей, и у тебя появится тысяча тысяч последователей и помощников.

Если ты убедишь человека, что он — солдат королевы, твое царство обогатится вожделенным благородством. И со временем все забудут о прекрасной королеве.

CXXXVII

Не забывай: слово — уже воздействие. И если ты хочешь понудить меня к действию, ничего мне не доказывай. Неужели ты веришь, что сдвинешь меня с места доводами? Я найду повесомее и двину их против тебя.

Случалось ли тебе снова влюбиться в женщину после того, как на суде она доказала, что была кругом права? Тяжбы озлобляют. Не

вернет она тебя и постаравшись стать прежней, той, которую ты полюбил, от этой прежней ты и ушел. Я наблюдал, как бедняжка, что вышла замуж, растрогав сердце жалобной песней, накануне развода запела ее. Муж разъярился.

Но если разбудить в нем того, кто когда-то ее полюбил, он, возможно, к ней и вернется. Но это уже творчество, нужно что-то заронить в человеческую душу, как я заронил страсть к морю и дождался строителей корабля. Из семени растет и ветвится дерево. Может, муж и попросит снова спеть ему грустную песенку.

Ты полюбишь меня, если я прошу в тебе то, что ко мне потянется. Но не жалобами на страдания — они скоро опротивеют тебе. Не упреками — они озlobят тебя. Не доводами, почему ты должна меня любить, — нет на свете таких причин и доводов. Основание для любви — любовь. Я не стану стараться быть таким, каким ты когда-то меня полюбила. Такого меня ты не любишь больше. Иначе была бы по-прежнему со мной. Я постараюсь разбудить в тебе что-то мое. И если во мне есть сила, ты увидишь вместе со мной ту картину, которая делает тебя моим другом.

Позабывая мной, будто ранила стрелой мое сердце, спросив: «Слышите позабытый вами колокольчик?»

Что же, в конце концов, я хочу тебе сказать? Часто поднимаюсь я на свою вершину и смотрю на город. Или брожу по нему в молчании моей любви, прислушиваясь к словам. Одни слова вызывают, не медля, действие, к примеру, отец приказал сыну: «Пойди принеси кувшин воды...» или капрал солдату: «В полночь сменишь караульного...». Слова эти казались мне всегда плоскими. Чужеземец, не зная нашего языка, видя, как верно слово служит насущному, мог бы решить, будто живем мы жизнью муравьев, отлаженной и одномерной. А я, глядя на повозки, дома, мастерские, рынки, больницы моего города, не находил ничего отличного в нем от жизни стада, только животные моего стада были более деятельными, изобретательными, понятливыми. И для меня стало очевидным: обыденная жизнь не требует присутствия человека.

Однако, не зная языка, исходя лишь из порядков муравейника, невозможно было объяснить поведение горожан, что, усевшись в кружок на рыночной площади, самозабвенно слушали старика сказителя, и если он был талантлив, в его власти было поднять их и повести за собой поджигать город.

Мне случалось видеть, как преображалась мирная толпа, внимая хриплым пророчествам и, послушная им, пламенея, кидалась в пекло битвы. Ветер слов приносил что-то необычайное, раз толпа отказывалась от муравьиной жизни и превращалась в обреченный смерти гибельный пожар.

Те, кто уцелел после него, вернулись домой преображенными. Мне показалось, что не стоит ходить к колдунам за магическими заклинаниями, до меня и без них долетали магические слова и уводили от дома, работы, привычного уклада жизни, заставляя жаждать гибели.

Потому я и прислушиваюсь так пристально, отделяя пустые слова от действенных, определяя, что же они несут. Я не о содержании, оно не имеет значения, а если б имело, каждый был бы великим поэтом. Каждый увлекал бы за собой, воскликнув: «Вперед! На приступ! Запах пороха...» Попробуй позови их, они в ответ рассмеются. Как смеются над теми, кто ратует за доброту.

Но я слышал слова, которые доходили до сердца и изменяли людей. Я просил Господа просветить меня и научить различать в ветре слов редкостные крупинки семян.

СХХХVIII

Я задумался, что же такое счастье, и, мне показалось, что-то понял. Оно представилось мне благодатным плодом жизненного уклада, который вытравливает в тебе день за днем душу, способную чувствовать себя счастливой, а вовсе не получением задаром множества бестолковых вещей. Бессмысленно снабжать людей счастьем как заготовленным впрок припасом. Много разного давал мой отец беженцам-берберам, но счастья не дал, тогда как в скудной, полной лишений пустыне я видел людей, лучащихся счастьем.

Не сочти, будто я хоть на миг подумал, что осчастливлю тебя, оставив в одиночестве среди нищеты и лишений. С еще большим основанием ты впадешь в безнадежное отчаяние. Просто я выбрал самый наглядный пример, желая показать, что счастье не зависит от того, сколько у тебя материальных благ, показать, что счастье зависит скорее от добротности жизненного уклада.

И если я убедился на опыте, что счастливых людей куда больше в монастырях и пустынях, где люди жертвуют собой, и куда меньше в изобильных оазисах и на благодатных островах, то это вовсе не значит, что я сделал дурацкий вывод, будто сытная пища во вред счастью.

Нет, я понял другое: там, где больше всяческих благ, людям легче ошибиться, им начинает казаться, что счастьем и впрямь делятся вещи, хотя одаряет им смысл, приданный этой вещи царством, отчим домом, родным краем. Живя среди цветущего изобилия, легче ошибиться и в причине несчастья: люди винят в своих бедах избытки, называют суетностью и хотят избавиться именно от них.

У пустытника и монаха ничего нет, источник их счастья очевиден, и они усердно и ревностно служат ему.

Жизнь аскета сродни вечной борьбе с врагом, ты можешь возвыситься, можешь погибнуть. Но если ты поймешь, в чем истинное счастье, и сумеешь быть ревностным и усердным на изобильном острове или в оазисе, человек, родившийся в тебе, будет более велик, чем тот, кого рождает пустыня; у многострунного инструмента звучание богаче, чем у одной струны. Сандал и эбен, шелк и бархат, изысканные яства и вина добавляли благородства благородному замку моего отца, где каждый шаг был исполнен смысла.

Позолоте на складе грош цена, она обретет цену, если ею позолотят дом, обратив его в дворец.

СХХХIX

Снова пришел ко мне пророк, день и ночь раздувал он в себе священное пламя гнева, тот самый пророк, что вдобавок еще и косил.

— Заставь их приносить жертвы, — сказал он.

— Заставлю, — согласился я. — Если частичка их богатств перестанет быть запасом впрок, потеряют они немного, зато как обогащаются чувством значимости своего богатства; богатство неощутимо, если ему не нашлось места в общей для всех картине.

Но он не слушал меня, клокоча яростью.

— Принудь к покаянию, — продолжал он.

— Обязательно, — согласился я, — пост поможет им сохранить вкус к пище, они лучше поймут голодающих не по своей воле, и, возможно, постясь, одни станут совершеннее и ближе к Господу, а другие не разжиреют.

Ярость по-прежнему клокотала в нем.

— Но полезнее всего их всех обречь на мучения. . .

Я понял: если выдать человеку жесткую подстилку, лишить хлеба, света, свободы, мой пророк станет к людям терпимее.

... потому что нужно в них уничтожить зло, — сказал он.

— Ты рискуешь их просто уничтожить, — отвечал я ему. — Может, лучше не уничтожать зла, а растить добро? Создавать празднества, которые облагораживали бы? Одевать получше, чтобы не носили лохмотьев? Сытнее кормить детей, чтобы они учились молиться, не мучаясь голодными резами в животе?

Дело совсем не в том, чтобы урезать необходимое человеку, дело в том, чтобы сохранить силовые линии, они одни поддерживают в человеке человеческое, — сберечь картину, она одна значима для его души.

Кто способен построить лодку, пусть правит лодкой, я отправлю его рыбачить. Кто способен построить корабль, пусть строит, я отправлю его завоевывать мир.

— Я вижу, ты хочешь сгубить их изобилием!

— Я пекусь не о запасе впрок, не хочу жить потребляя готовое, — ответил я. — Ты ничего не понял.

CXL

Если ты собрал жандармов и поручил им построить царство, как бы ни было оно желанно, царство не выстроится, потому что жандармы не из тех, кто воодушевляет людей. Жандармы заняты не людьми, а исполнением твоих приказов, конкретных приказов: необходимостью платить налоги, не воровать у ближнего, соблюдать такие вот правила. Душа твоего царства — его внутренний уклад, он лепит такого вот человека, а не иного, он напрягает силовые линии, которые одухотворяют человека. Что смыслят жандармы в одухотворенности? Жандармы — стены, жандармы — опорные столбы. Они безжалостны, но, не ставь им безжалостность в вину, столь же безжалостна ночная тьма, лишившая нас солнца, необходимость иметь корабль, чтобы переплыть море, выходить через дверь справа, раз нет двери слева. Так оно есть, и ничего больше.

Но если ты расширишь полномочия жандармов и поручишь им судить, каковы люди, уничтожая то, что они сочтут по собственному разумению злом, то получится вот что: поскольку нет в мире ничего одномерного, поскольку мысль человеческая текуча и не вмещается в слова, поскольку слова противоречат друг другу, а жизнь не знает противоречий, в твоём царстве останутся на свободе и будут распорядиться одни пустозвоны и негодяи — те, кого не отвратила от соучастия твоя безобразная пародия на жизнь. В твоём царстве порядок будет предшествовать усердию дерева, а дерево должно будет вырастать не из семечка, а из разработок логиков. Упорядоченность — следствие жизнедеятельности, а никак не ее причина. Порядок — свидетельство силы города, но никак не источник этой силы. Жизнь, страсть, и усердие создают порядок. Но порядок не создает ни жизни, ни усердия, ни страсти.

В твоём царстве возвеличатся те, кто из низости души согласился жить в послушании у пискливой разноголосицы идей, которую жандармы возвели в закон и объявили руководством для жизни, кто принес в жертву свою душу и сердце пустому громоханию слов. Как бы ни был высок твой идеал человека, как бы ни была благородна цель, знай — все станет низко и тупо в руках жандармов. Не облагораживание дело жандарма — запрет, и жандарм запрещает, не ища понять, почему.

Свободный человек, направляемый силовыми линиями безусловных принуждений, которые и есть незримые жандармы, — вот справедливость моего царства.

Поэтому я созвал жандармов и сказал:

— В вашем ведении только те поступки, которые поименованы в уложении. Я принимаю вашу несправедливость, хотя она может быть ужасной, в вашей стене нет ворот, и порой она в помощь грабителям: ограбленная женщина зовет на помощь за стенами города. Но стена есть стена, и закон есть закон.

Но я запрещаю вам судить и осуждать людей. В молчании моей любви я понял: если хочешь понять человека, не слушай его. Не в моих силах понять, где добро, где зло, искореняя зло, я и добро могу бросить в топку. А тебе, откуда видеть тебе, что хорошо и что плохо, если я тебя сделал слепой стеной?

Пытая, я узнал, что вместе со злом выжигаю и добро, оно видно при вспышке огня. Но спасая целое, я жертвую ему частью. Казнь преступника я подтягиваю рессоры, которые не должны ослабнуть в пути.

CXLI

Я начну свою речь так:

— Человек! Тебе мешают осуществить свои желания, ты тяготишься своей силой, тебе не дают выпрямиться и расти!

И ты согласишься со мной, потому что и впрямь не удовлетворен в своих желаниях, тяготишься нерастраченными силами и тебе мешают выпрямиться и расти.

И ты пойдешь за мной сражаться против государя за общее равенство.

Или я скажу по-другому:

— Человек! Ты нуждаешься в любви, а она рождается вместе с деревом, которым вы станете, став единым целым.

И ты согласишься со мной, потому что и впрямь нуждаешься в любви, а она возникает вместе с общим делом, которому служишь и ты.

И ты пойдешь за мной сражаться за то, чтобы вернуть государю трон.

Теперь ты видишь: я могу сказать тебе все, что угодно, потому что все — правда. Но если ты спросишь меня, как узнать заранее, какая из правд будет живительней и плодотворней, я отвечу: та, что может стать ключом свода, общим для всех языком и разрешением твоих противоречий. Мне не важно, красивы мои слова или нет. Важно, чтобы они помогли тебе обрести позицию. И если приняв мою точку зрения, ты увидишь, что непримиримые для тебя противоречия исчезли и ты можешь смотреть на вещи по-новому, то что за беда, если здесь я выразился неуклюже, а там ошибся? Ты прозрел, только этого мне и хотелось, я принес тебе не цепочку рассуждений — привел на вершину горы, откуда тебе открылись новые просторы и ты можешь по-иному рассуждать.

Да, существует множество языков, объясняющих тебе устройство мира и тебя самого. Языки эти враждуют друг с другом, и пусть. Связные языки, основательные. Равноправные. Ты не осилишь противника доводами, у него правоты не меньше, чем у тебя. И враждуете вы во имя Господа.

— Человек производит и потребляет...

Правда, производит и потребляет...

— Человек пишет стихи и читает по звездам...

Правда, пишет стихи и читает по звездам...

— Человек обретает высшее блаженство в Господе...

Правда, радости он учится в монастыре.

Но нужны слова, которые уместили бы все высказанное разом, отдельные суждения — повод для взаимной ненависти. Светлое поле сознания слишком узко, и каждый, кто обрел для себя истину, не сомневается, что все остальное человечество лжет или заблуждается. Но правы и правдивы все.

Я живу каждый день и убедился: производить и потреблять насущно, но не сущностно, кухня в замке насущна, но существа его она не определяет. Это соотношение важно для меня. Насущное мне не в помощь для главного. Почему бы мне не решить: «Главное для человека — здоровье» — и на этой основе построить свое царство, сделав врача судьей поступков и мыслей? Но на собственном опыте я убедился: здоровье — средство, оно не цель, и пусть так оно и будет у меня в царстве. Если ты не поглупел окончательно, ты увидишь и так: существуют производство и потребление, незачем их возводить в главный принцип, незачем внедрять особый режим для сохранения всеобщего здоровья. Семечко было единым, но как преобразилось по мере роста; единой была картина мира, но как разнообразна выросшая на ее основе культура, и вы будете все разными в соответствии со своим складом и состоянием, но чтобы расти, все вы нуждаетесь в сущностном, внятном для души животворящем семени.

Вот что я скажу о человеке: «Человек сбывается лишь благодаря напряжению силового поля, человек понимает других, когда все вы вместе чтите одно божество, человек радуется, тратя себя на любимое дело, он умирает счастливым, если осуществил себя в нем, человек расточает запасы, вдохновляет его целостная картина мира, человек всегда стремится узнать и воодушевляется тем, что узнает, человек...»

Определяя человека, главное не исказить, не нарушить воодушевляющей его устремленности. Если во имя порядка я должен жертвовать духом творчества, мне не нужен такой порядок. Если должен пожертвовать силовым полем в угоду желудку, не стану потворствовать культу желудка. Но не желаю и порчи человека среди хаоса в угоду творческому духу, мне не нужно самосжигающее творчество. Так же, как не нужны жертвы ради силового поля. Если нет человека, то для чего оно мне, силовое поле?

Я — капитан, я бодрствую над своим городом. В этот вечер я намерен говорить о человеке, наше странствие будет зависеть от устремленности, которую я создам.

CXLI

Кому, как не мне, знать, что я никогда не достигну той очевидной непререкаемой истины, которая убедит всех моих противников, я и не ищу ее — я творю картину, творю образ человека, преисполненного сил, поощряю все, что мне кажется благородным, подчиняя благородству все остальное.

А значит, мне не интересен человек-производитель, человек-потребитель, я не пожертвую ему в угоду пылкостью любви, драгоценностью познаний, сиянием радостей, хотя постараюсь, по мере сил, ублажить и желудок, — я не вижу тут противоречия или хитрости, ведь и радители собственного брюха всегда твердят, что не чужды духовности.

Если в моей картине достаточно силы, она пустится в рост, словно зерно, и, набрав, в конце концов, весу, перетянет, колеблющихся на свою сторону. Скажи мне, разве страсть к морю не преобразуется в корабль?

Никогда я не считал познания сущностным. Образованность и благородство — разные вещи, не знания облагораживают человека, благороден инструмент, который их накапливает.

Под рукой у тебя всегда одни и те же составляющие, пренебречь нельзя ни одной, но картин из них можно составить великое множество.

Ты упрекнул мою картину в произвольности, упрекнул, что я подчиняю произволу людей, заставляя их, к примеру, умирать ради никому не нужного оазиса, только из-за того, что схватка — прекрасна; я отвечу: ничего не подтверждают твои доводы, картина моя сосуществует со множеством других, столь же подлинных — боремся мы за божества, которым хотим служить и которые превращают дробность в целостность, а составляющие целостности всегда одни и те же.

Но если ты будешь рассказывать мне, что видишь ангелов, я не пойму тебя. Что-то от дешевого балагана видится мне в твоих ангелах. Если Бог так похож на меня, что я могу смотреть на Него, Он не Бог. А если Бог, то восчувствовать Его способен мой дух, но не чувство. Знание моего духа о Боге — трепет сродни трепету перед величавой красотой храма. Я — слепец, ищущий огонь, протянув ладони, мое знание об огне — тихое радование оттого, что вот я искал его и теперь нашел. (И если я говорю, что я изошел из Бога, то Бог и приведет меня к себе). Посмотри на благоденствие кедра, он благоденствует благодаря солнцу, погружаясь в него и не зная, что же такое солнце.

Единственный подлинный геометр, мой друг, говорил: «Нам свойственно уподоблять связующие нити, которые мы отыскиваем наощупь, какому-то образу, картине, ибо путь нам неведом и неведомо, что за родник утоляет томящую нас жажду. И если я именую Богом неведомое мне солнце, что питает во мне жизнь, то правильность моего понимания картины мира может подтвердить только язык, которым я пользуюсь: если он снимает противоречия, картина моя достоверна.

Я стою и смотрю на город, этой ночью я — капитан корабля в открытом море. Ты уверен, что правит человеком выгода, стремление к счастью и рассудок. Я отвергаю выгоду, счастье и рассудок как главных властителей человека. Я понял: выгодой или счастьем ты привык именовать то, к чему человек тяготеет, и именуешь так самые разные вещи, мне нечего делать с медузами, что постоянно меняют форму. А рассудок, который найдет разумное обоснование для любого желания, кажется мне цепочкой следов на песке, — оставило их неведомое. Разве рассудку понять, разве охватить его?

Нет, не рассудком руководствовался мой друг, единственный подлинный геометр. Рассудок толкует, выводит закономерности, упорядочивает, от причины к следствию доводит он дерево — от семечка до того дня, когда оно засыхает, но дальше рассудок бессилен, ибо нужно новое семечко.

Но я, стоя над городом, словно капитан корабля в открытом море, знаю: только дух ведет и управляет человеком, управляет им безраздельно. И если человек ощутил связующие нити и выразил их стихотворением, он заронил зерно в человеческое сердце, и зерну этому, словно слуги, будут служить выгода, стремление к счастью и рассудок, воплощая изменения растущего в тебе дерева биением сердца, тенями на стене реальности.

Нет у тебя защиты от духа. Я поставил тебя на вершину этой горы, а не другой, и ты не можешь отрицать, что города и реки расположены так, а не иначе, — они есть, и ничего больше.

Потому я и говорю, что принуждаю тебя сбыться. Я отвечаю за тот, за настоящий путь, которым движется мой корабль под взглядами звезд, а город мой спит, и, глядя на дела человеческие, только и увидишь что поиски выгоды, счастья и повеления рассудка.

Путь, что ведет людей, незрим для них, они убеждены, что действуют из выгоды, ищут себе счастья, слушаются повелений разума, они не знают, что и разум, и счастье, и выгода меняют и облик и суть, завися от царства.

В царстве, которое предлагаю я, главная выгода — увлеченность, ребенок всему предпочтет игру, которой увлекся. Счастье — трата себя на творение своих рук, что будет жить и после твоей смерти. Разум — натягивание связующих нитей путем превращения их в закон. Разум армии — устав, так, а не иначе соотнес он и соподчинил людей, оказавшихся в его ведении, разум корабля — корабельный устав, разум моего царства — свод его законов, обычаи, уклады, традиции, так, а не иначе согласуют они между собой общие для всех на свете вещи, создавая особое созвучие.

А я? Я — камертон, задающий тональность созвучию.

Ты, верно, спросишь: «Зачем тебе принуждение?»

Я обозначил картину и не хочу, чтобы она исчезла. Статую из глины я обжигаю в печи, чтобы прибавить ей твердости и долголетия. Моя истина принесет плоды, укоренившись во времени. Как любить, если менять что ни день привязанности? Каких ждать подвигов во имя любви? Постоянство обеспечивает плодотворность твоим усилиям. Редко, когда творят мир заново, если дадут тебе это пережить, то ради твоего спасения, но нет беды хуже, чем переделывать мир наново что ни день. Чтобы появился в тебе человек, мне понадобится не одно поколение. Желая улучшить породу, я не вырываю каждый день росток, сажая новое семечко.

СХLIII

Я знаю одно: все рождается, живет и умирает. Вот ты собрал коз, овец, дома, горы, и родилась новая целостность, которая преобразит взаимоотношения людей. Какое-то время она будет жить, потом истощится и погибнет, исчерпав свою жизненную силу.

Рождение всегда сотворение неведомого, оплодотворение небесным огнем. Жизнь непредсказуема. Вот перед тобой яйцо. Оно незаметно меняется, следуя внутренней логике яйца, и в один прекрасный миг из него появляется кобра — как переменялись твои заботы!

Вот строители, вот груды камней. Вот логика, управляющая строительством. Но приходит час, двери открывает храм, и, войдя в него, человек преобразается. Как преобразились его заботы!

Я хочу облагородить жизнь, я заронил в тебя облагораживающее зерно, мне нужна длительность длиннее человеческой жизни, чтобы оно проросло, пустило ветки, оделось листвой, принесло плоды. Я не собираюсь менять картину каждый день, от изменений ничего не родится.

Величайшее из заблуждений — хотеть уместить все в человеческую жизнь. Но кому передаст себя человек, умирая? Мне нужен Бог, который бы меня принял.

Я хочу умереть, зная, что все идет своим естественным чередом. Что мои оливки соберет мой сын будущей осенью. Тогда я умру спокойно.

Нет, не стоит слушать людей, если хочешь понять их. Вот я смотрю на своих горожан, никто из них не помнит о своем городе. Они знают о себе, что они архитекторы, каменщики, жандармы, священники, ткачи, думают, что заняты выгодами или добиваются счастья, и не знают, что любят, как не думает о любви жена, занятая домашними хлопотами. День — пространство, занятое суетой, хлопотами, перебранками. Но приходит ночь, и те, кто ссорился, нежно влюблены друг в друга, любовь прочнее словесного сквозняка. Мужчина облокотился на подоконник, глядит на звезды, он опять отвечает за спящих, за хлеб будущего дня, за покой лежащей рядом жены, такой уязвимой, хрупкой, преходящей. Любовь не надумаешь. Она есть.

Но слышна любовь, только когда тихо. Любовь к дому и любовь к городу. Любовь к городу и любовь к царству. В душе наступает небывалый покой, и ты видишь свои божества.

Занятые дневной суетой, люди не знают, что готовы пойти на смерть. Патетикой дурного тона сочтут они твои славословия городу, но ты можешь поговорить с ними об их успехах, удачах, выгодах. Они не подозревают, что счастьем обязаны городу. Их язык тесен, ему не вместить сущего.

Но если ты поднимешься повыше и отступишь во времени на несколько шагов вспять, сквозь людскую суетность, своекорыстие, смуту ты различишь медленное и плавное движение корабля вперед. И когда, несколько веков спустя, станешь искать следы прошлого, найдешь стихи, статуи, теоремы и храмы, все еще не погребенные под песком. Насущное растаяло, исчезло. И становится понятно: счастьем, успехом, выгодой люди считали жалкую тень подлинного величия.

Только так и движется человек, поверь мне.

Вот мое войско встало лагерем. Завтра утром я пошлю его в жаркое пекло пустыни драться с врагом. Враг — горнило для моего войска: испытывая, оно расплавит его, потечет кровь, и под знойным солнцем сабельный удар положит предел сотне отдельных удач и счастливых. Но в сердцах моих воинов нет возмущения, они идут на гибель не ради человека, — ради человеческого.

И хотя я знаю, завтра многие примут смерть, я в молчании моей любви, бродя среди костров и шатров, не услышу благостных речей о смерти.

Здесь подшучивают над твоим кривым носом. Там ругаются из-за куска мяса. А тут, сбившись потеснее в кучку, кроют предводителя твоей армии так, что тебе невольно становится обидно... И если сказать кому-то из них, что в нем бродит хмель жертвенности, он рассмеется тебе в лицо, сочтя тебя глупцом и пустозвоном, который ни черта не смыслит в его драгоценной персоне. Что он, дурак? Да не собирается он умирать за своего капрала, который, прямо скажем, болван болваном и ничем не заслужил такого подарка? Но завтра он умрет за своего капрала.

Нет, ни в одном из них ты не увидишь величия, что бросает вызов смерти и жертвует собой ради любви. И если доверишься ветру слов, то, медленно возвращаясь к своему шатру, ощутишь на губах горечь поражения. Солдаты твои насмешничают, ругательски ругают войну и кроют начальство... Все так, ты опять смотрел на матросов, что драят палубу и натягивают паруса, на кузнецов и гвозди, но, не видя дальше собственного носа, не заметил величаво плывущего корабля.

CXLIV

Между тем вечером я осмотрел мои тюрьмы. И еще раз убедился: жандармы не умеют отличать виноватых от безвинных, они отпра-

ляют в застенок тех, кто верен себе, кто не умеет кривить душой, кто не в силах отречься от очевидной для него истины.

На свободе они оставили всех, кто отрекался, кривил душой и врал. Так запомни мои слова: «Как бы ни были благородны твои жандармы и ты сам, если ты сделаешь жандармов судьями, выживут одни подлецы. Любая правда, человеческая, а не тупицы-логика, покажется жандарму заблуждением и пороком. Жандарм добивается, чтобы на свете была одна книга, один человек и одно правило. Строя корабль, жандарм постарается уничтожить море».

CXLV

Я устал от слов, что дразнятся и показывают язык друг другу, мне не кажется нелепым знать, насколько помогли свободе мои принуждения.

Как послужила мужественность на войне нежности в любви.

Лишения — излишествам.

Примирение со смертью — радости жизни.

Почитание иерархии счастливому ощущению себя равным всем, которое я называю союзничеством.

Отказ от жизненных благ — умению наслаждаться ими.

Безграничная преданность царству — личному достоинству.

И скажи мне, чему ты хочешь помочь, если оставляешь человека одиноким? Я видел, каково оно, одиночество моих прокаженных.

Скажи, что хочешь вырастить с помощью свободы и изобилия? Я видел, что проросло в моих беженцах-берберах.

CXLVI

Объясняю тем, кто не понимает смысла моих принуждений:

Малые дети, видя кувшины у себя в доме, считают, что кувшины — такие, и увидев чужой, иной, недоумевают, что это с ним сделалось? Видя человека соседнего царства иным, — он любит, чувствует, жалуется, ненавидит иначе, — недоумеваешь и ты: для чего ему это понадобилось? Ты заблуждаешься, словно малое дитя. Прекрасный храм — краткий миг торжества человека над природой, если не знать, как уязвима его будущность, не возникнет нужды оберегать его. Ты не станешь оберегать храм, если не знаешь, что держит его ключ свода, подпирают колонны и контрфорсы.

Ты не замечаешь грозящей тебе опасности, видя в чужом творении кратковременное заблуждение, и только. Ты не понимаешь, что чужое творчество грозит уничтожить творимого мной в тебе человека, уничтожить его навсегда.

Ты считаешь, что свободен, ты оскорбляешься, когда я напоминаю о своих принуждениях. Но они не усатые жандармы, они незаметны и действенны, они сродни воротам в стене; ты делаешь небольшой крюк, выходя из дому, но разве свобода твоя ущемлена?

Если ты хочешь увидеть силовое поле, что формирует тебя и заставляет так, а не иначе чувствовать, думать, любить, горевать, ненавидеть, приглядишься к корсету, в котором ходит сосед, и тогда почувствуешь свой собственный.

Иного способа почувствовать его нет. Падающий камень не чувствует силы, притягивающей его к земле. Весом неподвижный камень.

Только противостоя, ощущаешь сдвигающую тебя силу. Для листка, летящего по воле ветра, нет ветра. Для свободно падающего камня нет веса.

Ты не замечаешь самых действенных принуждений, они подобны стене и незримы до тех пор, пока ты не вздумал поджечь город.

Ты же не замечаешь, что язык, на котором говоришь, тоже принуждение.

Принуждение — это упорядоченность, но незримая.

CXLVII

Я изучал княжеские указы, имперские законы, религиозные обряды, похороны, крестины, свадьбы — моего народа и других, в прошлом и в настоящем, ища непосредственную связь между душой народа и укладом, который вынянчил эту душу, наставлял, хранил, но не нашел такой связи.

Однако имея дело с подданными соседнего царства, где требуют иных жертв, я чувствовал особый аромат их любви и ненависти, ибо каждый любит и ненавидит по-своему. И, конечно, я задумался о причинах и спросил себя: «Как получается, что обычаем, который, как мне кажется, упорядочил военные действия, которые так далеки от любви, пестуют именно любовь, и вот такую, а не иную? Какова же она, эта связь между душой и стенами, что ее окружают, рождая такую улыбку, а не другую — улыбку, какой улыбаются наши соседи?»

Занимало меня не пустое, живя жизнь, я успел убедиться, что люди сильно разнятся между собой, хотя непохожесть их тебе поначалу незаметна и не сказывается в разговоре, потому что ты сам себе служишь переводчиком, подбирая на своем языке слова, больше всего подходящие к тому, что тебе передается на другом языке. И вот переводишь любовь любовью, справедливость справедливостью, ревность ревностью, радуясь вашей схожести, хотя каждое из этих слов наполнено для вас разным смыслом. Исследуя одни слова, переходя от перевода к переводу, ты и будешь видеть лишь подобия, но то существенное, что ты хотел бы понять, ускользнет от тебя.

Если хочешь понять людей, не слушай, что они говорят.

Существование различий неоспоримо. Любовь, справедливость, ревность, смерть, молитва, отношения с детьми, с государем, с возлюбленной, творчество, понимание счастья и успеха не совпадают у одного и другого. Я видел, как человек сдержанно улыбается и опускает глаза, изображая скромность, довольный, что замечены его холеные руки, и такую же улыбку и опущенные глаза я видел у других, когда на ладонях их замечали мозоли. Одним придавали весу в собственных глазах золотые слитки в подвалах, а тебе эти люди со своими слитками казались омерзительными скупцами; другие обретали то же горделивое удовлетворение, вкотив бесполезный камень на вершину горы.

И я понял, как нелепы мои попытки построить с помощью разума лестницу, что вела бы наверх. Попытка моя нелепа, как нелепы объяснения болтуна: глядя на статую, он объясняет очертаниями носа или величиной уха суть сказанного художником, — томительность праздника; например. Суть — это пленница, пойманная в ловушку, но что общего у нее с ловушкой?

Я понял, что был неправ, пытаюсь объяснить дерево, исходя из минеральных солей, тишину, исходя из камней, грусть, исходя из черт лица, благородство души, исходя из уклада, я нарушил присущую созданию последовательность, мне нужно было бы постараться и прояснить, как растущее дерево заставляет перемещаться минеральные соли, стремление к тишине выстраивает камни, печаль меняет черты лица, строй души создает созвучный себе уклад. Строй души не выра-

зить словами, чтобы уловить его, поддерживать и длить, мне предлагается ловушка в виде уклада, вот такого уклада, а не иного.

В юности и я охотился на ягуаров. На проложенной ими тропе рыли яму, усаживали ее кольями, привязывали ягненка и забрасывали сверху травой. Я приходил на рассвете к ловушке и находил мертвого ягуара. Если знаешь повадки ягуаров, то придумаешь яму с кольями, ягненком и травой. Но если не видел ягуара в глаза, то, изучив яму, траву, колья, ягненка, ягуара не выдумаешь.

Потому я и говорю, что мой друг-геометр был подлинным геометром, он чувствовал близость ягуаров, изобретал для них ловушки, и они в них ловились, хотя до поимки он и в глаза не видел ягуаров. Зато благодаря ему увидели ягуаров все остальные, они рассмотрели и поняли, как делаются ловушки, и принялись ловить весь остальной мир в яму с кольями и ягненком. Они исходили из логики: ловушка для того, чтобы ловить, и пожелали поймать истину. Но истина сбежала от них. Бесплодны и бессмысленны труды логиков до того дня, пока нет творца, он не знает, кто такой ягуар, но чувствует его и придумывает ловушку, он ведет тебя к попавшемуся ягуару с такой уверенностью, будто сто раз ходил по этой дороге.

Мой отец тоже был геометром, он создал свой уклад, стремясь залучить к себе таких людей, а не иных. Были другие времена, другие складывали свои уклады и залучали к себе других людей. Но пришло время близоруких логиков, историков, критиков. Они изучают твой уклад, но не понимают, с каким строем души он в согласии. Путем логики не вывести человека, и вот послушные ветру слов, который они именуют рассудком, логики ломают сколоченные тобой ловушки, рушат твой уклад и позволяют сбежать добыче.

CXLVIII

Я странствовал по незнакомым угольям, постигая: повиновение каким запретам складывает человека. Моя лошадка неспешным шагом трусила проселком от одной деревни к другой. Дорога могла бы пройти напрямик по полю, но нет, бережно обогнула его, и я потерял несколько минут на объезд, повинуюсь прямоугольнику ячменя. Я мог проехать прямо, но признал значимость поля и обогнул его. Прямоугольник ячменя потеснил мою жизнь, отнял малую толику времени, что могла бы послужить чему-то иному. Я подчинился ячменному полю, согласившись объехать его, мог пустить лошадь напрямик, но отнесся к нему почтительно, будто к святыне. Долго я ехал и вдоль стены, огородившей чьи-то владения, прихоти стены стали моей дорогой. Дорога моя чтит чужие владения и плавно волнилась по выступам и нишам стены. За стеной я видел макушки деревьев, они росли гуще, чем в наших оазисах, видел пруды с пресной водой, они поблескивали между ветвями. Слышал тишину. Вот ворота, затененные листвой. Здесь моя дорога раздвоилась, одна ее ветка потянулась служить огороженному стеной владению, другая повела меня вдаль. Странствовал я неспешно, лошадь то спотыкалась о рытвину, то тянула шею к траве, пробившейся возле стены, и у меня появилось ощущение, что дорога моя, с ее уклонами и поклонами, с ее неторопливостью и задаром растраченным временем, была своеобразным обрядом, была залом, где ждут появления короля, была очерком лица властелина и каждый, кто следовал ей, в тряской ли тележке, на ленивом ли ослике, сам того не ведая, упражнялся в любви.

CXLIX

Мой отец говорил:

— Им кажется, чем больше у них слов, тем они богаче. Конечно, может быть словом больше, и слово это обозначит «октябрьское солнце», выделив его среди всех других солнц. Однако мне не кажется, что благодаря новому слову я что-то приобрету. Напротив, потеряю, — потеряю ощущение связи октябрьских листьев, последних яблок и холодеющего солнца, которому никогда не стать знойным, потому что оно устало, нарабоавшись за лето. Немного на свете слов, что обозначают разом многое, благодаря которым я что-то выигрываю, но такие тоже есть, например, слово «ревность». Я сказал ей и передал тебе все изобилие связей в том, что им обозначил. Я сказал, например, «жажда — это ревность к воде». Я же видел, как жаждут. Жажда ведь не изнурительная болезнь вроде чумы, что обессиливает тебя, вызывая тихие стоны. Нет, ты готов реветь и вопить, так ты жаждешь этой воды. И во сне тебе являются те, кто пьет ее. И вода, что течет неведомо где, кажется тебе предательницей. Как женщина, что улыбулась твоему сопернику. Твои терзания сродни терзаниям раненой любви, уязвленного воображения, они не похожи на физические страдания болезни. Ведь живешь не вещественностью — царством смысла вещей.

Твое «октябрьское солнце» мало чему поможет, оно частность.

Но ты стал бы и в самом деле богаче, если б я научил тебя из одних и тех же слов строить любые ловушки, для самой разнообразной добычи. Научил бы вязать узлы из слов, как вяжут их на веревке: один пригоден, чтобы поймать лисицу, другой для паруса, чтобы поймать ветер. Игра моих вводных предложений, игра времен и глагольных наклонений, ритм и дыхание моих периодов, энергия дополнений, аллитерации и повторы — сложный танец, который ты должен суметь станцевать, танец, который будучи станцован, должен суметь передать другому то, что ты хотел сказать ему: книга — ловушка, возможность уловить то, что ты жаждешь настичь, постичь и понять.

— Наробав собственный стиль, получаешь доступ к постижению, — сказал как-то мой отец.

— Постижение, — любил он повторять, — вовсе не накопительство множества чужих идей, не любование их разноголосицей. Познания — те же вещи, коллекция или инструмент твоего ремесла, они пригодны, чтобы построить мне мост, добыть золото или сообщить, каково расстояние между столицами. Но справочник и человек не одно и то же. Осознать, постичь вовсе не означает расширить свой словарный запас. Расширение словаря позволит тебе разве что быть смелее в сравнениях. Если ты хочешь приобщить и меня к воодушевляющей тебя страсти, только твой стиль вовлечет меня в стремящий тебя поток. Если нет стиля, а только обозначения, выжимки мыслей, что они мне? Ощутимое «октябрьское солнце» я предпочитаю новому слову, пустому для глаз и сердца. Твои камни — камни и только, но, соединившись, они могут стать колоннами, а колонны превратятся в храмы. Если построения становятся все пространственней, значит таков талант моего архитектора, стиль его требует мазков все крупнее и крупнее, все большее пространство подчиняет он своему стилю, все мощнее подчиняет своим силовым линиям камни. Строя фразу, и ты создаешь силовое поле. Только оно и значимо.

— Возьмем как пример дикаря, — предложил мне отец. — Ты можешь научить его множеству слов, и он станет несносным болтуном. Можешь сообщить ему все свои познания, и он станет вдобавок высокомерным и спесивым. Тебе уже с ним не сладить. Он будет упиваться пустым плетением словес. А ты, слепец, примешься рассуждать: «Как же так? Моя культура, моя цивилизация не облагородила дикаря, а

испортила его? Вместо мудреца, который должен был получиться, получился отброс, и делать мне с ним нечего. Только теперь я понял, как благородно и чисто было его неведение!»

Но не надо было делать дикарю подарков, желая поскорее от него отвязаться. Нужно было медленно формировать в нем стиль. Вместо того, чтобы играть всевозможными сведениями, словно цветными шариками, забавляясь их мельканием и своим жонглерством, может быть, стоило взять этих сведений совсем немного, но с их помощью разбудить в несведущем желание пуститься в путь, — только оно способно облагородить человека. Вот он оробел, примолк, ты как будто подарил ребенку коробку с мозаикой; не умея играть в нее, он с интересом прислушивается, как она громыкает. А ты показываешь ему, как цветные шарики складываются в одну картинку, в другую, говоришь, что картинок может быть великое множество, он задумывается, замолкает. Он забился в уголок, наморщил лоб, в нем рождается человек.

Обучи сначала невежду грамматике, покажи управление глаголов, особенности предлогов. Вручи инструмент, а потом уже дай материал, над которым он будет трудиться. Несносные утомительные болтуны, распираемые всевозможными идеями, замолчат тогда и откроют для себя тишину.

Обретенная тишина — признак человеческой полноты и совершенства.

CL

Истина рождается несхожим с ней.

Ты удивлен? Но тебя же не удивляет, что вода, которую ты пьешь, хлеб, который ты ешь, преображаются в сияние глаз, не удивляет, что солнце становится листвою, плодами, семенами. Хотя в семени нет ничего схожего с солнцем и с будущим кедром тоже.

Порожденное не означает подобное.

Сродство в подспудном течении, оно не зримо для глаз, для ума, его чувствует душа. Незримое течение я и имею в виду, говоря, что творение сродни Творцу, плод сродни солнцу, поэзия сродни жизни души, человек, которого я из тебя нарабатываю, сродни укладу моего царства.

Сказанное мной важно. Без чуткости к незримому, подспудно ощущаемому течению, ты не увидишь в несхожем преемственности, уничтожишь несхожее и лишишься возможности расти дальше. Ты станешь деревом, которое, не узнав в своих плодах солнца, отгородилось от солнца. Ученым, которому книги не смогли рассказать о породившем их вешнем духе, и вот он, тщательно изучив, как они построены, построил свою книгу, пустую, никчемную, — для нее не найти читателя: все разбежались.

Лучше логики, историков, критиков чувствуют подспудное сродство мои мельники, пастухи, нищие. Ни пастуху, ни мельнику не понравится, если спрямить их прихотливый проселок. «Почему?» — спросишь ты. Потому что они его любят. Их любовь и есть то таинственное подспудное течение, что питает их. Любя, непременно обогащаешься. И неважно, что не умеешь сказать, чем. А логики, историки, критики слышат лишь то, что умеют назвать. Но мне-то кажется, дитя мое, человек, ты только и делаешь всю жизнь, что, передвигаясь наощупь по поверхности мира, нащупываешь свой язык. Мир ведь велик, нелегко уместить его в слова.

А логики, историки, критики доверчиво и простодушно согласились, что мир равен скудному содержимому их разноречивых идей.

Если ты воротишь нос от моего храма, уклада, проселка из-за того, что не умеешь выразить словом суть их даров, я ткну тебя носом в твою собственную несостоятельность. Ведь миры, где нет слов, чьей разноголосицей ты мог бы меня оглушить, нет зримых картин, которыми мог бы потрясать передо мной как вещественным доказательством, все же посылают тебе весть, хоть она и несказанна? Ты ведь слушаешь музыку? Почему ты ее слушаешь?

Как все на свете ты считаешь, что обряд погружения солнца в море очень красив. Почему ты так считаешь?

Поверь, если ты протрусил на осле вдоль проселка, о котором я тебе говорил, ты переменялся. И что за беда, если не сможешь сказать, в чем и почему.

Все уклады, обряды, ритуалы, пути и дороги действительны, но не все хороши. Есть среди них и дурные, вроде пошлой музыки. Однако отличаю я хорошее от дурного не умствованием. Я сужу о них по тому, каков ты.

Если я хочу узнать, какова дорога, обычай или стихотворение, я смотрю, какой человек в дружбе с ними. Вслушиваюсь в ритм биения его сердца.

СЛИ

Мы ошибаемся, как ошиблись бы кузнец с плотником, утверждая, что корабль — это доски, сбитые гвоздями, что без досок и гвоздей нет корабля и, значит, плотник и кузнец на корабле главные и должны управлять им.

Мы ошибаемся, и ошибаемся всегда в одном и том же, нам не понятен истинный смысл того, что мы делаем. Не ковкой гвоздей, не обстругиванием досок рождается корабль. Страсть к морю и жажда плыть по нему рождает кузнецов и плотников. Корабль притягивает их к себе, как кедр вбирает песок и камни, и вырастет с их помощью.

Плотники, кузнецы должны заниматься досками, гвоздями. Они должны знать толк в гвоздях и досках. Любовь к кораблю на языке кузнецов и плотников должна быть любовью к гвоздям и доскам. О корабле я буду говорить не с ними.

Мытарь собирает для меня налоги. Не он в ответе за благородство моего царства. От него я требую только послушания.

Я придумал быстроходный парусник, мне нужны другие гвозди, другие доски. Работники мои ропщут и возмущаются. Им кажется, я посягаю на корабль, его суть для них в привычных гвоздях, знакомых досках.

Но суть корабля в моей страсти к морю.

Поменял я систему финансов, изменил налоги, ропщут и возмущаются мои мытари, ибо я разрушил царство, опорой которому была их косность.

Я велю им всем замолчать.

Я чту молчаливых. Если все они проникнутся моей верой, мне не придется вмешиваться и поучать, как ковать гвозди и стругать доски. Не мое это дело. Своим храмом зодчий вдохновил скульптора, и тот принялся за работу. Но не зодчему решать улыбаться или не улыбаться статуе. Мы не можем тут ничего решить. Подобные решения — мнимые решения.

Процесс творчества мы поставили с ног на голову. Распоряжаться гвоздями, распоряжаться будущим. Какая нелепость! Нелепо регламентировать то, что чуждо регламентаций. Порядок логики далек от порядка жизни: в свой час образуются и гвозди, и доски. Но начинать с них — значит понапрасну тратить силы на то, чего заведомо не

будет. Длинной гвоздей, формой досок распорядится жизнь, и, следуя ее указке, их изготовят кузнецы и плотники.

Чем заразительней окажется моя страсть, влекущая тебя к морю, тем меньше я буду казаться тебе деспотом. Нет деспотизма в растущем дереве. Деспотизм — принуждать минеральные соли преобразиться в дерево. Но дереву питаться минеральными солями естественно.

Повторяю опять и опять: строить будущее означает неустанно обустроить настоящее. Строить корабль — значит будить и будить страсть к морю.

Ибо нет — и никогда не было — логики, которая помогла бы тебе перейти из мира вещей в мир смысла, единственно сущностный для тебя мир. Поглядев на деревья, горы, города, реки, людей, не выведешь логически царства. Пропорции носа, подбородка, уха не обоснуют логически печали мраморного лица. Молитвенное сосредоточение в храме не объяснить, исходя из камней. Домашний уют не возникнет логически из стен и крыши, дерево из минеральных солей. (Ты — деспот, если добиваешься небывалого, озлобляешься от неудач, винишь в них окружающих и жестоко наказываешь их).

Нет логики в языке, нет логики и в преисправности. Ты не заставишь минеральные соли породить дерево, для него нужно семечко.

Только деланье исполнено смысла, но смысл его не уместишь в слове, потому что оно и творчество, и узнавание о созвучности одного многому, и путь, которым снисходит Господь к вещи, насыщая ее значимостью, цветом и движением. Царство наделяет таинственной властью свои деревья, горы, стада, рвы и крепости. Вдохновенное усердие ваятеля наделяет таинственной властью глину и мрамор, храм исполняет смысла камни, превращая их в хранилище тишины, дерево вбирает минеральные соли, чтобы перенести их в обитель света.

Два рода людей говорили со мной о созидании нового царства. Первые — логики, они строили его логически при помощи рассудка. Они — иллюзионисты. От них ничего не родится, потому что рассудок не умеет рожать. Картины их — картинка учителя рисования. Художник может быть и умен, но творчество его не от ума. Логик не может не быть бесплодным тираном.

Вторых воодушевляла некая очевидность, которой они не умели дать имени. Они были вроде пастухов или плотников, не слишком умны и не обладали даром рассуждать, но ведь творчество и не рождается от рассуждений. Ваятель мнет и мнет глиняный ком, сам не зная хорошенько, что из него получится. Он не доволен, он еще раз надавливает на ком большим пальцем слева. Потом снизу. Лицо, которое он лепит, все больше и больше сродни чему-то безмянному, что у него на сердце. Лицо это все больше напоминает то, что и не лицо вовсе. Честно говоря, «напоминает» не совсем удачное слово. Вот лицо вылеплено, оно соответствует тому, что словесно выразить невозможно, но передает то несказанное, что подвигло ваятеля на работу. И теперь это «что-то» легло, как когда-то ваятелю, нам на сердце.

Не рассудок растревожил ваятеля — дух. Потому я и говорю тебе: дух властвует над миром, — не рассудок.

СЛИ

И вот что еще я тебе скажу: «Если перед нами не слепые рабы, то каждый думает то так, то этак. Не потому, что люди непостоянны, а потому, что очевидная для них истина не может отыскать слов себе по росту, вот они и берут немножко оттуда, немножко отсюда...»

Свобода, принуждение — что это, как не твое упрощение? Ты колеблешься, выбирая то свободу, то принуждение, но истина не в одном, и не в другом, и не посередине, она вне их. Каким чудом сможешь ты вместить эту истину в одно-единственное слово? Слова — тесные вместилища. И неужели все необходимое тебе для дальнейшего роста поместится в такой тесноте?

Как свободно льется твоя песня, ты импровизируешь, подыгрывая себе на гитаре, но разве я не должен был научить тебя петь, разве ты не тренировал свои пальцы? А ученье — всегда борьба, принуждение и терпеливость.

Ты свободно влезаешь на любую скалу, но разве я не тренировал твои мускулы? А тренировка — всегда борьба, принуждение и терпеливость.

Чтобы вольно текли стихи, разве не должно натренировать руку и мозг, отточить стиль? Эта работа тоже борьба, принуждение и терпеливость.

Вспомни, к счастью приводит не поиск счастья. Если искать его, сядешь и будешь сидеть, не зная, в какую сторону податься. Но вот ты трудишься, не покладая рук, ты творишь, и в награду тебя делают счастливым. А путь к счастью всегда борьба, принуждение и терпеливость.

Вспомни, красота приходит не тогда, когда ее ищешь. Если искать красоту, сядешь и будешь сидеть на месте, не зная, куда податься. Но вот ты завершил свое творение, и в награду тебе его наделили красотой. А путь к красоте всегда борьба, принуждение и терпеливость.

Из борьбы, принуждения, терпеливости рождается и твоя свобода. Одарить свободой невозможно. Если искать свободу, сядешь и будешь сидеть, не зная, куда податься. Если ты наработал в себе человека и обрел царство, где не щадя себя трудишься, то в вознаграждение чувствуешь себя свободным. А путь к свободе всегда борьба, принуждение и терпеливость.

Ты не поверишь мне и даже оскорбишься, но я все же скажу, что братство не дается равенством, что и братство — награда, а равны мы все только перед лицом Господа. Дерево — иерархия, но разве листья или ветки это подавление корней, или корни угнетение листьев? Храм — иерархия. Он опирается на фундамент, и свод его замкнут ключом. Но можешь ли ты сказать, что ключ значимей фундамента? Чего стоит генерал без армии? Армия без генерала? Равны все перед царством, а братство дается как награда. Братство ведь не возможность амикошонствовать и хамить. Братство, повторяю тебе, — вознаграждение, даруемое твоей иерархией, твоим храмом, где кто-то фундамент, а кто-то ключ. Братство я видел в патриархальных семьях, где чтят отца, где старший брат опекает младших, а младшие доверяются старшему. Теплы были их вечера, праздники и возвращения домой. Но если все сами по себе, если никто друг от друга не зависит, а только перемешаны в кучу и толкают друг друга, будто шарики, где ты видишь братство? Если кто-то умирает, его тут же замещают другим, он не был ни для кого необходимым. Чтобы любить тебя, я должен тебя выделить, у тебя должно быть свое особое место.

Если я вытащил тебя из воды, я полюблю тебя, почувствовав себя в ответе за твою жизнь. Полюблю, выйдив от тяжелой болезни. Я люблю тебя, если ты — мой старый слуга и всю свою жизнь провел возле меня, словно ночник, или если ты пасешь мое стадо, и я приду к тебе попить козьего молока. Я возьму у тебя, ты отдашь мне. Ты у меня возьмешь, и у меня найдется, что тебе дать. Но о чем нам говорить с тем, кто с пеной у рта настаивает на нашем с ним равенстве, не хочет

зависеть от меня и не хочет, чтобы я от него зависел. «Я люблю» означает, что твоя смерть всегда будет для меня невозвратимой потерей.

CLIII

Этой ночью, в молчании моей любви, я опять решил подняться на вершину горы и опять посмотреть на мой город, упорядочив его взглядом с высоты, город тихий и неподвижный, но на полдороге остановился, жалость остановила меня, я услышал жалобы, несущиеся с равнины, и захотел понять их.

Жалобилась скотина в хлеву. Жалобились лесные звери. Небесные птицы и приречные. У животных есть голос в караване жизни, растения безголосы, научился молчанию и человек, живя жизнью духа. Ты видел, как кусает губы и молчит больной раком, — из страданий суетной плоти растит он духовное дерево, что раскидывает ветви и множит корни, но не в царстве вешности, — в царстве смысла вещей. Вот почему больше тебя молчаливое страдание. Молчаливое страдание заполняет комнату. Заполняет город. Нет расстояния, на котором его не услышать. Если вдалеке от тебя страдает любимая, любя ее, ты мучаешься ее страданием.

Так вот я услышал, как жалуется жизнь. Ибо живы и хлев, и лес, и берега вод. Рожая, мычат коровы в хлеве. Расцветает любовь в каждом хмельном от лягушек болоте. Пронзительно вскрикивает насилие — квохчет отчаянно вересковая курочка в лисьей пасти, жалобно блеет козленок, которого ты предназначил себе в пищу. И вдруг раскатывается хищный рык, вся округа смолкает, царит мертвая тишина, все живое обливается потом страха. Стоит хищнику зарычать, как каждая его жертва излучает ошутимое для него мерцание, словно весь лесной народец засветился. Но вот миновал цепенящий ужас, и снова твари земные, небесные, прибрежные завели свои жалобные песни, мучаясь родами, любовью, страхом смерти.

«Что ж, — подумал я, — скрипят повозки, жизнь перебирается от одного поколения к другому, и в этом странствии по времени пронзительно взвизгивают оси тяжело гружённых телег...»

Так мне дано было что-то понять и о тоске человеческой, ибо и люди, покидая самих себя, перебираются из одного поколения в другое. День и ночь и по всем городам и весям пересотворяется живая ткань, обрывается, латается кожа, и в себе самом я ощутил тянущую боль раны — мучительное, нескончаемое пересотворение.

«Но ведь люди, — подумал я, — живут не вешностью, а таимым в ней смыслом, они должны передавать друг другу пароль».

Так оно и есть, и я вижу, как люди, стоит у них родиться ребенку, учат его разбираться в употреблении слов, как учили бы тайному шифру — ключу ко всем их сокровищам. Желая передать ему дорогостоящее наследство, они кропотливо торят в нем дороги, по которым станет возможным доставить ему драгоценный груз. Ибо нелегко собрать воедино и поименовать эту весомую, но незримую жатву, которую одно поколение должно передать другому.

Да, эта деревня излучает свет. А этот деревенский дом согревает душу. Но если новое поколение расселится по домам, зная о них только то, что они предназначены для жилья — что оно будет делать в этой пустыне? Ведь для того, чтобы твои наследники наслаждались игрой на скрипке, нужно обучить их музыкальному искусству, и точно так же, для того чтобы они стали людьми, нужно дать им возможность узнать человеческие чувства, научить их видеть за дробностью мира единую картину — облик дома, владения, царства.

Если ты не научишь их видеть свою картину, новое поколение будет похоже на племя варваров, раскинувшее лагерь во взятом приступом городе. Чем порадуешь варваров твои сокровища? У них нет к ним доступа, раз они не получили ключа к языку, на котором ты говоришь. Для тех, кто ушел в смертную сень, деревня эта была музыкальным инструментом, особой струной была каждая ограда, каждое дерево, колодец, дом. У каждого дерева была своя история. В каждом доме был свой уклад. У каждой ограды свои секреты. Прогулка становилась мелодией, каждый шаг звучал по-особому, и ты складывал ту, какую хотел. Но варвар, остановившийся на постой, не умеет заставить петь твою деревню. Ему скучно, не умея проникнуть вглубь, он только и делает что наталкивается на стены и рушит их, разоряя все вокруг. Мстя инструменту за свое неумение играть, он поджигает его, чтобы вознаградить себя хотя бы каплей света. А потом сникает и зевает со скуки. Нужно знать, что горит, для того чтобы свет был прекрасен, как пламя поставленной тобой свечи, осветившей лик твоего божества. Но пламя, охватившее твой дом, безмолвно для варвара — для него это не жертвенное пламя.

Меня преследует видение: новое поколение как насильник вторгается в обжитую раковину предыдущего. И мне показалось, что самое главное в моем царстве — уклад, ибо он принуждает человека передавать и принимать наследство. Мне нужен житель, а не кочевник, приходящий неведомо откуда.

Вот почему я принуждаю вас тщательно исполнять все обряды и ритуалы, с их помощью я связываю рвущиеся нити, оберегая цельность моего народа с тем, чтобы ничего не потерялось из его наследия. Да, конечно, дерево не печется о своих семенах. Налетает ветер и уносит их, и это благо. Да, конечно, насекомые не пекутся о своем потомстве. Его растит солнце. Их единственное богатство — телесность, телесность они и передают.

Но что станет с тобой, если некому взять тебя за руку и подвести к собранному меду, он не вещественен, он — смысл этих вещей. Да, конечно, и ты увидишь в книге буквы. Но я должен изрядно тебя помучить, чтобы подарить тебе с их помощью ключ к стихам.

Я настаиваю: погребение должно быть торжественным. Дело ведь не в том, чтобы опустить тело в землю. Дело в том, чтобы не потерять ничего из того достоинства, хранителем которого был усопший, чтобы оно не расточилось, словно из разбитого сосуда. Трудно спасти все до капли. Долго приходится подбирать за мертвецами. Долго придется тебе оплакивать их, размышлять об их жизни, отмечать годовщины. Много раз придется тебе оборачиваться назад и смотреть, не потерял ли ты чего-нибудь сущностного.

Торжественной должна быть и свадьба, что приготавливает вскрик рождения. Ибо дом, укрывающий вас, разом и хранилище, и житница, и запасник. Кто может перечислить, что в нем содержится? Нужно и вам копить умение любить, смеяться, наслаждаться поэзией, умение чеканить серебро, умение плакать и размышлять, с тем чтобы в свой час вам было что передать. Я хочу, чтобы ваша любовь была кораблем, способным принять груз и перевезти его через пропасть, отделяющую одно поколение от другого, я не хочу, чтобы она была сожигательством, основанным на проживании собранных запасов.

Торжеством должно быть и появление новорожденного, он и есть рана, которую придется сшивать.

Потому я требую церемоний и тогда, когда ты женишься, и когда рожаешь, и когда умираешь, когда разлучаешься и когда приезжаешь обратно, когда начинаешь строить, когда вселяешься в дом, когда жнешь хлеб и когда собираешь виноград, когда начинаешь войну и когда заключаешь мир.

Вот почему я требую, чтобы ты растил детей похожими на себя. Никакому наставнику не передать им твоего наследства, его нет в учебниках. Любой научит твоего ребенка тому, что ты знаешь, передав ему твой небольшой запас разноречивых идей, но, если отделить его от тебя, он лишится того, чего не найдешь в учебниках и не выразишь в слове. Расти их подобными себе из опасения, как бы жизнь для них не стала безрадостным постоем на земле, где гниют сокровища, от которых у них потеряян ключ.

CLIV

Меня удручают чиновники моего царства, они преисполнены довольства.

— Все хорошо и так, — твердят они. — Ведь совершенство недостижимо.

Спору нет, совершенство недостижимо. Назначение его в том, чтобы снять тебе подобно путеводной звезде. Оно направляет тебя и ведет. И значим всегда только путь, нет наготовленного, которое позволило бы тебе сесть и отдыхать. Стоит исчезнуть силовому полю, что напрягает тебя, и вот ты уже подобен мертвецу.

А что, если мне неинтересна звезда, мне хочется сесть и подремать? Но где же ты сядешь? Где сможешь подремать? Я не вижу места для отдыха. Если ты нашел такое и отдыхаешь — значит, ты что-то преодолел. Но за отдыхом вновь — поле боя, где ты должен опять побеждать. Не превращай одержанную победу в паланкин, настаивая, что носилки и есть жизнь.

И с чем, если нет совершенства, сравнивать тебя, твое творение, чтобы ощутить счастье?

CLV

Ты удивлен, что я придаю столько значения моим обрядам, полемому проселку? Ты удивляешься, потому что слеп.

Взгляни на ваятеля, его мучает то, что невозможно сказать словами. Душа человеческая неуловима, другое дело, скелет, что остался от мертвеца. И стремясь передать несказанное, скульптор лепит из глины лицо.

Ты идешь, ты проходишь мимо его творения, смотришь на вылепленное им лицо, может быть, грозное, а может быть, печальное, и продолжаешь свой путь. Но ты уже не тот, что был. Чуть-чуть, но все же другой — другой, потому что ненадолго, но поглядел в другую сторону, ненадолго, но все-таки поглядел.

Ваятель ощущает невыразимое, пальцы его мнут и мнут глину. Лицо из глины он поместил на твоем пути. И если ты следуешь этим путем, то и ты почувствовал то, что чувствовал он.

Неважно, что тысяча лет отделяет движение его рук от твоего пути.

(Продолжение следует)

Бронислава Тарощина — Сергей Чупринин ЭСКАЛАТОР

Диалог

Б. Т. Как вы сейчас оцениваете свою книгу «Критика — это критики»? Правомерна ли сегодня сама формула, избранная вами?

С. Ч. Есть, знаете ли, такое выражение в педагогике — природосообразность, по аналогии с которым я хотел бы произвести неуклюжий, но терминологически точный гибрид — времясообразность. То есть соответствие тем, ракурсов и — главное — жанров самому духу переживаемого нами исторического момента. Критик никогда ведь не пишет «sub specie aeternitas» — если он практический критик, конечно, а не философ или беллетрист, по каким-то случайным причинам играющий эту роль. Наша речь оправдана только тем, что она — всегда изнутри ситуации, с позиции именно сегодняшнего интереса. Статья или книга критика хороши, если они приходится кстати — как ложка к обеду, как яичко к Христову дню. Это осознаешь, разумеется, задним числом, но осознаешь, и я смотрю на свою книгу, писавшуюся в первой половине 80-х, исключительно как на памятник той, безвозвратно отшумевшей эпохе. Тогда я не мог ее не написать — сейчас же, конечно, не стал бы и браться за портретирование своих коллег.

Б. Т. Критиков не стало?

С. Ч. Не в этом дело. Лет на пять — на семь исчезла, мне кажется, сама потребность в портретном жанре, вообще в разговоре как о конкретных книгах, так и о конкретных творческих индивидуальностях. Я, слава Богу, отдал этому жанру добрых лет пятнадцать своей жизни — еще до «Критиков» вышла книга о поэтах («Крупным планом»), потом собралась, хотя, правда, не успела выйти — о прозаиках. Времячко было такое — ценился именно штучный опыт, литературные общности частью уже распались, частью еще не определились, и каждый поэт, прозаик, критик был интересен прежде всего как автономная, только на себя похожая творческая единица.

Б. Т. А если, как говорят искусствоведы, «передатировать» портреты? Они уже покрылись патиной быстротекущих дней. Перечитывая вашу книгу, ловила себя на мысли — вы нет-нет да и загоняете своих «героев» в определенные амплуа. И чего обижались (иные, знаю, хранят обиду и по сей день), непонятно: многим, можно сказать, вы просто польстили . . .

С. Ч. Вы советуете вернуться к уже сделанному? Зачем? Да и невозможно это. Пришлось бы, за тремя-четырьмя исключениями, писать уже совсем о других людях: например, об Александре Агееве и о Борисе Кузьминском, только что появившихся, или об Ирине Роднянской, чей голос лет пять назад был почти не слышен, а сейчас звучит очень веско . . . Что же касается амплуа, то тут вы правы. Книга действительно оказалась родом спектакля — с расписанными ролями, с обду-

манными мизансценами, где действовали и красноречивый резонер (Виктор Камянов), и парадоксалист на договоре (Лев Аннинский), и невозмутимый лектор (Анатолий Бочаров), и озорник-переросток (Владимир Турбин), и храбрец, первым выбегающий на разминированное поле (Игорь Золотусский), и прирожденный романтик Владимир Гусев, который тогда казался мне похожим на Печорина, а теперь чаще всего напоминает разбушевавшегося Грушницкого... Алла Латынина, скажем, в спектакль уже не вписывалась — по простейшей причине: ее тогдашнее место инфантеррибла было уже занято тогдашней Натальей Ивановой... Сейчас тот — не мною, конечно, выстроенный, а жизнью — ансамбль очевидно распался. Это раз. Критики и отдаленно не играют прежней — ключевой — роли в литературе. Это два. И три: совсем по-иному складываются теперь наши отношения с литературой, с писателями, с читающей публикой.

Б. Т. Похоже, в последнее пятилетие вас вообще перестал интересовать штучный опыт. Ваша портретная галерея не пополнилась ни одним новым экспонатом, зато в «Знамени», в других журналах, — как и обычно у вас, серией — пошли обзоры с «говорящими» названиями: «После затишья», «Из смуты», «Предвестие», «Ситуация», «Перемена участи», «Нормальный ход». В чем причина?

С. Ч. Во всяком случае, не во мне. В том, что времячко переменялось. Критика ведь по своей природе страдательна, зависима от состояния литературы, от господствующих в обществе умонастроений, и первойшей из добродетелей своей профессии я лично полагаю чуткость. Важно угадать, на что нынче спрос, какого разговора от тебя нынче ждут. Панорамно-аналитические разборы не книг, не индивидуального опыта, но общелитературной ситуации — мой вариант догадки. Не знаю уж, верен ли он, но когда началось то, что началось в 85-ом, возникла, мне кажется, острейшая общественная потребность понять — и что происходит в литературе, и «в каком идти, в каком сражаться стане». Из портретистов пришлось переквалифицироваться в обозреватели и полемисты. Критика, условно говоря, ~~идей~~, причем не только литературных, действительно оттеснила в сторону все иные задачи. Сменился жанр, сменилась и интонация: раньше я любил работать на грани хвалы и хулы, выражать свою оценку, свою позицию косвенными средствами, теперь пришлось востребовать в себе, в своей натуре прежде всего внятность и четкость.

Б. Т. Не сочтите следующий вопрос большевистским — что, мол, делали до августа 91-го? Помню, что делали. Задания «свыше» (вы же в ту пору работали в «ЛГ») давались всем, разница состояла лишь в степени личного рвения и умения так или иначе обмануть начальство. У вас была безупречная репутация критика независимого, но терпимого. Терпимость болотных лет в переводе на современный означала примерно следующее. Вы писали статьи о Д. Самойлове или А. Тарковском (а юным дарованиям начала 80-х и невдомек, какие усилия следовало приложить, чтобы тогда напечатать эти статьи). И вы же писали хвалебно об Л. Щипахиной, В. Устинове, Д. Балашове. Проще всего сказать: так вы расплачивались за право быть и честным, и независимым. Но вся штука в том, что и эти «конъюнктурные» статьи написаны пером искренним и убежденным. Сей длинный пассаж — информация к размышлению на тему: эволюция взглядов критика, проблема его профессиональной интуиции. И его профессиональной репутации.

С. Ч. Расплачиваться приходилось, и стыд за многое действительно жжет душу. Хотя — будем все-таки и здесь историчны — никакой решительно героики в «пробивании» статей о хороших поэтах не было. С купюрами или без купюр, сразу или погодя, но напечатать удалось почти все, что написалось. Теперь о похвалах В. Гусеву, В. Устинову

ву... — список можно было бы расширить, включив туда и Т. Глушкову, и Ю. Кузнецова, и С. Куняева (вариант моего журнального отзыва был даже предпослан куняевскому однотомнику в качестве предисловия). Эти люди сегодня ведут себя в литературе так, что возникает соблазн объявить их и негодяями, и бездарностями. Удержимся — я и сейчас считаю их одаренными, и не злорадство, а сожаление испытываю как от того, что служат они порочной, ложной, на мой взгляд, идее, так и от того, что эта ложная идея выела их изнутри. Знаки этого самоистребления видны были уже, конечно, и лет десять назад — я вообще, к стати сказать, думаю, что люди не меняются со временем, а всего лишь проявляются, — но... Без Куняева или Кузнецова история русской поэзии последних десятилетий так же неполна, как и история русской критики без Кожинова, Бондаренко или Казинцева. Мог ли я не выставить их на всеобщее обозрение, если полагаю себя историком современной литературы?

Б. Т. Да, но о Кожинове, Казинцеве или том же Юрии Кузнецове вы и тогда написали язвительно, памфлетно, а о Куняеве или Гусеве — совсем иначе.

С. Ч. Сочувственно? Может быть, это была действительно интонация сочувственного, отстраненно сочувственного взглядывания в чужое и чуждое. Тут проблема именно в интонации, а не в оценке — сравните те давние отзывы с более поздними, и вы увидите, что оценка не переменялась, хотя и проявилась, естественно, более жестко, агрессивно полемично. Поэтому, если представится когда-нибудь случай выпустить свои избранные работы, я те рискованные статьи не мину — в них мне не от чего отказываться, — хотя многое, конечно, останется за бортом.

Б. Т. Что например?

С. Ч. Например, ненатурально восторженная газетная рецензия на астафьевскую «Царь-рыбу». Я знаю, что он крупный писатель, вернее сказать, я верю, когда мне об этом говорят, хотя люблю на самом деле только рассказ «Ясным ли днем», а все остальное оставляет меня равнодушным, не задевает ни ум мой, ни чувство. Значит, и писать не следовало, раз не задевает и раз в ход пришлось пустить не свои, заемные мысли и переживания.

Б. Т. Как-то вы уже говорили, что для вас очень важно понятие приоритетности в критике. Тем более удивляет, что так непросто складывались ваши отношения с молодой неофициальной литературой. Время вашего становления — вторая половина 70-х — совпало с формированием андеграунда. Вы же заметили «другую литературу» лишь несколько лет назад в статье «Другая проза» (не считая статьи 84-го года о Парщикове, Еременко, Жданове — «Что за сложностью?») Что за неспешностью?

С. Ч. А вы можете назвать критика, который раньше меня сказал бы в подцензурной печати о самом феномене литературного подполья? Виноват, но даже термин «другая литература», которым с тех пор все пользуются, и тот авторизован мною.

Б. Т. Но ведь за сложностью вы, кажется, ничего, кроме пустоты, не увидели?

С. Ч. Придется восстановить историю вопроса. Обе статьи — как раз из тех, что пришлось пробивать. Работа о поэтах-нонконформистах при этом потеряла авторское название: было по-пастернаковски точно — «Талант — единственная новость...», стало по-литгазетовски лукаво — «Что за сложностью?» И более того: за публикацией впоследствии читательские отклики, причем, естественно, на газетную полосу отбирались прежде всего либо наиболее рептильные, либо наиболее глупые. То же и с «Другой прозой»: статья мариновалась в «литгазетовском» секретариате до тех пор, пока Дмитрий Урнов не сочинил от-

поведь и мне, и нонконформистам под недвусмысленным названием «Плохая проза». Праздник первооткрывательства это омрачило, и тем не менее главного, как мне кажется, удалось достичь: литературное подполье было легализовано, контуры явления очерчены — и стало возможным отойти в сторону, оставив промышленную разработку эстетики и этики андеграунда другим критикам.

Б. Т. Иными словами, вы не захотели стать идеологом этой литературной общности?

С. Ч. Не захотел.

Б. Т. Так, может быть, зря? Замечено, что наиболее яркие критики приходят обычно с новым литературным поколением. С ним же они (либо в качестве лидера, либо — некоей сферы обслуживания) и отождествляют себя. Вы писали о шестидесятниках, о сорокалетних, об андеграунде, нынешних постмодернистах, и тем не менее с вами ничего подобного ни разу не случилось.

С. Ч. И случиться не могло. Я по натуре своей не мономан. Экзальтация, когда, обращаясь к новому (или старому) явлению, бурно кричат: «Это и только это есть литература! Остальное — наплевать и забыть!!!» — не по мне. Предпочитаю спокойную констатацию: «И это тоже, а не только это», — чувствуете разницу? Иногда я корю себя за недостаток страстности, этакую, знаете ли, прохладцу. Чаше же льщу себя надеждой, что так проявляет себя экологическое сознание: как в природе, так и в литературе нет ничего лишнего. Каждая новая книга, новое имя, новая литературная школа есть, на мой взгляд, прежде всего и по преимуществу прибавление к объему, а не отрицание, не опровержение уже существующего.

Б. Т. Как-то не так давно вы посетовали: «Практиков, увы, не много осталось на плаву, старики повыдохлись и поднадоели публике». Но вот газета «Гуманитарный фонд» статью о вас уже называет «Дедушки и бабушки», представляя вас как человека ушедшего времени, «потерявшего самоконтроль» и т. п. Что вы скажете о такой преемственности поколений?

С. Ч. Забавно, но незадолго до того, как пофигурить в роли «дедушки», мне случилось в той же газете побывать героем статьи «Дяденьки и тетеньки». Одно из двух: или я с тех пор стремительно постарел, или автор «Гуманитарного фонда» столь же стремительно помолодел, перейдя из племянников во внуки. А по существу... Досадно, конечно, что выглядишь в чьих-то глазах отставной козы барабанщиком, но сие, надо думать, неизбежно, поэтому и к этому, и ко всем остальным выпадам отношусь вполне хладнодушно. Скорее даже сострадаю тем, кто за неимением конструктивных идей вынужден выстраивать собственную репутацию на оплевывании собратьев.

Б. Т. А вам разве никогда не случалось заниматься тем же?

С. Ч. Надеюсь, что нет. Вспомните, чем открывается книга «Критика — это критика». Статьями об Александре Макарове, Марке Щеглове, критиках «старого» «Нового мира». Мне ведь эти статьи никто не заказывал — сработала, как я сейчас понимаю, потребность найти опору не только в самом себе. Хотя и тут я попытался быть предельно объективным в оценках, выступив не в роли наследника, а в роли историка литературы, эксперта.

Б. Т. Что-то вы уж очень настаиваете на своей невозмутимости и травоядности. Верится в нее, честно говоря, с трудом, поскольку я помню и ваши литературные фельетоны, и жесткую полемику с оппонентами. Да и видят вас отнюдь не только в розовом свете: Игорь Золотусский прямо называет «палачом», Ирина Роднянская — «тоталитарием», едва ли не «необольшевиком», а одна критикесса в «Молодой гвардии» прямо-таки умоляет вас: «Не толкайте страну к обрыву». А вы все продолжаете толкать, приняв, например, участие в боевой

команде Юрия Черниченко, возглавляющей сегодня боевой Союз писателей Москвы. Как это, кстати, соотносится с вашей неангажированностью?

С. Ч. Давайте так: котлеты — отдельно, мухи — отдельно.

В полемику с Роднянской я предпочел бы здесь не углубляться — наш, как съязвил бы Пушкин, «старый спор славян между собою» длится уже так давно, что парой слов не отделаешься. Что касается Игоря Золотусского, то... давайте лучше поговорим про обрыв.

Видите ли, я готов быть терпимым по отношению к любым явлениям нашей литературной и общественной жизни — кроме тех, что тронуты фашистской порчей. Я из себя выхожу, я теряю самообладание, когда сталкиваюсь с расистскими или классовыми предрассудками и, в особенности, с расистским представлением о русском народе, который настолько-де исключителен, настолько, мол, непохож на все прочие народы, что ему ни к чему ни демократия, ни цивилизация, ни рынок, ни плюралистическая культура, ни просто сытая, обеспеченная жизнь. Мы, русские, не выродки же какие-нибудь, не аномалия, и вправе надеяться на то, что к нам, к нашей литературе станут наконец-то относиться, как к чему-то вполне нормальному.

Если уж вам интересна моя длинная мысль, то она именно в этом: в стремлении утвердить понятие нормы — нравственной, социальной, литературной. И обратите внимание: Бог не только разум, но и талант отнимает у тех, кто попал в плен к фашизоидному, невротическому самобытничеству. Среди них — еще раз скажу вопрекор распространенному мнению — не все ведь рождены бездарными. Но! Где новые книги Распутина и Юрия Кузнецова?

Б. Т. Но если так, если их книги, на ваш взгляд, не представляют литературного значения, на них можно просто не обращать внимания.

С. Ч. Сейчас уже можно, и нынешнюю ситуацию я рискнул бы назвать ситуацией апартеида, то есть вынужденно совместного, но раздельного проживания двух культур, между которыми нет решительно ничего общего. Никто, слава Богу, не обижен: и у патриотов и у демократов есть свои писательские союзы, газеты, журналы, издательства, своя, наконец, читательская аудитория. Долго эта ситуация, конечно, не продлится, она противоестественна уже по определению, но лучшей пока не предложено. И эта-то добыта в затяжной «гражданской войне в литературе», когда слово понималось прежде всего как оружие и когда приходилось объяснять, объяснять и еще раз объяснять...

Б. Т. Кому? Это, как вы понимаете, любимый вопрос самых разных литературных анкет: для кого вы пишете?

С. Ч. Начну издалека. Почему я заинтересовался, а потом и практически занялся критикой — для меня самого загадка, можно сказать шутка природы. Учился в деревенской школе, и класса с девятого отчего-то, будто приговоренный, засел за чтение своих будущих коллег. Скупил в местном магазине все, что было, — вплоть до сочинений Виталия Михайловича Озерова. Ценил, помню, Рассадина и Инну Соловьеву, уважал Лакшина, но любимейшим моим критиком отроческой поры был Геннадий Красухин. Любо-дорого вспомнить, как лихо, как звонко он тогда писал — у моей мамы на чердаке до сих пор, поди, хранятся выписки из его статьи про поэму в журнале «Молодая гвардия».

Почему я про это рассказываю? Да потому, что, думая об адресате собственных статей, вижу прежде всего себя — живущего далеко от Москвы и плохо еще что понимающего, но любопытного 17-летнего мальчика. Мне именно ему хочется быть интересным и именно ему понятным, что влечет к разнообразным последствиям. В том числе и к явно отрицательным, — например, к маниакальному, как сейчас выра-

жаются, перфекционизму, сиречь занудству, к сочинению текстов вразумляющих, растолковывающих, может быть, даже адаптированных, приноровленных к пониманию все того же подростка.

Б. Т. А вы не думаете, что мальчики с тех пор сильно переменялись и что читать им теперь интересно не вас, а «первенцев свободы», как вы называли журналистов и критиков «Коммерсанта», «Независимой газеты», «Московского комсомольца», вообще новой прессы? Мне, замечу кстати, кажется очень важной и вот именно приоритетной ваша статья на эту тему в майском номере «Знамени». Вы первым сказали: в который раз была заказана Индия, а открыта Америка. Со дня на день ждали появления прозаических и поэтических шедевров, прихода нового литературного поколения, а взамен этого родилась действительно новая журналистика — новая как по мысли, так и по слову, стилю, интонации. Вы намерены и дальше разрабатывать эту жилу?

С. Ч. Вряд ли. Я ведь поисковик по натуре, а не разработчик. Что же касается мальчиков... Они действительно переменялись, и ощущение дисконтакта с аудиторией меня сейчас тревожит больше всего. Значит, нужно меняться. Как, в какую сторону — не имею пока ни малейшего понятия, но знаю, что нужно, что нет другого выхода: эскалатор-то движется.

Б. Т. Но вы стоите на эскалаторе?

С. Ч. Надеюсь.



А. П. Кузичева
«ВАШ А. ЧЕХОВ»

(Мелиховская хроника. 1895—1898)

Глава 4

ФРАНЦИЯ. РОССИЯ. КОНЕЦ ЗИМЫ. ВЕСНА

Февраль оказался, пожалуй, самым тяжелым месяцем из всей заграничной жизни Чехова осенью и зимой 1897—1898 годов. Из России шли письма, суть которых можно свести к строке из письма Ал. П. Чехова тех дней: «О нас, т. е. о Питере, можно написать и много и ничего». В Париже суд вынес Золя общественный приговор: год тюрьмы и 3000 франков штрафа, на что «Новое время» 13 февраля откликнулось радостным заявлением: «Приговор вызывает невыразимый восторг. После него почувствовалось общее облегчение и успокоение».

Батюшков закончил свои впечатления от рассказа «У знакомых» то ли твердым советом, то ли мягким назиданием: «<...> буду ожидать, что по возвращении на родину <...> Вы дадите нам бодрое, возбуждающее дух к жизни и деятельности произведение. Ведь надо жить, Антон Павлович, надо справляться с грустными думами о том, что нет ничего устойчивого <...> Вот Вы помогли нам пережить это настроение — помогите перейти и к другому <...>».

Чехову не работалось в Ницце в это время по многим причинам. К тому же местный дантист неудачно вырвал большой зуб, воспалилась надкостница, пришлось вскрывать нарыв. Все складывалось как-то неудачно, не так, как предполагалось, а в таком состоянии, как написал Чехов в Москву В. М. Лаврову, «не выходит ничего путного».

«Русская мысль» ждала от Чехова нового произведения. Но он чувствовал, что писать будет дома, в Мелихове. Последние недели скрасил приезд И. Н. Потапенко и А. И. Сумбатова. Но зато не улыбалась перспектива опять позировать Бразу. Художник был недоволен портретом, написанным в Мелихове, и теперь ехал в Ниццу, чтобы попытаться еще раз написать Чехова.

Так подошел март, о первом дне которого в России П. Е. Чехов записал в своем дневнике: «Весна <...> Тихо, но пасмурно. Воскресенье. Сего дня шестилетняя годовщина, как куплено имение в Мелихово. Будет урожай. Ветер с юга, мокрое лето». В Мелихове еще кружила метель, деревья стояли в инее, но уже вычищали снег из парников, а 12 марта прилетели грачи. Через неделю началась весенняя слякоть, сырость. Домашние просили Чехова не спешить. Сестра прямо написала: «Март для тебя был всегда труден». Они боялись, что Чехов понадеется на погоду, а весна наступала медленно.

В Ницце цвели розы, прибывали и свет, и тепло, но они прискучили, и Чехов писал в Москву: «Здесьние розы не лучше наших, травы нет, флора декоративная, точно олеография, птиц не слышно и не видно, но все же здесь лето, несомненное лето!» Через несколько лет очень похоже Чехов будет писать о южной природе Крыма. Видимо, вечнозеленая картина перед глазами утомляла Чехова. Он любил перемены в природе, постоянную череду весен и зим, непохожесть одного дня на другой. Голоса птиц он любил за то, что они тоже передавали дви-

жение времени. Чехов рано вставал в Мелихове, и наступающий день сопровождался птичьим гомоном, а к вечерней заре все умолкало.

Вообще, видимо, заграничная жизнь влияла на настроение Чехова невольными контрастами. Об одних он сам рассказал в своих письмах, когда писал о культуре, об образе жизни, сравнивая их с русскими нравами и обычаями. О других он умолчал, но они проступают, едва его письма оказываются в соседстве с письмами, приходившими к Чехову из России.

3 марта Чехов сообщает Хотяинцевой в Париж: «Я уже писал Вам, что здесь Южин—Сумбатов. Приехал вчера Потапенко. Каждый день будем ездить в Монте-Карло играть. Пока дело идет *pas mal** я выиграл 30 фр<анков>, Южин проиграл 7 тысяч». А накануне талежский учитель А. А. Михайлов отправил Чехову письмо: «... Поп и четыре крестьянина, пользуясь Вашим отсутствием, подали на меня ложное прошение в Округ <...> покорнейше прошу Вас, Антон Павлович, сделать в М<осковский> Уч<ебный> Округ отзыв обо мне, так как Ваш отзыв опровергнет их ложь <...> 30 февраля С<ерпуховская> З<емская> Управа уведомила меня, что Губернская Управа убавила нам 20 учителям жалованья на 40 руб<лей>, так как мы не получили образование в гимназии. Это за 20 лет службы, а другим за 30 лет. Хорошая награда. <...> не можете ли Вы сообщить в Управу, чтобы мне оставили старый оклад жалованья и не отнимали у меня и у других то, что мы получали 15 лет...»

За игорными столами Монте-Карло на глазах у Чехова проигрывали состояния, десятки и сотни тысяч. В чеховских письмах, именно в эти дни, замелькает признание, что деньги у него кончаются: «Здоровье мое поправилось совершенно. Только одна беда: денег нет. Но уповаю поправить эту беду в течение лета». Праздная жизнь, с сознанием, что не надо писать ради денег, так и не получилась. И он шутил опять: «русский человек не может работать и быть самим собой, когда нет дурной погоды». И согласился написать рассказ для «Нивы», а для «Русской мысли» была обещана повесть. До аванса или гонорара за эти будущие произведения надо было, как скажет он сам, «извернуться». Однако даже это не заставило Чехова сесть за письменный стол.

Но именно в это время он, как говорит, «не удержался» и послал в Таганрогскую библиотеку всех французских классических писателей, 319 томов хорошо изданных книг 70 авторов. Это были сочинения Гюго, Бальзака, Вольтера, Прervo, Паскаля, Мольера и замечательные словари. Видимо, деньги ушли на эту покупку. В эти же дни, по просьбе Иорданова, Чехов возьмет на себя трудное дело: уговорить скульптора М. М. Антокольского, живущего в Париже, взяться за памятник Пётру I в честь 200-летия Таганрога.

Хорошо, что, по наведенным справкам, скульптор уехал в Петербург, не то испортившаяся погода и позирование Бразу, может быть, выгнали бы Чехова из Ниццы раньше срока. Сидеть, хотя бы и два часа, было утомительно и скучно, и портрет опять не задавался. Известно, что о выражении своего лица на нем Чехов сказал — «точно я нанюхался хрену»; «Что-то есть в нем не мое и нет чего-то моего».

Не совсем чеховское в этом портрете и пенсне, которое он начал носить постоянно гораздо позже, а в эти годы на фотографиях изображен без пенсне. Между тем и стекла, и свисающий шнурок, рассекший на портрете щеку, изменили характерные черты Чехова: полетность бровей, высокие надбровья и выразительную соразмерность лица. Пенсне, шнурок и рука, прижатая к другой щеке, с пальцем, заложенным за ухо, сместили что-то в облике. Из всех характерных поз Чехова, когда он сидел (заложив руки в карманы; обхватив руками колени; бросив руки

* Неплохо (фр.).

меж колен) Браз выбрал, кажется, не свойственную Чехову и очень не свободную. Чехов на портрете словно наблюдает за художником и за тем, кто смотрит на него. Тогда как на удачных фотографических портретах, а Чехов был фотогеничен, он как бы слушает того, кто смотрит на него. Слушает заинтересованно и, кажется, вот-вот что-то скажет или улыбнется своей быстрой улыбкой. На портрете Браза Чехов будто утомлен молчанием.

Навряд ли то была вина Браза. Он был неплохим художником. Дело, видимо, в постоянном потоке мыслей и чувств Чехова, делавших его облик неуловимым для портретиста.

Но закончилось и это позирование. Из дому пришло письмо отца. П. Е. Чехов описал мелиховскую весну: «Дорога испортилась, снег сделался как тесто <...> Пруды наполняются водой. Грачи заняли свои места. Скворцы распевают на скворешнях свои трели. Им сделали 5 новых скворешен».

Все, все торопило Чехова домой: в Россию, в Москву, в Мелихово. Там наступила Страстная неделя, и Чехов поздравлял родных с наступающей Пасхой, желая им «благ земных и небесных». А из России его просили не спешить. Сестра писала, что в доме еще топят печи и не сошел снег. И. П. Чехов называл погоду «возмутительной».

Правда, шли и другие письма. Новоселковский учитель рассказывал о местных новостях, в том числе о планах С. И. Шаховского «настроить дач, одним словом, поставить имение так, чтобы оно насколько можно больше давало доходу». В тоне письма сквозило, как недостает ему встреч с Чеховым после прошлогоднего лета, когда дела по стройке сводили их очень часто. О том, что скучает, прямо писал П. И. Куркин. Поведав о делах Серпуховского Санитарного совета, о коллегах, врачах И. Г. Витте, В. А. Павловской, И. К. Коврейне, завершил все признанием: «Я пишу Вам обо всем этом, дорогой Антон Павлович, предполагая, что все это, весь этот мир, не чужд Вашему сердцу и Вашему представлению, которое, конечно, не может не звать Вас поскорее домой, как бы ни была хороша заграница и как бы ни была заурядна наша русская современная действительность <...>. Это большое горе, что Вы так долго не возвращаетесь к нам...»

Нет, все-таки пора было уезжать, к тому же в Ницце лил дождь, и Чехов решается уехать. Его держали деньги, но 11 апреля он получает аванс из «Нивы» (куда по его просьбе ходил И. Н. Потапенко, который укатил из Ниццы, проигравшись дотла и взяв 1000 франков на дорогу у Чехова). 13 апреля Чехов и Ковалевский вместе покинули Ниццу и выехали в Париж. Чехов уезжал оживленным, бодрым.

В Париже, как в Москве и Петербурге, когда Чехов приезжал туда из Мелихова, сразу начались деловые встречи, визиты, разговоры. Остановился Чехов в отеле «Дижон». Побывал у И. Я. Павловского, но не застал. Навестил Хотяинцеву в мастерской русских художниц и в шутку, сделал им выговор: «Живете как на Ваганькове! Скучно, нельзя же все только работать, надо развлекаться, ходить по театрам».

Чехов был в Париже не впервые. Он уже видел его весной, в дымке распустившихся деревьев. В России в лесах еще лежал снег, а здесь, в один из вечеров, пролетела над городом настоящая весенняя гроза. Чехов ходил на выставки, осмотрел Версаль. Встречался с Антокольским и получил согласие на памятник Петру I для Таганрога.

Отзвук бесед со скульптором в письме к Иорданову: «Около моря это будет и живописно, и величественно, и торжественно, не говоря уж о том, что статуя изображает настоящего Петра, и притом Великого, гениального, полного великих дум, сильного». Памятник будет изготовлен и еще при жизни Чехова, весной 1903 года, открыт в Таганроге, где сохранился и поныне.

За всеми хлопотами, визитами, прогулками все время ощущается нетерпение: когда же из России дадут знать, что установилось тепло и можно возвращаться в Мелихово. К тому же в Париже зарядил дождь и у Чехова показалась кровь (значит, опять сидеть в гостинице).

Билет был заказан на 2 мая, субботу. Чехов уже определил маршрут: в Петербурге встретиться только с братом и Потапенко, в этот же день выехать в Москву, ни с кем не встречаясь, тут же уехать в Мелихово. По дороге из Лопасни заглянуть в Новоселки, к учителю, и домой, в Мелихово.

Письма брату в Петербург коротки и веселы: «Почисти сапоги, оденься поприличней и выйди меня встретить. Этого требует этикет, и на это я, полагаю, имею право, так как я богатый родственник <...> Твой благодетель А. Чехов». Или: «Встречайте меня не суетясь, прилично, чтобы был порядок». Последнюю неделю в Париже Чехов виделся с Сувориным, но ни разговоры, ни поездки с Сувориным не упоминаются в письмах. Сохранилась дневниковая запись, сделанная уже в мае, в Мелихово: «Нужно записать, что в Париже, несмотря на дождливую, прохладную погоду, я провел 2—3 недели не скучно. Приехал сюда с Макс(имом) Ковалевским. Много интересных знакомств: Paul Boyer, Art Roë, Bonnier, Матвей Дрейфус, Де-Роберти, Валишевский, Онегин. Завтраки и обеды у Ив. Ив. Щукина». В дневнике Суворина упомянуты лишь разговоры о минувших событиях московской жизни и ниццские впечатления Чехова.

2 мая Чехов наконец уехал из Парижа. 4 мая был уже в Петербурге, 5 мая, вечером, приехал в Мелихово. А 6-го мая написал дома первое и, кажется, единственное в этот день письмо А. И. Сумбатову (Южину), хотя дома его дожидалась огромная почта. Из всех писем он счел неотложным письмо Вл. И. Немировича-Данченко, и просил Сумбатова сообщить ему поскорее адрес имения, куда уезжал на лето Немирович-Данченко.

Любители многозначительных повествований увидели бы в этом письме, что это знамение судьбы, высказали бы предположение, что послание было полной неожиданностью для Чехова. А может быть, и наоборот: что Чехов ждал его, смутно предвидел или предчувствовал нечто подобное. Ну, а если бы заглянули в дневник П. Е. Чехова, то, не сомневаясь, придали бы всему провидческий характер, так как 5 мая, в день возвращения Чехова из Франции, над Мелиховым гремел гром. Грохотало и назавтра. Теперь весенняя гроза пронеслась над Мелиховым, и засияло чистое небо.

Чехов не упоминает о грозе, никак не высказывается о письме, просит адрес и более ничего. И все-таки, что же было в письме Вл. И. Немировича-Данченко важного и спешного.

Он писал, что в Москве создается новый театр под руководством К. С. Станиславского (Алексеева) и его. Далее Немирович-Данченко изложил свой взгляд на репертуар будущего театра: «Шпажинским, Невежиным у нас совсем делать нечего. Немировичи и Сумбатовы довольно понятны. Но вот тебя русская театральная публика еще не знает <...> Я задался целью указать на дивные, по-моему, изображения жизни и человеческой души в произведениях «Иванов» и «Чайка» <...> настоящая постановка ее «Чайки» с свежими дарованиями, избавленными от рутинны, будет торжеством искусства, — за это я отвечаю <...> Наш театр начинает возбуждать сильное <...> негодование императорского. Они там понимают, что мы выступаем на борьбу с рутинной, шаблоном, признанными гениями и т. д., и чуют, что здесь напрягаются все силы к созданию художественного театра. Поэтому было бы грустно, если бы я не нашел поддержки в тебе».

Немирович-Данченко просил для постановки в новом театре «Чайку». Мог ли он обойтись без авторского разрешения? «Чайка» шла уже

по России. Она была сыграна различными труппами в Новочеркасске, Нижнем Новгороде, Киеве, Одессе, Саратове, Ростове-на-Дону.

К маю 1898 года в провинциальных театрах шел «Дядя Ваня». И критика обратила внимание на странное обстоятельство: «Дядя Ваня» известен уже зрителям Саратова, Казани, Харькова, Одессы, а московская и петербургская сцены не замечают этой чеховской пьесы. Заметил это и Чехов. В том признании Суворину, в марте, что он жалеет о своем отдалении от театра, Чехов добавил: «В эту зиму в провинции шли мои пьесы, как никогда, даже «Дядя Ваня» шел». И продолжил: «Прежде для меня не было большого наслаждения, как сидеть в театре, теперь же я сижу с таким чувством, как будто вот-вот на галерке крикнут: «пожар!» И актеров не люблю. Это меня театральное авторство испортило».

Видимо, «Чайку» могли сыграть без особого разрешения автора. Но Немирович-Данченко понимал, как тяжело пережил Чехов провал «Чайки» в Александринском театре, знал о нежелании Чехова видеть эту пьесу в Москве или Петербурге. Поэтому начинать новое дело с такой обиды автору, естественно, не мог.

К тому же он не забыл того разговора о «Чайке» в 1895 году, когда Чехов стоял, глядя в окно, полчаса, не проронив ни слова, а Немирович-Данченко разбирал недостатки «Чайки». В своем письме он убеждает Чехова, что небанальная, добросовестная постановка «Чайки» захватит зрителя. Он, когда-то рассказывавший Чехову, как надо писать пьесы, теперь вычеркнул из списка талантливейших и себя и такого опытного сочинителя, как Сумбатов (Южин): «Из соврем(енных) русских авторов я решил особенно культивировать только талантливейших и недостаточно еще понятых...»

М. П. Чехова, побывавшая в Москве, передала Немировичу-Данченко, что брат обещал написать, но такая неопределенность не устраивала Немировича-Данченко и он 12 мая воззвал к ответу: «<...> мне важно знать теперь же, даешь ты нам «Чайку» или нет. «Иванова» я буду ставить и без твоего разрешения, а «Чайку», как ты знаешь, не смею». Далее еще более страстно: «Если ты не дашь, ты зарежешь меня, так как «Чайка» — единственная современная пьеса, захватывающая меня как режиссера, а ты — единственный современный писатель, который представляет большой интерес для театра с образцовым репертуаром». Он готов был мчаться в Мелихово.

Получив ответ Чехова с отказом, Немирович-Данченко садится писать ответ, сразу вдогонку за отосланным письмом: «Твои доводы вообще не действительны, если ты не скрываешь самого простого, что ты не веришь в хорошую постановку пьесы мною. Если же веришь — не можешь отказать мне. Извести, ради Бога, скорее, т. е. вернее — перемени ответ...»

Видимо, Чехов получил оба письма одновременно и, ухватившись за готовность Немировича-Данченко приехать в Мелихово, в шутку ли, или всерьез, написал, что за радость этой встречи готов отдать все пьесы. Если вспомнить любимое выражение П. Е. Чехова, это уже скорее «склонно к согласию».

Немирович-Данченко, знавший Чехова, истолковал такое колебание в свою пользу и принял его за разрешение ставить «Чайку». В Мелихове он так тем летом и не побывает, но в Москве они увидятся с Чеховым, и, наверно, тогда он окончательно склонит Чехова к согласию.

Конечно, жаль, что чеховское письмо с доводами против постановки «Чайки» не сохранилось. Оно, наверно, раскрыло бы колебание Чехова, его сожаления, что он ушел от театра, и его нежелание приближаться к нему. Немирович-Данченко запомнил только, что Че-

хов писал о своем самочувствии, что не хочет переживать пережитое, что он не драматург и есть драматурги получше.

Но пропавшие письма все-таки оставляют какой-то след. Пусть слабый, еле различимый, но все-таки. Около Чехова не было биографов, как около Л. Н. Толстого. Он не вел постоянных дневниковых записей. Воспоминания современников не конкретны. Порой мемуарист пишет простой «зимой», «летом», «кажется, в таком-то году». И поэтому периоды, когда Чехов редко писал письма, затуманиваются.

Так например, поздней весной 1898 года по возвращении из-за границы Чехов почему-то мало пишет писем. Можно предположить, что у него нет времени. Действительно, едва он появился в Мелихове, гости пошли косяком. В мае сюда приезжали: И. П. Чехов, А. И. Иваненко, П. И. Куркин, З. В. Чеснокова, А. К. Тарновский, М. Т. Дроздова, И. Г. Витте, С. Г. Толоконников, З. Н. Голяшкин, А. А. Хотяинцева, В. М. Соболевский, С. И. Шаховской. Не говоря уже о соседях.

Естественно, Чехов сразу впрягся в земские дела. Ездит экзаменовывать школьников в Чирково, помогает мужикам застраховать скот, участвует в заседании Серпуховского Санитарного совета, где речь идет о плачевном состоянии Михайловской и Волосовской школ, о вспышке оспы, дифтерита, скарлатины и брюшного тифа в уезде. По-прежнему Чехов лечит крестьян.

К тому же Чехов затеял издать у Сытина томик своих юмористических рассказов, и по вечерам И. П. Чехов, гостивший в Мелихове, читал вслух отобранные им по просьбе Чехова рассказы. Чехов слушал, смеялся и спрашивал: «Это мой рассказ? Совсем не помню? А смешно. . .» Похожая история была и в Ницце. Молодая пара, поселившаяся в пансионе и узнавшая Чехова, громко читала ранние чеховские рассказы, и он тоже смеялся и не узнавал свои произведения.

Обыкновенно, такие факты встречаются с недоверием и удивлением. Как может автор не узнавать свой текст? Однако не только в жизни Чехова случалось подобное. Разница меж прозой восьмидесятых годов и девяностых была такова, что, видимо, постоянная напряженная работа и медленное изменение этой прозы стирали в памяти ранние тексты. Семнадцать лет литературной работы, конечно, не семнадцать лет обыкновенной жизни. Правда, читательское, зрительское представление о жизни писателя, о сладком бремени славы и черном хлебе нищеты, о шипах в венке художника смешили Чехова, наверно, не меньше, чем собственные ранние юмористические рассказы.

Среди неизвестных писем ответ Чехова на послание младшего брата из Ярославля. М. П. Чехов приветствовал возвращение Чехова торжественно—возвышенно: «И опять ты примешься за школьное дело, будешь лечить, будешь сомнящемуся добро советовать, видеть воочию результаты своих трудов, — ведь это такое счастье, о котором я разве только мог бы мечтать < . . . > У тебя есть вера в твое дело, у тебя есть сознание, что ты приносишь и приносишь пользу, что ты нужен не для одной только своей семьи. . . »

М. П. Чехов всегда был склонен к такому слогу, и жаль, нельзя сопоставить его со слогом ответного письма. Известно только, что Чехов приглашал брата с семьей, с новорожденной племянницей в Мелихово. Врачи, учителя, земцы писали проще, узнав о приезде Чехова. Например, В. С. Глуховской, получив от Чехова весточку, вздохнул: «Слава Богу, что Вы наконец приехали. . . »

Но никто не предполагал, что заканчивалась последняя весна Чеховых в Мелихове. И приходит последнее лето, когда семья вместе, все живы, здоровы. После смерти Николая в 1889 году самое большое несчастье — это март минувшего 1897 года, когда у Чехова хлынула горлом кровь. Прощание с Мелиховым началось по сути тогда, но

никто не думал об этом. Да и сейчас, казалось бы, нет беспокойства. Все как всегда.

Но были, были признаки скорого расставания с Мелиховым. Никогда, прежде, как весной 1898 года, не пели соловьи в мелиховском саду. Много раз П. Е. Чехов отмечает в своем дневнике, который ему оставалось вести всего четыре месяца, эту несмолкаемую песню. В один из вечеров он даже напишет: «Соловей поет днем и ночью». Последний раз П. Е. Чехов расскажет, как зацвели вишни, взошла картошка, начала колоситься рожь. И поблагодарит от души Всевышнего: «Благодать дал Бог!» Более никто и никогда не узнает насколько дождь промочил землю, когда расцвели фиалки и лилии, когда прогремел первый гром.

Никто из обитателей Мелихова не обратил, кажется, внимания на то, что из сложившегося окружения друг за другом ушли несколько человек. Наверно, так произошло случайно, сложилось одно к одному. Однако и в этой случайности было что-то грустное. Васькинского священника Некрасова перевели в Серпухов, попрощалась фельдшерница З. В. Чеснокова, она уехала работать в Москву. Вскоре в последний раз приедет в Мелихово А. А. Михайлов, талежский учитель. Начальство взяло сторону талежского священника и, несмотря на хлопоты Чехова, учителя перевели. Правда, не в худшее училище, но совершенно не беря во внимание, что школа была построена усилиями Чехова и Михайлова, что это хороший педагог, что только-только наладилась жизнь его семьи в отстроенной школе. Обитатели Мелихова к тому же лишились ревностного и умелого помощника в хозяйственных делах. Все уехавшие горько жалели о Мелихове и вскоре стали просить Чехова помочь им. Некрасов не прижился в городе и мечтал получить приход в деревне несмотря на то, что в город его перевели с повышением. Чеснокова опоздала и не получила нового места и тоже обратилась за помощью к Чехову. Тяжело расстался со школой и Михайлов. Однако никто из них так и не вернулся на прежнее место. Не суждено было.

Наступило лето 1898 года.

Глава 5

ПОСЛЕДНЕЕ МЕЛИХОВСКОЕ ЛЕТО

Гости, дела, новая забота — строительство школы в Мелихове, — конечно, отвлекали Чехова, и поэтому, может быть, он сократил свою переписку. Но скорее это объяснялось другим: он работает. Напряженно, сосредоточенно, а письмо, даже деловое, это отвлечение, тот самый обрыв в постоянной работе сознания, который Чехов так не любил. И после которого трудно входил в колею. Чехов пишет «маленькую трилогию» и рассказ «Ионыч». Как он написал Гольцеву: «Моя машина уже начала работать».

М. П. Чехова уехала в начале июня на этюды, но из Москвы приехал И. П. Чехов. Человек, любящий порядок, очередность дел и финансовую строгость, он был в хозяйственных делах незаменим. Но брат пробыл только десять дней и уехал как раз накануне сенокоса. И как-то тихо, незаметно — боялся разбудить Чехова. Тогда как Чехов хотел с ним переправить в Москву в «Русскую мысль» рассказ «Человек в футляре». В эти же дни Чехов отправил в Петербург рукопись «Ионыча» в «Ниву». Но работа не прекращалась. Уже существовали рассказы «Крыжовник» и «О любви».

Такая плодотворность вполне объяснима. Рассказы складывались очень давно. В Ницце, судя по записным книжкам, уже проступал

текст. Например, финал рассказа «О любви», фрагменты «Ионыча». И тут же рядом новые сюжеты, записи к продолжению «Мужиков». В письме к Иорданову от 25 июня Чехов выдает, может быть, невольное, едва ли не главную причину прощания с Мелиховым: «Зимой я ничего не делал, теперь приходится наверстывать, валять, как говорится, и в хвост и в гриву. Нужно много писать, между тем материал заметно истощается. Надо бы оставить Лопасню и пожить где-нибудь в другом месте. Если бы не бациллы, то я поселился бы в Таганроге года на два на три и занялся бы районом Таганрог — Краматоровка — Бахмут — Звереве. Это фантастический край».

Из-под спуда лет пробивались впечатления юности, далекого прошлого. Так было перед «Чайкой», теперь подступало вновь.

Надо заметить, что в душевном состоянии Чехова глубинное настроение обнаруживаются часто сны, воспоминания, какие-то ощущения. Чехов всю жизнь помнил, как в детстве при нем один «благообразный и ученый протоиерей» оскорбил Е. Я. Чехову. Когда во сне Чехову было холодно, это воспоминание всплывало и возникали видения: «Злые, неумолимые, интригующие, злорадно улыбающиеся, пошлые». Наяву он таких не видел. В момент особого творческого напряжения желание работать не отпускало Чехова даже во сне. Если во сне Чехову являлись похороны, кладбищенские ворота, то это тоже был признак определенного настроения. Видимо, в раннем детстве он был поражен таким зрелищем, и оно связалось навсегда с предчувствием печальных, неожиданных событий. Так и с признанием в любви к дочке Степи в письме к Иорданову.

Нечто большее, чем воспоминание, ощущается в словах: «Донецкую степь я люблю и когда-то чувствовал себя в ней, как дома, и знал там каждую балочку. Когда я вспоминаю про эти балочки, шахты, Саур-могилу, рассказы про Зуя, Харцыза, генерала Иловайского, вспоминаю, как я ездил на волах в Криничку и в Крепкую графа Платова, то мне становится грустно и жаль, что в Таганроге нет беллетристов и что этот материал, очень милый и ценный, никому не нужен».

Странно, что не сам город, не греческую школу и не гимназию, даже не отчий дом вспоминает Чехов, но именно степь и свои детские путешествия по степи. После надоевшей отцовской лавки, классных путнатов, одной и той же дороги в гимназию вдруг простор, воля.

Чехов, наверно, как и старший брат, хранил в памяти тот день, когда, узнав от матери об «оказии» из Крепкой, где жили бабушка с бабушкой, прибежали в лавку к отцу: «Папаша, милый, дорогой, отпустите нас к дедушке в гости!» Потом помчались к матери: «Попросите, дорогая, золотая, чтобы отпустил!» Няня утром рассказывала Е. Я. Чеховой, что ночью Антоша метался. Александр, как он вспоминает, всю ночь видел, что куда-то едет, никак не может доехать, потому что что-то мешает.

Как волновались братья, что вдруг поездка сорвется. Ал. П. Чехов подробно рассказал о часах ожидания и досаде, когда отец перед ликом иконы долго, как казалось детям, читал молитву «о странствующих, путешествующих и сущих в море и далече...», потом клал земные поклоны, призвал сыновей под свое и материнское благословение, и только потом отпустил в дорогу. И вот дроги тронулись, поднялась и осела пыль: «Мы были на свободе. Все осталось позади нас в этом буром столбе — и гимназия, и лавка, а впереди нас ждали широкие и необъятные степи и такой простор, широкий и ничем не стесняемый простор, что перед ним покидаемый нами город казался тесной тюрьмой. (. . .) Отчего нельзя ехать по степи всю жизнь, до самой смерти, не зная ни забот, ни латыни, ни греческого, ни проклятой алгебры (. . .)»

Антоша, судя по его жизнерадостному лицу и счастливой улыбке, думал то же самое. Его широко раскрытые глаза говорили: к чему лавка, к чему гимназия, когда есть степь и в этой степи так хорошо и так приятно?..»

В этой первой поездке потом оказалось многое: разочарования, страшная «воробьиная ночь», тоска, надежда, случаи из детства их отца, П. Е. Чехова. «Бабушка рассказывала детям: «Пришли раз соседи и говорят, будто бы Павло — ваш батько — с дерева яблоки покрал. А Павло вовсе и не крал, а покрали другие хлопцы. Егор Михайлович взяли кнут и хотят Павла лупцевать. Говорят: «снимай портки!» А Павло, бедняжка, снимает штанишки, горько заплакал и начал креститься. Крестится и говорит: «Подкрепи меня, Господи! Безвинно страдаю!» Я даже заплакала и стала молить: «Егор Михайлович, он не виноват». А Егор Михайлович развернулись с правого плеча да как тарарахнут меня по лицу... Я — кубарем, а из носа кровь пошла... И Павла бедного до крови отлупцевали, а потом заставили триста поклонов отбухать».

Все отошло, все плохое и страшное забылось, осталась в воспоминаниях степь. Незадолго до смерти Чехов сказал старшему брату: «Ты, Саша, тогда был страшно глуп, а я — детски наивен, но я с удовольствием вспоминаю эту поездку <...> Хорошее время было... Его уже не вернешь...» Одно и то же слово мелькнет в воспоминаниях братьев о донецкой степи, «милая». Но прочитывается оно, как — «невозвратимая».

На письмо Чехова из Таганрога пришел в августе ответ. Иорданов писал, что ему ныне в степи «страшно»: «<...> над мирным Таганрогом теперь постоянно видно зарево от доменных печей и слышен гул и лязг железа <...> Степи и степняки справедливо стонут, да и городские жители, когда только на минутку забудут свои барыши, чувствуют себя жутко от изменения стародавних степных обычаев, и в особенности от созерцания целой инвалидной армии, которую заводы плодят с ужасающей быстротой...» И о степи можно было сказать — ее уже не вернешь.

Как всегда в критические минуты в своем творчестве, Чехов опять говорит, что уехал бы куда-нибудь за несколько тысяч верст, занялся бы одной медициной, бросил бы свое писательство.

В письме к Авилевой в конце июля он прибегнет к сравнению: «Когда я теперь пишу или думаю о том, что нужно писать, то у меня такое отвращение, как будто я ем щи, из которых вынули таракана — простите за сравнение. Противно мне не самое писание, а этот литературный *entourage*, от которого никуда не спрячешься и который носишь с собой всюду, как земля носит свою атмосферу».

Уподобление странное, на первый взгляд. Что имеется в виду под литературным антуражем? Хлопоты по публикации, корректуры, гоногары, которые Чехов никогда не назначал, а принимал то, что давали. Или, быть может, критика? Что-то проясняется еще одним сравнением, из письма к старшему брату в эти же дни: «Что касается литературы, то тут на бирже настроение слабое. Не хочется писать, и пишешь так, точно ешь постное на шестой неделе поста». Видимо, наступило какое-то истощение в непрерывном процессе фильтрования впечатлений памятью Чехова, если вспомнить сравнение из письма Батюшкову.

В «маленькой трилогии», в рассказе «Ионыч» в каждое слово, предложение, абзац, в каждый образ вложена огромная художественная энергия. Но чтобы «машина» работала, чтобы эта энергия вырабатывалась, нужны были новые впечатления, новый круг знакомых, иной образ жизни, другой антураж. И даже, может быть, не проза, а драматургия.

Согласие на постановку «Чайки» в новом театре, невероятная усталость от работы над прозой и поспешный отъезд из Мелихова 1 августа, едва была выправлена корректура новых рассказов, — конечно, не случайны.

Случайным можно считать совпадение: как три года назад, когда Чехов работал над «Чайкой», так и теперь, летом 1898 года, он оказался в Тверской губернии. В имении Поповское у В. А. Морозовой. Пробыл здесь совсем немного. И уехал на станцию Подсолнечное, в имение Богородское на Сенежском озере, где у В. А. Оленина гостил И. И. Левитан. На берегу другого озера Чехов и Левитан встретились на один день, чтобы в следующий раз уже увидеться только в конце 1899 года, в Ялте. Левитан в полчаса напишет тогда Чехову пейзаж «Стога сена», и картон вставят навсегда в камин в чеховском кабинете. Чехов расскажет О. Л. Книппер в письме: «На моем камине он изобразил лунную ночь во время сенокоса. Луг, копны, вдали лес, надо всем царит луна».

Обыкновенно при этом вспоминают, что лунный пейзаж написан в ответ на признание Чехова, что здесь, в Крыму, он скучает по русской природе. Но у Чехова и О. Л. Книппер было особенное общее воспоминание, связанное с лунными пейзажами Левитана. В апреле 1899 года они пришли на выставку в Москве и услышали, как смеялась публика, стоявшая перед левитановской картиной «Стога сена при лунном свете». Может быть, Чехов и не вспомнил смех зрителей на премьере «Чайки», особенно над монологом Нины, но, наверно, этот смех у картины Левитана сильно подействовал на него, а Мелихово, с которым уже решено было расстаться, вставало перед глазами. Потому что лунные ночи, зимою и летом, когда странный свет заливал тихое Мелихово, окрестные поля и леса, всегда волновали Чехова. В чем он не раз признавался.

П. Е. Чехов тоже в мелиховском дневнике отмечал лунные ночи. 18 августа он запишет: «Гостей — дачников было много. Все ужинали. Луна светит очаровательно». Гости, действительно, в последнее мелиховское лето было немало. П. Е. Чехов даже не всех записывал, просто обобщал: «много». И. П. Чехов, гостивший опять в Мелихове и отправлявший жене подробные письма, рассказал, например, об одном из дней в начале августа: «В Мелихове очень хорошо, погода прекрасная, — ни холодно, ни жарко, самое хорошее! Купание тоже не дурно. Вчера приехал Антоша из Твери. Здесь бывает много гостей, особенно из Васькина. Вчера приходили пешком сестра Шатилова с сыном и французом monsieur Маё, невесткой и еще какой-то дамой; после них позднее пришел пешком же — некий генерал Ордынский, маленький, седенький старичок, с дочерью и офицером, и много позже мадам Семенкович с детьми. Вчера же здесь были Боголеповы с семьей и талежский учитель Михайлов, который переезжает в Серпухов, в городское училище, благодаря хлопотам Антона».

Васькинские дачники уже считали Мелихово обязательным маршрутом и приводили своих гостей; не считаясь с хозяевами, а даже обижаясь, если Чехов не принимал участия в беседе и не выходил к гостям.

В последний раз, 15 августа отметили в Мелихове именины М. П. Чеховой. Приехала к этому дню Н. М. Линтварева из Сум, не забыли москвичи и, конечно, васькинские соседи. За воротами, на пруду пускали бенгальские огни.

В Мелихове появлялись все новые и новые лица. Приехал священник Виноградов, для мелиховской школы нашли учительницу Терентьеву.

Август уже торопил Чехова из Мелихова, так как с каждым дождем показывалась кровь. Но куда ехать? На поездку за границу не

было денег, а прошлогодняя история с одолжениями у богатых людей оставила недобрую память. Крым или Кавказ? Кавказ не хвалили из-за лихорадки. Медленно, исподволь стал всплывать в разговорах и письмах Крым. Ялта.

Вообще в летних письмах Чехова проступают решающие события будущей жизни: договор с Марксом о продаже собрания сочинений; обретение последнего дома в Ялте; возвращение в театр.

В письме к Р. И. Сементковскому, редактору «Нивы», от 10 августа Чехов поблагодарил А. Ф. Маркса за поклон, а на его предложение повидаться ответил: «Если А. Ф. желает видеть меня по делу, то я мог бы приехать в Петербург теперь, до сентября, пока не наступили холода». До Чехова уже дошли слухи об интересе Маркса к изданию его произведений, но, чтобы избежать возможных недоразумений и упреков со стороны Суворина, Чехов пишет ему в августе и предлагает впредь не выпускать книжки с новыми названиями, а издать собрание сочинений: «И вот если Вы ничего не имеете против этого, то глубокой осенью и зимой, когда мне нечего будет делать, я занялся бы редакцией своих будущих томов. В пользу моего намерения говорит и то соображение, что пусть лучше проредактирую и издам я сам, а не мои наследники». Суворин как будто бы согласился, и Чехов начал отбор, даже сложил первый том, но типография «Нового времени» работала с его изданиями по-прежнему: медленно и небрежно. Поэтому Чехов в конце концов принял предложение А. Ф. Маркса.

Чехов опять каким-то непонятным образом напроорочил еще один пятилетний рубеж своей жизни — 1903 год, когда подписчики журнала «Нива» получили в качестве бесплатного приложения томики произведений Чехова, второе прижизненное собрание сочинений, более полное по сравнению с первым, изданным годом раньше. Тираж «Нивы» к началу века был самый большой в России. 250 000. Получали журнал во множестве российских губернских, уездных городов.

Может быть, сроком издания собрания сочинений Чехов подводил предварительный итог своей жизни, а тем, как виделось ему грядущее, готовил себя к неизбежной разлуке с Москвой на долгие месяцы.

В августовском письме к Суворину он назовет свою будущую одинокую жизнь ссылкой, и опять не ошибется.

В те последние летние дни 1898 года Чехов написал письмо, неуловимо похожее на давнее письмо Л. С. Мизиновой. То самое, в котором он отвечал на ее снисходительное замечание, что он ест, спит и пишет в свое удовольствие и что он не испытал в своей жизни большого горя. То письмо, где он назвал эти упреки «чириканьем». Теперь, ровно пять лет спустя, Чехов пишет Л. А. Авиловой в ответ на ее «неласковое» письмо.

В своих воспоминаниях она рассказала, как вышло у нее такое послание. Ей почудилось, что в июльском письме Чехов, упоминанием о своем новом рассказе для «Русской мысли», обращает ее особое внимание на августовскую книжку журнала. Авилова дождалась выхода номера и прочла рассказ «О любви». Далее она признается, как плакала над книжкой, потому что все прочитанное показалось ей историей их любви. А потом, не обдумывая, написала ему письмо. Авилова припомнила такую фразу из своего торопливого письма: «Сколько тем нужно найти для того, чтобы печатать один том за другим повестей и рассказов. И вот писатель, как пчела, берет мед откуда придется. . . Писать скучно, надоело, но рука «набита» и равнодушно, холодно описывает чувства, которых уже не может переживать душа, потому что душу вытеснил талант. И чем холодней автор, тем чувствительней и трогательнее рассказ. Пусть читатель или читательница плачет над ним. В этом искусство».

Конечно, жаль, что исчезли автографы чеховских писем к Авилловой и ее письма к нему. И дело даже не в устойчивой легенде о любви Чехова к Авилловой, но в том, что в этих письмах велся интересный разговор о творчестве. Во всех без исключения известных письмах Чехова к Авилловой в 1897—1898 годы он пишет только об этом. И приведенная ею по памяти фраза из собственного августовского послания как будто впитала этот разговор. По ответным репликам Чехова можно догадаться, о чем писала Авиллова: герои Чехова мрачны (октябрь 1897 года); Чехов очень строг к ее сочинениям (июль 1898); Чехов пишет, не испытывая душевных переживаний (август 1898). Но это очень похоже на тот счет, который предъявляла Чехову большая часть критиков. Авиллова написала свое письмо во второй половине августа, а, например, 30 июля газета «Новости и Биржевая газета» поместила заметку Н. Минского, где автор писал о Чехове, что он «самый бесстрастный, самый индифферентный из наших писателей, бессердечный эстетик, никогда не волнующийся, готовый во всякую минуту покинуть своего умирающего героя для того, чтобы изобразить цветок, бабочку, форму облака». Все это критик проиллюстрировал рассказом «Человек в футляре»: «Судя по тону рассказа, автор и хохочет, и жалеет, и негодует, и, в конце концов, совершенно спокойно отходит от своего героя, бесстрастно прощается с ним, как с попутчиком по вагону».

Суть не в том, что Л. А. Авиллова могла прочесть эту заметку. Даже если она ее не заметила, она, к сожалению, разделяла мнение, бытовавшее в кругу ее знакомых литераторов о якобы бесстрастном Чехове, о нелюбви Чехова к читателю и т. д. В этом была, может быть, истинная драма ее отношений с Чеховым. Она тогда, при жизни Чехова, была во власти тех самых «правил», которые нарушали проза и драма Чехова. Сознала Авиллова это или нет, но ее «неласковое» письмо написано скорее обиженным литератором, чем обиженной женщиной.

Чехов в своих письмах постоянно пытался освободить Авиллову из плена «правил», вывести за границы любительства, уважая в ней природный дар, «симпатичный талант». Однако в ноябрьском, прошлогоднем письме Чехов, хваля присланные Авилловой «Забутые письма», прямо сказал ей, что во всех остальных «так и прут между строк неопытность, неуверенность, лень. Вы до сих пор еще не набили себе руку, как говорится, и работаете, как начинающая, точно барышня, пишущая по фарфору». Замечание о фарфоре могло быть связано с давним воспоминанием об одном юношеском увлечении младшего брата. М. П. Чехов, как шутливо заметил тогда Чехов, «открыл в себе еще один талант: превосходно рисует на фарфоре». Но о поделках этих высказался определенно: «красивая посудная мебель».

Чтобы рассказ или повесть не выходили «словесной мебелью», нужна была серьезная, кропотливая работа. Об этом Чехов и пишет неліцеприятно Авилловой: «Затем, Вы не работаете над фразой; ее надо делать — в этом искусство. Надо выбрасывать лишнее, очищать фразу от «по мере того», «при помощи», надо заботиться об ее музыкальности и не допускать в одной фразе почти рядом «стала» и «перестала». Голубушка, ведь такие словечки, как «Безупречная», «На изломе», «В лабиринте» — ведь это одно оскорбление. <...> Шероховатость Вы должны чувствовать, так как Вы музыкальны и чутки, чему свидетели — «Забутые письма».

В юности Чехов получал из редакций ответы короткие и ясные. По обычаю того времени, они печатались на страницах журналов. Например, «Стрекоза» уведомляла начинающего своего автора: «... длинно и натянуто...»; «... всем надоевшие темы...»: «очень длинно и бесцветно...»; «... не расцвет — увядаете. Очень жаль. Нельзя ведь писать без критического отношения к своему делу...» Таких пригово-

ров он выслушал немало. Суждения критики в девяностые годы были еще суровее, поэтому в своих разговорах с пишущими Чехов всегда помнил, как тяжелы автору резкие замечания. Письмо к Авиловой он кончил просьбой: «Газеты с Вашими рассказами сохраню и пришлю Вам при okazji, а Вы, не обращая внимания на мою критику, соберите еще кое-что и пришлите мне».

В июльском письме 1898 года Чехов просил не относиться преувеличенно строго к его критике: «Прошу Вас снисходить и верить, что фраза, которую Вы закончили Ваше письмо: «если Вам хорошо, то Вы и ко мне будете добрее», — эта фраза строга не по заслугам».

Но, видимо, только оставив занятие литературой, лишь с годами, вчитавшись в Чехова, Авилова могла понять, что мнение о равнодушном, эгоистичном писателе Чехове, прекрасном ремесленнике с холодной душой, близоруко и несправедливо. Но пока, в 1898 году, реплика о «набитой» руке выдает Авилову. Она явно запомнила фразу из прошлогоднего письма («Вы до сих пор еще не набили себе руку, как говорится . . .») и теперь возвращала ее, но уже упреком Чехову.

Может быть, ее слезы над книжкой «Русской мысли» были вызваны горечью ее любви к Чехову. Но почему бы не предположить, что было в этом чувстве восхищение человека, пишущего рассказы, но понимающего, как далеко это писанье от настоящей литературы. То не зависть, не мелкое самолюбие. Такие минуты переживали и в них признавались писатели огромного дара, несомненного таланта, когда встречались с гениальным произведением искусства.

Просто Л. А. Авилова, как когда-то и Л. С. Мизинова, серьезный разговор Чехова о сокровенном, о творчестве, снизила до личного. Они слушали себя и не слышали его. Это была объяснимая обида, но словом — «прочирикали» Чехов передал свою досаду. Отсюда, видимо, сходство прощальных слов из двух писем, отделенных пятью годами. Там, в 1893 году, Мизиновой — «холодно, Лика, скверно». Теперь, в 1898 году, Авиловой — «погода сквернейшая. Холодно и сыро». И подпись — «Ваш А. Чехов». Как когда-то Лике он написал, что ей не знакомы тяжесть и угнетающая сила этого червя, подтачивающего жизнь, так теперь Авиловой он пишет почти то же самое: «Вы неправильно судите о пчеле. Она сначала видит яркие, красивые цветы; а потом уже берет мед.

Что же касается всего прочего — равнодушия, скуки, того, что талантливые люди живут и любят только в мире своих образов и фантазий, — могу сказать одно: чужая душа потемки».

Любопытно, что слово «чирикание» все-таки мелькнет и в письме к Авиловой. В феврале будущего года он напишет ей из Ялты: «Нравится ли Вам Горький? Горький, по-моему, настоящий талант, кисти и краски у него настоящие, но какой-то невыдержанный, залихватский талант. У него «В степи» великолепная вещь. А Вересаев и Чириков мне совсем не нравятся. Это не писанье, а чирикание; чирикают и наддуваются. И писательница Авилова мне не нравится за то, что мало пишет. Женщины — писательницы должны писать много, если хотят писать; вот Вам пример — англичанки. Что это за чудесные работницы. Но я, кажется, ударился в критику; боюсь, что в ответ Вы напишете мне что-нибудь назидательное».

После августовского письма 1898 года Чехов никогда не писал Авиловой о своем творчестве. В переписке остался литературный «антураж». И только. И постоянные оговорки Чехова, упреждающие возможную ее обиду, возмущения или повод к нравоучениям или назиданиям. За несколько месяцев до смерти Чехова, в феврале 1904 года, Авилова напишет ему письмо с неожиданным признанием. Она писала, что жизнь и силы ее ушли «не на то», что она «оклеветала себя» в его мнении, и это было самое большое горе ее жизни: «Теперь пора это

сказать <...> Мне не надо, чтобы Вы меня простили, я хочу, чтобы Вы меня поняли».

Оговорка, что вот уже пять лет, как она научилась «застегивать на все пуговицы свой нравственный вицмундир», отсылает к 1898—1899 годам. Может быть, все дело в этом ее августовском письме? Может быть, в чем-то ином, неизвестном? Но чеховским письмом, написанным в последний августовский день 1898 года, была подведена незримая черта в их отношениях.

А день, как писал Чехов, действительно, был плохой. В двадцатых числах стали перепадать частые теплые дожди. Ночами было холодно, днем дул ветер. В Мелихове побывали Т. Л. Щепкина-Куперник, М. О. Меньшиков, Н. М. Ежов, В. Н. Ладыженский. И они, конечно, не догадывались, что кончается «течение мелиховской жизни».

Владимир Николаевич Ладыженский рассказал, в своих воспоминаниях, как они познакомились с Чеховым в доме у А. Н. Плещеева в конце восьмидесятых годов. Ему запомнился Чехов молодым, красивым, с мгновенно и на мгновение вспыхивающим весельем в глазах.

Из многих воспоминаний, которыми они обменивались при встречах, в часы совместных прогулок и поездок, Ладыженский запомнил со слов Чехова такое: «Сказали мне, что Полонский очень хотел бы со мной познакомиться, и повезли меня (кажется, Лейкин или Голике) на один из его журфиксов. Ну, приехали мы, знакомимся. При знакомствах всегда называют фамилии так, что ничего не разберешь. Так и тут: послышалось не то Чижов, не то Чехов. Полонский и остальные гости не обратили на меня никакого внимания, и просидел я молча целый вечер в уголке, недоумевая, зачем я понадобился <...> Полонскому стало неловко и захотелось сказать мне что-нибудь любезное. «Вы, — говорит он мне, — все-таки меня не забывайте, захаживайте когда-нибудь, ведь мы с вами, кажется, и прежде встречались, ведь ваша фамилия Чижиков?» — «Нет, Чехов», — сказал я. «Батюшки, что же вы нам раньше-то этого не сказали!» — закричал хозяин и даже руками всплеснул. Очень смешное приключение вышло, — добродушно и конфузливо закончил свой рассказ Чехов».

В августе 1898 года Ладыженский оказался в Мелихове. Остались у него в памяти молебны в мелиховской школе, разговоры с Чеховым об участии народных учителей, грусть Чехова, что придется, видимо, расстаться с Мелиховым. Однако Чехов показался ему веселым, шутил, представил Ладыженского молоденькой учительнице как начальство, инспектора народных училищ.

Действительно ли Чехов был весел? Вероятно, приветлив, гостеприимен. Но весел? Правда, Ладыженский определил свое давнее воспоминание еще одним словом — «оживлен».

Наверно, это впечатление более точно, потому что в мелиховских письмах начала осени 1898 года ощущается одна особенность. Они короче обыкновенного, написаны в стремительном темпе и таят какое-то нетерпение, ожидание. Слово Чехов все время ждет то ли телеграммы, то ли письма, то ли какого-то известия.

Последние дни августа и начала сентября Чехов ведет мелиховский дневник. П. Е. Чехов уехал к младшему сыну в Ярославль; Записи стилизованы, но это чеховские записи. В них постоянно вспыхивает его юмор: «Заседание у г. Варэныкова»; «в пруде тучами ходят караси»; «Был литературный вечер: Ладыженский читал свои стихи, в присутствии дачниц»; «сырая промозглая погода, дождь. П+8. Опять литературный вечер».

Так все-таки, почему Чехов мог казаться оживленным в это время?

Одно из предположений рождено чеховским письмом от 30 июля. Он сообщает Вл. И. Немировичу-Данченко подневное свое существование: когда будет в Москве, сколько пробудет в Тверской губернии,

в какой день вернется в Москву. А далее строки: «затем домой — по произволению. Пишу все сие тебе, потому что мы условились так — всякий раз извещать тебя при отъезде из Лопасни. А когда же ты ко мне?»

Может быть, здесь разгадка чеховского оживления и ожидания. К чему Немировичу-Данченко было знать местопребывание Чехова? И почему в словах «по произволению» явно читается нечто, что может задержать возвращение в Мелихово?

Еще когда Немирович-Данченко только уговаривал Чехова дать согласие на постановку «Чайки», он готов был даже к тому, что Чехов откажется посмотреть свою пьесу в новом театре. «Что тебя беспокоит, — писал он 12 мая. — Не приезжай к первым представлениям — вот и все». Но потом, после встречи в июне, в Москве, видимо, была какая-то договоренность, что Чехов, если захочет, посмотрит репетиции «Чайки». Поэтому Немировичу-Данченко нужно знать, где сейчас Чехов.

Все лето Немирович-Данченко шлет в Мелихово письма с отчетами, как идет работа над «Чайкой», обещает обойти рутину. 5 августа зовет в Пушкино, где начались репетиции. Рассказывает о беседах с актерами. 15 августа он пишет о репетициях, что будет пускать на них Чехова «с осторожностью»: «Главное, надо, чтобы ты разрешил всю постановку сцены по-нашему». 21 августа Немирович-Данченко описывает встречу с А. Ф. Кони и их беседу о «Чайке»: «Уверен, что у нас тебе не придется испытать ничего подобного петербургской постановке. Я буду считать «реабилитацию» этой пьесы — большой своей заслугой».

Через три дня в Мелихово отослано еще одно письмо: «Если бы ты незримо присутствовал, ты... знаешь что? <...> Ты немедленно начал бы писать новую пьесу <...> Планируем, пробуем тон — или вернее — полутоны, в каких должна идти «Чайка», рассуждаем, какими сценическими путями достичь того, чтобы публика была охвачена так же, как охвачены мы <...> Никогда я не был так влюблен в твой талант, как теперь, когда пришлось забираться в самую глубь твоей пьесы...»

Незаметно, исподволь скрытая мысль Чехова о новом театре, о «Чайке», над которой работают никому неизвестные молодые актеры, становится явной.

12 июня вскользь, в конце письма к Суворину, Чехов пишет: «Влад. Немирович-Данченко и Станиславский открыли в Москве театр, в июле начинают репетиции». Он еще не говорит, что в этом театре будут ставить его «Чайку». Неясно, сказал ли он Суворину об этом во время встречи в Москве 18—19 июня. Но в письме от 24 августа опять замечает о Немировиче-Данченко: «У него кипит дело. Было уже чуть ли не сто репетиций, и актерам читаются лекции».

Все это мимоходом, потому что Чехов, видимо, предполагал, что Суворин ревниво отнесется к новому театру. Как оно и случится позже, после первых спектаклей Московского Художественно-Общедоступного театра.

Однако в письме к В. С. Миролубову от 2 сентября Чехов чуть-чуть приоткрывает причину своего настроения: «Если бы не бациллы, то я остался бы зимовать в Москве, где предстоит очень интересный сезон; но бациллы гонят меня, и я опять должен буду скитаться всю зиму и ничего не делать».

Чехов уже ждет премьеру «Чайки» в новом театре. Ему важно побывать хотя бы на репетиции, чтобы убедиться, действительно ли его пьеса, написанная «вопреки всем правилам», понята театром.

В начале сентября Немирович-Данченко еще раз пишет, как идут репетиции, как они входят «в самую глубь тона каждого лица отдель-

но и что еще важнее — всех вместе, общего настроения, что в «Чайке» важнее всего». И зовет скорее Чехова в Москву.

К сожалению, на этом письме нет даты. Поэтому нельзя наверняка сказать, что открытка Чехова в несколько строк от 8 сентября — ответ на это письмо Немировича-Данченко.

Скорее всего, нет, потому что о среде, 9 сентября, как о дне своего приезда в Москву, Чехов написал Суворину 5 сентября, а Немировичу-Данченко 8 сентября, накануне отъезда из Мелихова. Если бы решение уехать было связано с письмом Немировича-Данченко, то Чехов написал бы ему тоже 5 сентября, или в ближайшие к этой дате дни, но никак не за день до отъезда.

Правда, Чехов мог получить письмо между 5 и 8 сентября, и срочно ответить. Но мог и не получить вовсе, если его доставили после того, как Чехов уехал из Мелихова. Но такая деталь, что Чехов начал писать ответ на открытке, предназначенной кому-то другому (в автографе зачеркнуто — «многоуважаемая...»), может быть, свидетельство поспешности.

Как бы то ни было, Чехов, действительно спешил. Спешил в Москву. На станции он вместе с почтой получил письмо от своего знакомого Миролюбова с сообщением, что в Ялте холодно, ветер, а дом, в котором предполагал остановиться Чехов, неудобен, что вообще в Ялте скучно.

Чехов тут же набросал открытку, что все равно выезжает, и сообщает телеграммой дату приезда в Ялту.

Вечером, в тот же день, в Москве Чехов подъехал на извозчике к Охотничьему клубу, что на Воздвиженке, вошел в залу, и вскоре началась репетиция «Чайки», и он услышал снова первые реплики своей пьесы:

— Отчего вы всегда ходите в черном?

— Это траур по моей жизни. Я несчастна.

— Отчего? (В раздумье). Не понимаю... Вы здоровы, отец у вас хотя и небогатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего 23 рубля в месяц, да еще вычитают с меня в эмеритуру, а все же я не ношу траура...»

15 сентября Чехов в половине седьмого вечера уехал курьерским поездом в Ялту, мимо Лопасни, Серпухова, Тулы...

17 сентября Чехов приехал в Севастополь и вечером вместе с новым знакомым, врачом Д. С. Малышевым, отправился в Георгиевский монастырь. В лунную ночь он смотрел с горы на город, на море. Запомнил и написал сестре уже из Ялты: «<...> а на горе кладбище с белыми крестами. Было фантастично. И около келий глухо рыдала какая-то женщина, пришедшая на свидание, и говорила монаху умоляющим голосом: «Если ты меня любишь, то уйди».

Написано так, как обыкновенно он набрасывает в записной книжке, на память, в копилку творческих заметок.

Это было второе письмо из Ялты домой. Первое, 20 сентября, Чехов написал отцу. Начиналось оно так: «Дорогой папа!» К сожалению, письма Чехова к отцу почти не сохранились. Известны 100 писем П. Е. Чехова и всего шесть — сына, тогда как отвечать на письма было неукоснительным правилом Чехова. Видимо, им не придали особого значения, а может быть, эту переписку постигла какая-то неизвестная судьба. Посему трудно судить, было ли такое обращение привычным, или же Чехов что-то почувствовал и из всех слов выбрал именно эти.

Не сестре, к которой он обыкновенно обращал свои просьбы по мелиховскому дому, а отцу написал Чехов на этот раз. Через три недели, 12 октября, в мелиховском дневнике чужая рука запишет: «12 сего месяца Павел Георгиевич Чехов скончался в Москве в пять часов по полудни».

В письме, оказавшемся последним, Чехов рассказал, что следует сделать с розами, где посадить тополи и яблони. Далее указал свой новый адрес. «Погода здесь летняя, теплая. У меня две комнаты, обстановка хорошая, большой сад. Все же в Мелихове лучше <...>

Скажите Маше, что из Петербурга она получит скоро театральный гонорар. Это жертвую ей на постройку Мелиховской школы.

Какова у Вас погода?

Нижайший поклон и привет мамаше, Маше, Марьюшке и всем. Будьте здоровы и благополучны и не забывайте меня, скучающего скитальца.

Ваш А. Чехов»

ВЗАМЕН ПОСЛЕСЛОВИЯ

Кончилось время зыбких надежд и скрытых мечтаний. Много стало бесповоротно и недостижимо: здоровье, своя семья, достаток. А главное — напряженная, в радость, не через недомогание и усталость, творческая работа.

Попытка наконец-то обрести в Мелихове то, о чем мечталось с юности, закончилась новыми разочарованиями и предощущением грядущего. Одиночество — единственное, что не ушло, не изменило.

Скитальчество было не в новинку и не в диковинку. Но на него теперь оставалось все меньше сил. Физических и душевных. Что-то новое, иное помогло бы выжить, работать, пройти заключительный круг жизни.

Но это уже хроника других, последних лет судьбы и творчества Чехова.



«СУД ЖГУТ. ЗЕР ГУТ»

Издавна любима у нас эта птица — красный петух. Кто-то пустит, кто-то захлебнется в восторге, кто-то в стихах восславит. А потом, как задымятся пепелища, другой петух — жареный — клюнет в одно место, и начинаем чесать в затылке... Так что не стоит потешаться над Маяковским, который все увиденное окрест во второй половине двадцатых на «четверку» оценил: «Хорошо!», дескать. А услышав краем уха про заварушку в Вене (какая заварушка без красного петуха?), аж крикнул от удовольствия: «Зер гут», — «пятерку» поставил. Именно поджог суда вызвал у горлана и главаря всплеск энтузиазма; сжечь суд — и наступят блаженные времена!

Сегодня никто так не думает — возразят мне. Мы, мол, умудренные опытом, преисполнены почтения к законопослушанию, даже верховные власти чуть что: «Вот приедет Зорькин...»

Слуги Фемиды в черных мантиях выглядят почти как взаправдашние, когда стоят на страже закона, да и в перерывах клянутся, что неподвластны ни страстям человеческим, ни душевным порывам, ни политическим поветриям... Но мы-то в такую их надмирность не слишком верим. И не потому только, что держатся в памяти определение суда как орудия классовой борьбы и органа государственного подавления, а потому, что эта его функция неукоснительно подкреплялась практикой: суд был перевалочным пунктом на пути в ГУЛАГ. И все-таки начинаем привыкать к «особому мнению» судей, корректирующих вердикты Конституционного суда, иные из которых (вердиктов) рождают недоумение и горечь. Нам, вдоволь нахлебавшимся всяческой демагогии, в том числе и юридической, вопреки всему, грезится, что суд и совесть — *несколько сродни*.

Оглядываясь далеко назад, можем даже обнаружить попытку соединить их: Екатерина II, прочитав «Дух законов» Монтескье и набравшись вольтерьянской мудрости, издала манифест о взяточничестве. (Во исполнение одного у позорного столба перед Сенатом выставили сенатского обер-секретаря с надписью на груди: «Преступник указов и мздоимец». Интересно: поместились бы сегодня питерские взяточники на просторной площади с Медным всадником?)

В своем знаменитом «Наказе» Екатерина на природный стыд уповала, узрев в нем силу, удерживающую от преступления. Она же и губернский Совестьный суд учредила, коему надлежало основываться на «человеколюбии, почтении к особе ближнего и отвращении от угнетения». Суд этот ведал второстепенными имущественными делами, торговыми и семейными тяжбами, стремясь решать их мирно, «по совести».

Не лишенная литературных дарований, пробовавшая себя во всех жанрах — от водевиля до исторических трагедий (стихи давались ей хуже, и посему их строчил секретарь — предтеча наших «негров», пишущих целые тома за сановных начальников), правительница и сочинительница в одном лице, Екатерина II, подобно многим из нас, трогательно верила, что литература должна «вторгаться в жизнь» и незамедлительно совершенствовать оную.

Зерна либерализма и вольтерьянства, брошенные царственной рукой в российскую почву, всходов не дали. Совестный суд заметного следа в отечественном судопроизводстве не оставил. Вспоминают о нем разве что в связи с Александром Николаевичем Островским, покинувшим Московский университет и сделавшимся на два года служителем Совестного суда. Биографы настаивают: служба эта, как и дальнейшая — в Московском Коммерческом суде, одарила «Шекспира Замоскворечья» материалом бесценным. Так что Совестный суд оставил все-таки след в истории русского искусства, хотя и неожиданный.

В 1923 году, когда отмечалось столетие со дня рождения А. Н. Островского, «Сибирские огни» поместили статью «Служитель Совестного суда».

Многое устарело в этом эссе, написанном при отсветах пожара, раздутого «на горе всем буржуям» (и не им одним), многое выглядит социологично, наивно. Но мысль об истинном художнике — верном служителе Совестного суда — пусть и звучит архаично, вряд ли заслуживает списания в архив. Не извечная ли шаткость судебной власти, ее аморализм, не человеческое ли бесправие содействовали тому, что русская литература приняла на себя миссию Совестного суда?

Далеко не всегда с ней справлялась? Не спорю — не всегда. Но как без него обойтись нынче? Когда все, кому вздумается, норовят пустить красного петуха по книжным страницам? Когда дразнят его и подбадривают — улюлюкая и приплясывая, а бессовестностью щеголяют, словно модными шмотками?

Отгуляли на поминках советской литературы. Покрасовались. Выпили. Кто за доллары, кто на халяву. И вошли во вкус. Нельзя ли захоронить заодно и русскую литературу? «Литературочку», уточняет один автор, пускаясь в настолько безбрежные разглагольствования, что ни одно повременное издание не в состоянии вместить этот шедевр «провокационной прозы». Приходится довольствоваться отрывками — в журналах, казалось бы, не совпадающих по своим направлениям.

Название жанра не мной придумано. «Книга, — поясняют во вступительном слове нам, несмышленным, — откровенно провокативна, эпатажна, искренна, серьезна». («Провокативно» — это как «волнительно» взамен «волнующе», «своеобычно» взамен «своеобразна»). А еще, в другом месте, добавлено: каждое из составляющих данный шедевр, взятое изолированно, «не выражает адекватно мнения автора (и тем более редакции журнала)».

Меня лично, уже сраженного «провокативностью», до слез умиляет это «тем более». Конечно же, не выражает, конечно же, публикаторам неуютно, и хочется, и колется, и мама не велит. Но хочется, видно, больше, чем колется... И стесняться нечего, нынче и не такое печатают. Да и русскую литературу не впервые хоронят. При теперешней погоде «провокационная проза» не менее симптоматична, чем при другой — проза типа «Кавалера Золотой Звезды». Пережили «Кавалера», переживем и «провокативные» сочинения. Только читая их, не обязательно супить брови, серьезничать. Раз провокация, не попадайтесь на нее, не пытайтесь, как Л. Аннинский на страницах «Согласия», вталкивать указанный феномен «в контекст национально-исторический и вместе с тем всемирно-мистический». Зряшный труд. Кого только не втискивали во всевозможные глобальные контексты. Их-то втискивали, а они-то вываливались...

А кроме прочего, даже самый «своеобычный» поступок, самое «своеобычное» явление вольно или невольно примыкает к другим, чем-то да как-то ему близким.

Бесконечен, многообразен, многолик вечно пополняемый ряд провокаций, где так все перемешано, — черт ногу ломает. Поджог, например, рейхстага десятилетиями будоражил умы; чего только о нем не по-

написано! Гитлеровская версия, потерпевшая крах: заговор коммунистов. Версия коммунистическая: заговор гитлеровцев. А сейчас некоторые историки приходят к убеждению, что подпалил рейхстаг тронувшийся умом одиночка в бредовой надежде спровоцировать народное восстание...

Но вот какая закономерность настораживает: чем больше сумятица, смущение в умах, тревога в сердцах, тем сильнее дает себя знать геростратов комплекс, тем вероятнее всевозможные провокации. Впрочем, клеймить подобных сочинителей незачем. Уместнее, пожалуй, ирония или снисходительное сострадание. Их произведения, несмотря на всю авторскую натугу, отмечены печатью смутного времени, а не творческой индивидуальности. Эдакая литературная распутищина.

Дивны дела Твои... Все вроде бы посжигали, со всеми великими расплевались. А Чехов, к примеру, спесиво поносимый в «провокативном» романе, почему-то не сходит с театральных подмостков. И Островский ходко идет, — зачастую с аншлагом, минимум в пяти столичных театрах, и газеты, не претендуя на оригинальность, возглашают: «Вперед, к Островскому!», с его именем театральный бум связывают. В том — подумать только — сходятся «Известия» с «Правдой». Непривычное согласие. И не слишком прочное, чтобы всерьез обнадежить. Дым от бесчисленных пожаров очи ест и иллюзий не внушает...

В. Кардин



ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ

Кеннет Грэм ИВОВЫЙ ВЕТЕР

Роман

Перевела с английского Юлия Муравьева

МИСТЕР ЖАБ

Едва проклюнувшись, пошло в рост юное лето.

Прозрачное утро разлилось над рекой, наконец отступившей в привычное русло и усмирившей свой бешеный весенний аллюр. Солнце, горячее, настойчивое, словно дергая за невидимые нити, вытягивало из земли новорожденные, слабые стебли, и они, набирая силу и разрастаясь, кустились, колосились, зеленели — весело и буйно.

Крот и Водяной Крыс с самого рассвета хлопотали вокруг лодки, готовясь к открытию плавучего сезона — подкрашивали, кое-где покрывали лаком, чинили весла, приводили в порядок сиденья, разыскивали неизвестно куда подевавшиеся опорные крючья. Теперь, расположившись в маленькой гостиной, они заканчивали завтрак и оживленно обсуждали распорядок дня. И тогда в дверь громко и уверенно постучали.

— Еще только не хватало! — ругнулся Крыс, с трудом оторвавшись от яйца. — Кротишка, будь другом, сходи взгляни, кого там черт несет.

Крот послушно отправился выполнять поручение, и по комнатам разлетелся его изумленный вскрик. Он настежь распахнул дверь в гостиную и, присанившись, важно объявил:

— Мистер Барсук!

Событие приключилось и впрямь примечательное. Барсук обычно не утруждал себя формальностями и визитов никому не наносил. В случае нужды его приходилось выслеживать — рано на заре или поздно вечером караулить у живых изгородей бесшумно крадущуюся тень — а если хватало смелости — то и брести в лес, в самую чащобу, с расчетом на то, что неуловимый отшельник вдруг да окажется дома.

Барсук тяжелыми шагами прошествовал в гостиную и, остановившись посередине, внимательно и серьезно оглядел своих друзей. Крыс разинул рот и уронил ложечку на скатерть. Наступила тишина.

— Час пробил! — торжественно молвил гость.

— Какой еще час? — встревожился Крыс и покосился на часы, украшавшие каминную полку.

— Имело бы смысл спросить, чей час, — нахмурился Барсук. — Чей! Да Жабий же! Час Жаба. Я говорил, что приведу его в чувство, как только кончится зима — и вот сегодня я решил привести его в чувство.

— Жабий час! Ну конечно! — в восторге завопил Крот. — Ур-ррр-аа! Я вспомнил! Мы займемся им всерьез!

— Ночью, — продолжил Барсук, опускаясь в кресло, — я узнал из достоверных источников, что нынче утром в Жабий Холл прибывает очередной сверхмощный автомобиль. Прежде чем покупать, Жаб желает опробовать его. Сейчас, думаю, он как раз наряжается в свои гнусные, безобразные одеяния и ликует, и скачет от радости. Мерзость! Из вполне симпатичного зверька он превратился в Пугало, от которого в панике шарахаются добропорядочные прохожие. Ну хватит тут расслаживаться, пора действовать — иначе будет поздно. Вы двое, немедленно отправляйтесь со мной в Жабий Холл, и мы с честью проведем спасательную операцию.

— Золотые слова! — вскакивая, воскликнул Крыс. — Мы освободим жалкое, несчастное животное! Вправим ему мозги — и он станет самым правильным, самым разумным Жабом из всех, что жили на Земле с сотворения мира!

Возложив на плечи миссию милосердия, они двинулись в путь, и Барсук шагал впереди. Ведь животные, если приходится им путешествовать с попутчиками, соблюдают на тропе разумный и естественный порядок — выстраиваются гуськом, ни в коем случае не разбредаясь по дороге, и поэтому всегда могут помочь друг другу в трудную минуту.

Выйдя на центральную аллею Жабьего Холла, они увидели картину, подтвердившую худшие Барсучьи предчувствия: у парадного крыльца сверкал зеркальными боками выкрашенный в любимый Жабом ярко-красный цвет новехонький огромный автомобиль. Едва они подошли поближе, как дверь распахнулась, и Жаб, облаченный в кепку, защитные очки, гетры и неимоверной ширины пальто, побежал по ступенькам, натягивая негнущиеся перчатки с раструбами и раздуваясь от гордости.

— Привет! Давайте-давайте, ребяташки! — крикнул он, заметив приятелей. — Вы как раз вовремя, чтоб весело... весело... ну да, весело...

Строго глядели друзья, молчали тяжело и непреклонно, он запнулся, растерял весь пыл, и приглашение, жалобно оборвавшись, повисло в воздухе.

Барсук поднялся по лестнице.

— Уведите его в помещение, — сурово приказал он своим товарищам и, подождав, пока вопли возмущенного упирающегося Жаба не затихли в глубине дома, обратился к ответственному за новый автомобиль шоферу-инструктору:

— Боюсь, ваши услуги сегодня не понадобятся. У мистера Жаба изменились планы, и этой машине в них места нет. Поймите, решение принято бесповоротно. Ждать не имеет смысла.

Он развернулся и закрыл за собой дверь.

Присоединившись к остальным, Барсук поморщился и брезгливо пощупал рукав Жабьего пальто.

— А теперь снимите эти безобразные тряпки, — потребовал он. — И побыстрее.

— Не сниму! — яростно замотал головой Жаб. — Вот еще! Я требую немедленных разъяснений!

— Разденьте его, — невозмутимо обронил Барсук.

Жаб лягался и изрыгал проклятия, но все же был уложен на пол, и Крыс уселся сверху, а Крот мало-помалу стащил с бедолаги все автомобильные одежки. Вновь поставленный на ноги, Жаб удивительно изменился. Его неистовство, казалось, улетучилось вместе с исчезновением роскошных достижений. Сгинул без следа грозный Покоритель Большой Дороги, и явившийся на его месте захудалый Жаб, словно сообразив, в чем смысл происходящего, невнятно хихикнул и искательно заглянул каждому в лицо.

— Ты знал, Жаб, что рано или поздно придешь именно к такому концу, — холодно произнес Барсук. — Ты пренебрег всеми нашими предупреждениями и бездумно продолжал транжирить деньги, оставленные тебе отцом. Из-за тебя, из-за твоей бешеной езды, твоих вечных аварий и неприятностей с полицией нас, животных, в целой округе поминают недобрым словом. Независимость — прекрасное качество, не буду спорить, но мы не позволяем своим друзьям выставлять себя на посмешище. Существует определенный предел, Жаб, и ты достиг этого предела. Счастье еще, я вижу, что в тебе сохранились кой-какие положительные свойства, и я постараюсь не быть слишком жестоким, дам тебе последний шанс образумиться. Сейчас ты последуешь за мной в курительную, я раскрою тебе глаза на эту отвратительную историю, и мы посмотрим, сможешь ли ты выйти оттуда таким же, как вошел.

Он схватил Жаба за лапу, втащил его в курительную комнату и захлопнул дверь.

— Бесполезно! — презрительно фыркнул Крыс. — Говорить с ним — все равно что мертвому припарки. С к а з а т ь - т о о н с к а ж е т — это дело нехитрое.

Удобно устроившись в креслах, они приготовились ждать. Сквозь затворенную дверь приглушенно лился поток нескончаемого Барсучьего бормотания, голос его то вздымался, то понижался, покачиваясь на волнах красноречия; немного погодя плавное течение проповеди стало прерываться протяжными всхлипами, исходящими, судя по всему из груди Жаба, — парень он был мягкосердечный и впечатлительный, и не стоило никакого труда обратить его в свою веру — во всяком случае, на время.

Минут через сорок пять дверь открылась, и на пороге возник торжествующий Барсук. Он вел за руку Жаба, совершенно поникшего и удрученного — с уныло обвисшей кожей, дрожащими коленями и щеками, на которых слезы, вызванные к жизни волнующей речью, прорыли обильные, глубокие борозды.

— Садись, Жаб, — добродушно сказал Барсук, указывая на кресло. — Рад сообщить вам, друзья, что он осознал наконец всю ошибочность выбранного пути, искренне сожалеет, раскаивается в своих беспутствах и обязуется расстаться с автомобилями раз и навсегда. В чем и поклялся страшной клятвой.

— Это очень хорошая новость, — серьезно кивнул Крот.

— В самом деле, превосходная новость, — с сомнением покачал головой Крыс, — если только... если только...

Он пристально взгляделся в Жаба: померещилось — или правда блеснуло что-то подозрительное в мокрых, все еще горестных глазах?

— Ну что же, Жаб, остался один небольшой пустячок, — удовлетворенно продолжал Барсук. — Повтори, пожалуйста, свое признание — я хочу, чтобы наши друзья услышали все своими ушами. Первое — ты раскаиваешься в содеянном и второе — отдаешь себе отчет в полнейшей его нелепости.

Ответа не последовало. Жаб в отчаянии озирался по сторонам, остальные грустно молчали. Наконец он решился и буркнул угрюмо, но твердо:

— И не подумаю. И нечего мне каяться. Нелепо! Вот еще! Это было просто восхитительно.

— Что-о?! — зарычал опозоренный Барсук. — Ах мошенник, предатель — ты же мне только что обещал...

— Ну да, да — там, — засуетился Жаб. — Там бы я все что угодно пообещал. Ты ведь такой замечательный оратор, Барсук, такой мастер говорить трогательные и убедительные слова — и все так прилажено одно к одному, не подкопаешься — ну просто зверски прекрасно. Там-то я повиновался, еще бы! — да ты и сам это отлично знаешь.

Но потом — потом я принялся думать, напряженно размышлять — проверяя и прощупывая, и теперь заявляю во всеуслышание: на самом деле я ни капельки не раскаиваюсь и не сожалею — так какого же дьявола мне притворяться? Ведь это нечестно, верно? А? Что скажете?

— Итак, — медленно спросил Барсук, — ты не можешь обещать, что никогда больше не прикоснешься к машине?

— Разумеется, не могу, — развязно отозвался Жаб. — И даже наоборот. Клянусь, что первый, самый первый автомобиль, который попадется мне на глаза — бип-бип! — умчит меня вдаль!

— Ну что я говорил? — Крыс пихнул Крота в бок.

— Отлично, — процедил сквозь зубы Барсук и поднялся с кресла. — Поскольку увещевания тебя не берут, придется использовать силу. Я так и подозревал, что этим кончится. Ты частенько приглашал нас погостить в этой очаровательной усадьбе. Вот мы, наконец, и собрались, выкроили время. Как только у тебя мозги встанут на место, мы отсюда съедем. Но не раньше. Отведите его наверх, запирайте в спальне, нам нужно обговорить кой-какие детали.

— Это для твоей же пользы, Жабик, — ласково приговаривал Крыс, волоча по ступенькам орущего и брыкающегося друга. — Ну и здорово же мы повеселимся, когда ты поправишься, когда прекратится этот жуткий приступ!

— Мы будем за тобой ухаживать, пока ты не выздоровеешь, — подкивал Крот, подталкивая Жаба сзади, — и следить, чтоб твои денежки не растрачивались впустую.

— Подумай только, кончились эти гадкие разборки с полицией, — заливался Крыс, впихивая его в спальню.

— Больше не будешь лежать в больнице — вспомни, вспомни, как тобой командовали глупые сиделки! — закончил Крот, поворачивая ключ в замке.

Они спустились вниз, сопровождаемые грязной руганью, летящей из замочной скважины.

— Нам грозят тяжкие испытания, — вздохнул Барсук. — Никогда еще не видел Жаба столь решительно настроенным. Но ничего не поделаешь — как-нибудь справимся. Главное — ни на секунду не оставлять его без охраны. Мы будем дежурить по очереди, пока отравы не выйдет из организма.

Назначили вахты. Постановили по ночам по очереди спать вместе с Жабом, а день поделили на три равные части. Поначалу Жаб был особенно невыносим и безмерно докучал своим заботливым стражам. Обуреваемый свирепыми припадками, он громоздил из стульев грубое подобие автомобиля, забирался на первый из них, приседал на корточки и, наклонившись вперед и неподвижно уставившись в пространство, дико и страшно завывал — все громче и громче, пока не достигал высшей точки, — и тогда с грохотом обрушивался на пол. Там он лежал, распростертый среди рухнувших стульев и некоторое время казался совершенно довольным.

Время шло. Мучительные приступы случались все реже, и друзья делали отчаянные попытки направить мысли Жаба в новое русло. Но Жаб не отвлекался, не проявлял интереса к посторонним предметам и становился только все более вялым и понурым.

Однажды утром Крыс — ему было пора заступать на вахту — отправился наверх сменить Барсука, который уже места себе не находил от нетерпения — ему приспичило поскорее размять ноги и пуститься в долгое путешествие по родному лесу, по глубоким норам и коридорам.

— Жаб еще в постели, — шепнул он Крысу, притворив дверь. — Разговаривать с ним бессмысленно — на все один ответ: ах, оставьте его в покое, ему ничего не нужно, наверняка скоро получшеет, а в один прекрасный день, может, он и совсем выздоровеет — и не извольте беспо-

коиться — и тому подобное. Ох, Крыс, держи ухо востро! Ежели наш подопечный глядит эдаким смиренным тихоней, словно награду в воскресной школе получил — значит, он затеял особую хитрость, значит — жди подвоха. Я его, прохвоста, насквозь вижу. Ладно, пора мне — нечего время терять.

— Как самочувствие, старина? — жизнерадостно осведомился Крыс, присаживаясь у изголовья больного.

Жаб долго молчал и наконец прошелестел еле слышно:

— Благодарю тебя, Крысющка, я перед тобой в неоплатном долгу. Ты так добр ко мне, о здоровье спраляешься. Но расскажи сперва о себе и о нашем несравненном Кротике.

— Ну, у нас-то все в порядке, — улыбнулся Крыс и беспечно пояснил: — Крот с Барсуком ушли на прогулку. Их не будет до обеда — так что целое утро в нашем распоряжении, позабудемся на славу, уж я постараюсь тебя развлечь. Посмотри только, что за утро на дворе, стыдно валяться в такую погоду! Кончай хандрить, будь умницей, давай-ка — раз-два — прыг из кровати!

— Миленький мой Крысик, — пролепетал Жаб, — ты, очевидно, не очень хорошо себе представляешь, каково мое состояние, какая пропасть отделяет меня от «раз-два — прыг!» — и, возможно, навек. Но не тревожься обо мне. Не хочу, ненавижу быть в тягость друзьям — и предполагаю, что это долго не протянется. Надеюсь, почти уверен, что нет.

— Да и я тоже надеюсь, — добродушно признался Крыс. — Честно говоря, ты крепко потрепал нам нервы. Славу богу, что конец все-таки не за горами. Очень рад это слышать. И погода как раз установилась и лодочный сезон открывается! Ты нас здорово подставил, Жаб! Пойми меня правильно — не то беда, что приходится с тобой возиться — просто из-за этой дурацкой мании мы лишились стольких удовольствий!

— А мне кажется, беда именно в том, что вам приходится со мной возиться, — утомленно прикрыл глаза Жаб. — Что ж, я все понимаю, все идет естественным путем — вы устали от пустых хлопот. Лучше мне не мучить вас просьбами — знаю, я вам до смерти надоел...

— Так оно и есть — засмеялся Крыс. — Только имей в виду: я готов всем на свете пожертвовать ради тебя, лишь бы к тебе вернулся разум!

— Ах, если б это было правдой! — прошептал Жаб. — Тогда я попросил бы тебя, Крысинька, — я в последний раз, быть может, молил бы тебя об одолжении — сбежать в деревню, не медля ни минуты, — и привести врача. Впрочем, видимо, уже слишком поздно. Не беспокойся. Не стоит начинать возню — пусть все идет своим чередом.

— А зачем тебе доктор? — спросил Крыс, наклоняясь и внимательно осматривая Жаба.

Тот лежал вытянувшись, странно недвижный, голос его совсем ослабел, а черты лица заострились.

— Да, ты заметил слишком поздно, — тихо произнес больной. — Тебе ведь это ни к чему. Замечать — значит возиться лишний раз. Завтра, должно быть, ты упрекнешь себя: о, почему не замечал я раньше? почему ничего не предпринял? Хотя нет, вряд ли — все это тоже возня. Не обращай внимания, забудь о моей просьбе.

— Послушай, старичок, — сказал Крыс, слегка встревожившись, — ясное дело, я тут же схожу за доктором, если действительно случится нужда. Но, мне сдается, ты еще не так плох. Давай потолкуем о чем-нибудь другом.

— Боюсь, дорогой мой дружок, — горько усмехнулся Жаб, — что в подобных случаях от бесед толку мало, кстати, и от докторов тоже. Но утопающий всегда хватается за соломинку... И знаешь, раз уж ты будешь проходить мимо — прости, мне так неловко заставлять тебя возиться — но раз уж тебе все равно по пути — сделай милость, загля-

ни к нотариусу, позови его к несчастному Жабу! Ах, окажи мне эту неоценимую услугу! В жизни бывают моменты... я бы сказал... когда наступает определенный момент — неожиданно сталкиваешься с вещами, о которых обычно стараешься не думать; и как бы ни были истощены мои жизненные силы, я не имею права пренебрегать своими обязанностями.

— Нотариус! Верно, ему и впрямь худо! — всполошился Крыс и заторопился вон из комнаты, не забыв, впрочем, аккуратно запереть за собой дверь.

В передней он замешкался, собираясь с мыслями. Дом стоял пустой — посоветоваться было не с кем.

— Лучше не рисковать, — прикидывал Крыс. — Конечно, Жаб и прежде частенько воображал, что умирает и, разумеется, без всяких на то оснований, но звать нотариуса! Если опасности нет, доктор просто отругает его, и он успокоится, а это тоже полезно. Шут с ним, тут недалеко, побалую его разок.

И Крыс помчался в деревню, исполненный сострадания к ближнему.

Как только ключ повернулся в замке, Жаб мячиком выпрыгнул из постели и, подкравшись к окну, в страстном предвкушении следил за своим тюремщиком, пока тот не свернул с центральной аллеи. Звонко расхохотавшись, он напялил костюм, лучший из тех, что оказались в пределах досягаемости, выдвинул ящик туалетного столика и, вытащив оттуда пачку банкнот, распихал ее по карманам. Затем сорвал с кровати простыни, связал их и, обмотав конец самодельного каната вокруг средней балки главной достопримечательности своей спальни — прелестного Тюдоровского окна, — вскарабкался на подоконник, легко соскользнул вниз, повернулся спиной к деревеньке, куда побежал Крыс, и, беззаботно насвистывая веселенький мотивчик, зашагал в противоположном направлении.

Когда вернулись Крот с Барсуком, Крысу пришлось сесть с ними за обеденный стол и поведать свою прискорбную и совершенно неубедительную историю, и не было в его жизни трапезы мрачнее и тягостнее, чем эта. Можно без труда представить себе, как едко и безжалостно издевался над ним полный презрения Барсук, — и нет необходимости останавливаться на этом подробно, но особенно глубоко и болезненно поразило Крыса то, что даже Крот, хоть и вставший безоговорочно на сторону друга, не удержался и попрекнул:

— Сегодня ты не в ударе, Крыс, дурака сваял. Зато Жаб-то, Жаб!

— Он так ужасно естественно себя вел, — удрученно оправдывался Крыс.

— Вел! — гневно запыхтел Барсук. — Провел он тебя, вот что — обвел вокруг пальца! Ладно, нечего болтать попусту, сделанного не воротишь, догнать мы его все равно уже не догоним. М-да... Теперь этот хулиган воображает, что умнее его на свете нет — беды не миновать, натворит он безобразий, вот увидите. Зато мы свободны, и наше драгоценное время полностью принадлежит нам — караульная служба отменяется. Но ночевать пока будем в усадьбе — Жаб может объявиться в любой момент — на носилках или в компании двух полисменов.

Так говорил Барсук, не ведая, какие приключения таит в себе запасливое будущее, не подозревая, сколько мутной воды промчится под мостами, прежде чем Жабу вновь суждено будет комфортабельно расположиться в своем родовом поместье.

А в это время Жаб, легкомысленный и ликующий, бодро маршировал по большому проезжему тракту. Поначалу, побаиваясь погони, он путал следы, выбирая едва различимые, полузаросшие тропы, и ковыляя напрямик через поля, — и наконец почувствовал себя в безопасности. Солнце лучезарно улыбалось, вся Природа согласным хором под-

хватила хвалебный гимн, который напевало ему его собственное сердце, и Жаб затанцевал вдоль дороги, довольный и самовлюбленный.

— Славно сработано, — хихикнул он. — Разум против грубой силы — и, само собой, победа разума, полный, окончательный разгром врага! Бедолага Крысик. Ну и влетит ему, когда вернется Барсук. Он премилый парнишка, этот Крыс, только очень уж глупенький и со-о-о-всем необразованный. Надо будет за него как следует взяться — да-да, я постараюсь сделать из малыша что-нибудь стоящее.

Распираемый сознанием собственной значительности, важно шествовал он по большаку, пока не добрался до небольшого городка, и преодолел уже добрую половину главной улицы, как вдруг внимание его привлекла висящая на противоположной стороне вывеска «Красного Льва». Он вспомнил, что еще не завтракал, и чудовищный голод, учетверенный длительной прогулкой по свежему воздуху, заставил его остановиться, перейти дорогу и открыть дверь кафе. Терзаемый голодом, он не стал заказывать сложных блюд и, набрав самых лучших и дорогих закусок, уселся в уголке и незамедлительно принялся пировать.

Половина уже была съедена, когда с улицы донесся до боли знакомый звук, и Жаб замер, напрягся и вдруг затрясся всем телом. Приближался Бип-бип. Было слышно, как машина свернула в гостиничный двор, мотор заглох, и Жаб, борясь с накатившим волнением, ухватился за ножку стола. Распахнулась дверь, и в кафе ввалилась компания — голодная, говорливая, оживленная, без умолку обсуждающая утренние приключения и достоинства чудесной, на славу потрудившейся колесницы.

Жаб вслушивался, напряженно ловя каждое слово, и наконец, терпение его лопнуло. Он на цыпочках выбрался из комнаты, расплатившись у стойки, покинул кафе и не торопясь, с достоинством завернул за угол.

— Что за беда, — вслух подумал он, — если я только немножечко погляжу?

Автомобиль стоял посреди двора одинокий, брошенный на произвол судьбы: помощники конюхов и все прочие бездельники отправились обедать. Жаб медленно обогнул его, потом сделал еще круг, изучая, оценивая, размышляя.

— Интересно, — пробормотал он вполголоса, — весьма любопытно, насколько легко заводятся такие машины?

В следующий миг, едва сознавая, что делает, он вцепился в рукоятку и повернул ее. И когда знакомый, милый глуховатый рокот наполнил воздух, прежняя страсть вспыхнула с новой силой и овладела Жабом, подчинив себе тело и душу и похитив рассудок. Словно во сне, неведомая сила подхватила его и швырнула в шоферское кресло; словно во сне, потянул он за рычаг, и автомобиль, развернувшись, выехал через арку на улицу. И, словно во сне, страх неминуемых последствий, все представления о том, что дурно и что хорошо, — отступили и, потускнев, погрузились в туман. Он прибавил газу, и когда машина, подмяв под себя главную улицу, вылетела на просторный тракт, пересекающий бескрайние поля, снова ощутил себя Жабом могучим и доблестным, полным сил; расправив плечи, выпрямился в полный рост разрушитель и сокрушитель, грозный Властелин одинокой тропы — отныне всякий, кто посмеет встать на его пути, будет расплюсчен в пыль, в дым, в пустоту, в вечную, бездонную ночь. Он мчался и громко, торжествующе пел, а автомобиль подпевал, гудя и гулко завывая, и ненасытно поглощал милю за милей.

Жаб гнал и гнал послушную машину, все вперед и вперед, бесцельно, безрассудно, наобум и, не помня себя от слепящего счастья, снедаемый страстью, не думал о том, что ждет его впереди.

— Мое мнение таково, — жизнерадостно объявил Председатель Судейской Коллегии. — В данном деле, абсолютно бесспорном во всех отношениях, присутствует лишь один пункт, представляющий некоторую трудность. Нам предстоит как следует проучить этого закоренелого негодяя, бесстыдного, неисправимого преступника, который корчится теперь от страха на скамье подсудимых. Что ж, приступим. Согласно неопровержимым свидетельским показаниям, он обвиняется, во-первых, в похищении дорогостоящего автомобиля; во-вторых, в неосторожном вождении транспортного средства, приведем к возникновению опасной ситуации в общественном месте и, наконец, в злостном, наглом неповиновении сельской полиции. Господин Секретарь, будьте добры сообщить Суду, какое максимально суровое наказание предусмотрено законом по каждому из вышеупомянутых правонарушений. Разумеется, мы не будем принимать в расчет оправдания подсудимого, ибо таковые не имеют права на существование.

Секретарь почесал нос кончиком ручки.

— Некоторые сочтут, — забубнил он, — что наиболее тяжким преступлением, в данном случае, является кража автомобиля. Совершенно справедливо. Но, с другой стороны, дерзость по отношению к полиции влечет за собой самое суровое наказание, и так и должно быть. Допустим, вы присуждаете ему двенадцать месяцев за воровство — а это весьма умеренно — и три года за превышение скорости — а это просто чистой воды снисхождение! — и пятнадцать лет за злостное, отягченное дерзостью и наглými, вызывающими телодвижениями неповиновение властям, неповиновение, о котором мы с полным основанием можем судить по показаниям свидетелей, пусть даже Суд сочтет правдивой лишь одну десятую их часть — а сам я обычно придерживаюсь именно такой пропорции — словом, если надлежащим образом сложить цифры, то сумма их составит девятнадцать лет.

— Превосходно, — потер руки Председатель.

— А округлив указанную сумму, скажем, до двадцати лет, Уважаемый Суд избавит себя от ненужного риска, — добавил в заключение Секретарь.

— Замечательное предложение, — довольно кивнул Председатель. — Подсудимый! Возьмите себя в руки и потрудитесь стоять прямо. На сей раз вы отделаетесь двадцатью годами одиночного заключения. Но имейте в виду — если вам когда-либо снова придет в голову предстать перед Судом, неважно, слышите — неважно, по какому обвинению, мы примем против вас самые серьезные меры!

И сейчас же двое отвратительных блюстителей порядка грубо набросились на беспомощного Жаба и, заковав его в цепи, поволокли прочь из Здания Суда, вопящего, умоляющего, протестующего — через базарную площадь, где веселилась праздная чернь, как всегда с жестокой наивностью поменявшая симпатию и интерес к преследуемому, но не пойманному, на слепую ненависть к уже осужденному законом; теперь она глумилась над жалким арестантом и швыряла в него морковью и бранными, вульгарными словами. Потом ему улюлюкали школьники, и дразнили его, и их невинные лица светились радостью, потому что у них на глазах попал в беду благородный человек. Его тащили по разводному мосту, и глухо звучало эхо тяжелых шагов; под свирепо ощерившимися остриями решетки крепостных ворот проследовали они, миновали грозно нависающую над головами арку древнего мрачного замка, чьи старинные башни уходили вершинами в высокое небо; они шли мимо караульных помещений, набитых бездельничающими, хохочущими солдатами, мимо часовых, которые, завидев конвой, зашлись в гнусном, язвительном кашле, пытаясь, не нарушая устав, выразить свое презрение и отвращение к преступнику; вверх по обветшалым ступеням винтовой лестницы, мимо воинов в

шлемах и стальных доспехах, бросающих ужасные взгляды сквозь прорези забрал; через внутренний двор, где на привязи метались огромные доги и рвали лапами воздух в надежде дотянуться до Жаба; мимо убеленных сединами стражей, которые дремали над кувшином темного эля, зажав в руках крошащиеся ломти пирога и прислонив к стене алебарды; дальше и дальше следовали они, оставляя позади пыточные камеры, где вздергивали на дыбу и, зажимая в тиски, ломали пальцы; и, не свернув в коридор, ведущий к эшафоту, подошли наконец к двери угрюмой подземной темницы, упрятанной в глубине центрального, надежно упрятанного бастиона. Так и остановились — подле дряхлого тюремщика, неторопливо перебирающего тяжелую связку ключей.

— Вставай, Пугач-Живые Мощи, — обратился к нему сержант, снимая шлем и вытирая пот со лба, — и слушай внимательно, старый ты лодырь. Забирай к себе этого мерзостного Жаба, подлого преступника, повинного в самых ужасных прегрешениях, безмерно извортливого и изобретательного. Карауль его, сторожи, не спуская глаз, и береги, как зеницу ока, и помни, седобородый, горе тебе, если случится какая беда — ты ответишь за все стариковской своей головой — тьфу, чума на вас обоих!

Тюремщик сурово кивнул и положил морщинистую руку на плечо трепещущего Жаба. Ржавый ключ заскрипел в замке, с лязгом захлопнулась громадная дверь, и он остался беспомощным узником самого глухого каземата, погребенного в глубинах самого усердно охраняемого бастиона, окруженного непроницаемыми стенами самого несокрушимого замка Веселой Англии — исходи ее хоть вдоль и поперек, а другого такого не найдешь!

(Продолжение следует)



АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

Николай Николаевич КАРПОВ (1932), автор стихотворных сборников «Северный базар», М., Современник, 1978; «Черничная поляна», М., Молодая гвардия, 1982; «Как умею любить сердца», М., Современник, 1986; «Растения заговорили», М., Молодая гвардия, 1988. Проза Н. Карпова публиковалась в журналах «Согласие» и «Очаг».

Владимир Николаевич КОРНИЛОВ (1928), поэт. Основные книги: «Пристань», М., СП, 1964; «Возраст», М., СП, 1967; «Надежда», М., СП, 1988; «Польза впечатлений», М., Современник, 1989; «Избранное», М., СП, 1991.

Юрий Николаевич СТЕФАНОВ (1939), переводчик, прозаик, поэт. Автор перевода на русский язык старофранцузского романа (о Тристане и Изольде), фарсов (Вийон, Расин, Вольтер, Рембо, Верхарн).

Сергей Павлович КОСТЫРКО (1949), очеркист, литературный критик, автор многочисленных публикаций в журналах «Новый мир», «Литературное обозрение», «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Вокруг света».

Татьяна Юрьевна МОРОЗОВА, художник (живопись, книжная графика). Окончила Литературный институт им. Горького. Рассказы и сказки публиковались в коллективных сборниках.

Татьяна Александровна БЕК, поэт, автор книг «Скворешники», М., Молодая гвардия, 1974; «Снегирь», М., СП, 1980; «Замысел», М., СП, 1987; «Смешанный лес», М., Антал, 1993.

Валентина Филипповна ТУЛЬЧИНА. Родилась в Туле. Закончила филфак ЛГУ. Сотрудник музея-заповедника А. С. Пушкина в Михайловском. Повесть и рассказы публиковались в журнале «Север», альманахе «Молодой гений».

Лариса Емельяновна МИЛЛЕР, поэт, автор книг «Безымянный день», М., СП, 1976; «Земля и дом», М., СП, 1986; «Поговорим о странностях любви», М., Весть, 1991; «Стихи и проза», М., Терра, 1992.

Бронислава Дмитриевна ТАРОЩИНА, обозреватель «Литературной газеты», автор многочисленных статей по проблемам современной литературы.

Сергей Иванович ЧУПРИНИН (1947), критик, литературовед. Основные книги: «Твой современник», М., Просвещение, 1979; «Крупным планом», М., СП, 1983; «Критика — это критики», М., СП, 1988; «Настоящее настоящее», М., Современник, 1989.



ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ

Алла МАРЧЕНКО

(зам. главного редактора)

Светлана БУЧНЕВА

(отв. секретарь)



Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке наших материалов ссылка на «Согласие» обязательна.

1993

АО «СОГЛАСИЕ»

Георгий Иванов

Сочинения в 3-х томах

К 100-летию со дня рождения

Творчество Георгия Иванова (1894-1958), на протяжении трех десятилетий «первого поэта русской эмиграции», — одно из крупнейших явлений XX века. Акционерным обществом «Согласие» выпускается собрание сочинений этого классика «серебряного века». В нем впервые Г. Иванов представлен читателю с максимально возможной полнотой, произведения текстологически выверены и подробно прокомментированы специалистами.

Том первый — Стихотворения и избранные переводы.

Том второй — Проза (скандально известная «поэма в прозе» «Распад атома», роман «Третий Рим», документальная «Книга о последнем царствовании», рассказы, очерки).

Том третий — «Петербургские зимы», «Китайские тени», другие мемуары и литературно-критические статьи.

Антуан де Сент-Экзюпери

Сочинения в 2-х томах

Впервые на русском языке издается двухтомное собрание сочинений всемирно известного французского писателя А. де Сент-Экзюпери (1900-1944)

В первый том, наряду с известными читателям произведениями («Южный почтовый», «Ночной полет», «Планета людей», «Пилот и стихи», «Военный летчик», «Маленький принц»), вошли и вещи менее известные («Письма г-же Н», «Письмо генералу Х», «Воспоминания о некоторых книгах» и др.).

Второй том составляет впервые переведенная на русский язык знаменитая «Цитадель» — завещание писателя человечеству. Огромная панорама «Цитадели» создается непрерывным потоком внутренней энергии, вбирающей в себя бытие человека, осмысленное и поднятое до уровня философии жизни. В книге много провидческого, ее стиль несет на себе печать Библии.

Издание иллюстрировано редкими фотографиями и сопровождается подробной «Хроникой жизни Антуана де Сент-Экзюпери».

Князь Сергей Щербатов

«Художник в ушедшей России»

Имя князя Сергея Щербатова (1875-1962) практически неизвестно современному читателю. До самозабвения преданный русскому искусству, Сергей Александрович Щербатов достаточно близко знал многих выдающихся живописцев XX века — А. Бенуа, В. Серова, И. Грабаря, В. Васнецова, М. Врубеля, В. Борисова-Мусатова, Н. Рериха и других. Именно они стали главными героями этой книги, хотя взгляд мемуариста охватывает разные стороны российской жизни в преддверии Октябрьской революции, после которой князь С. А. Щербатов вынужден был эмигрировать.

Книга иллюстрирована редкими фотоматериалами.

Предварительные справки о розничной и оптовой продаже книг направлять по адресу: *113054, Москва, Бахрушина, 28. Тел. 235-15-56, 235-14-40.*

SUMMARY

«Around Europe by Car» is the first essay in this issue of Soglasie. The essay is written by Georgy Ivanov, «The First Immigration Wave» poet. With this essay Soglasie begins a series of writings by this poet never before published in Russia. In this travel diary Europe in the 30s is described: Germany, facism and of course the Russian emigre community.

In our prose section you can read conclusion of Robert Stilmark's cronicles «A Handful of Dust», continuations of Antoine de Saint—Exupery's «The Citadel» and Kenneth Grahame's «The Wind in the Willows», novellas and short stories. Also Nikolai Karpov's «Mother's Happiness» and Valentina Tulchina's «Above Water». In addition, there are also stories by Yuri Stefanov, Sergei Kostriko and Tatyana Morosova, which are connected by motives of unfortunate personal experiences and nostalgia.

In the poetry section you can read such well — known poets as Vladimir Kornilow, Tatyana Beck and Larisa Miller.

This issue also has the conclusion of a story which was serialized throughout almost an entire year. This continuing series is known as «Melichovo's cronicles» by A. P. Kuzicheva «Your A. Chekhov».

Sergei Chuprinin shares his thoughts about the constant problems of Russian literature and his personal destiny as a critic in his dialogues with Bronislava Taroschina. Finally, this issue of Soglasie concludes with the section «Out of context» by V. Kardin.

«CONCORDANCE»

«СОГЛАСИЕ», 1993, № 6

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Патриарх Алексий,
А.М.Адамович, Г.П.Алференко,
В.С.Алхимов, В.М.Борисов,
А.М.Борщаговский, Ф.М.Бурлацкий,
Ю.М.Буцко, Е.М.Бычков, Б.Л.Васильев,
А.Ю.Герман, А.А.Голик, Г.М.Гусев, А.Г.Коновалов,
Л.П.Кравченко, В.Н.Крупин, А.М. Марченко,
Г.И.Матевосян, А.Н.Медведев, В.В.Меньшиков,
В.В.Михальский, Б.А.Можаев, С.А.Мубаряков,
В.Н.Мудрак, Б.И.Олейник, О.М.Попцов,
Г.В.Пряхин, Ю.М.Рост, Ю.С.Рытхэу,
А.Н.Самарцев, Л.П.Сиянская, Ю.Б.Соломонов,
В.Т.Спиваков, Н.К.Старшинов, О.М.Толкачев,
Н.И.Травкин, С.Н.Федоров, Ю.Д.Черниченко,
Б.А.Чичибабин, С.И.Чупринин,
И.О.Шайтанов, И.И.Шкляревский,
А.Н.Яковлев, С.В.Ямщиков

Подписано к печати 09.07.93. Рег. № 01872 от 10.12.92 г.
Формат 70×108/16 Гарнитура «Литературная» Печать высокая
Физ. печ. л. 14.0 Тираж 5000 экз. Заказ 2203 Цена договорная
Производственно-издательский комбинат ВИНТИ
140010, Люберцы-10, Московской обл., Октябрьский проспект, 403

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

113054, Москва, ул. Бахрушина, 28
Телефоны: главный редактор — 235-15-56,
тел. редакции — 235-14-10.

Корректурa В. А. Элькина